

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://chernyshevskynikolai.ru/> приятного чтения!

Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский

Эстетические отношения искусства к действительности
(диссертация)

Настоящий трактат ограничивается общими выводами из фактов, подтверждая их опять только общими указаниями на факты. Вот первый пункт, относительно которого должно дать объяснение. Ныне век монографий, и сочинение может подвергнуться упреку в несовременности. Удаление из него всех специальных исследований может быть сочтено за пренебрежение к ним или за следствие мнения, что общие выводы могут обойтись без подтверждения фактами. Но такое заключение основывалось бы только на внешней форме труда, а не на внутреннем его характере. Реальное направление мыслей, развиваемых в нем, уже достаточно свидетельствует, что они возникли на почве реальности и что автор вообще придает очень мало значения для нашего времени фантастическим полетам даже и в области искусства, не только в деле науки. Сущность понятий, излагаемых автором, ручается за то, что он желал бы, если б мог, привести в своем сочинении многочисленные факты, из которых выведены его мнения. Но если б он решился следовать своему желанию, объем труда далеко превзошел бы определенные границы. Автор думает, однако, что общих указаний, им приводимых, достаточно, чтобы напомнить читателю десятки и сотни фактов, говорящих в пользу мнений, излагаемых в этом трактате, и потому надеется, что краткость объяснений не есть бездоказательность.

Но зачем же автор избрал такой общий, такой обширный вопрос, как эстетические отношения искусства к действительности, предметом своего исследования? Почему не избрал он какого-нибудь специального вопроса, как это большею частью ныне делается?

По силам ли автора задача, которую хотел он объяснить, решать это, конечно, не ему самому. Но предмет, привлечший его внимание, имеет ныне полное право обращать на себя внимание всех людей, занимающихся эстетическими вопросами, то есть всех, интересующихся искусством, поэзией, литературой.

Автору кажется, что бесполезно толковать об основных вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них ничего нового и основательного, когда не приготовлена еще возможность видеть, что наука изменяет свои прежние воззрения, и показать, в каком смысле, по всей вероятности, должны они измениться. Но когда выработаны материалы для нового воззрения на основные вопросы нашей специальной науки, и можно, и должно высказать эти основные идеи.

Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам, вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике.

Автор не менее, нежели кто-нибудь, признает необходимость специальных исследований; но ему кажется, что от времени до времени необходимо также обозревать содержание науки с общей точки зрения; кажется, что если важно собирать и исследовать факты, то не менее важно и стараться проникнуть в смысл их. Мы все признаем высокое значение истории искусства, особенно истории поэзии; итак, не могут не иметь высокого значения и вопросы о том, что такое искусство, что такое поэзия.

[В гегелевской философии понятие прекрасного развивается таким образом:

Жизнь вселенной есть процесс осуществления абсолютной идеи. Полным осуществлением абсолютной идеи будет только вселенная во всем своем пространстве и во все течение своего существования; а в одном известном предмете, ограниченном пределами пространства и времени, абсолютная идея никогда не осуществляется вполне. Осуществляясь, абсолютная идея разлагается на цепь определенных идей; и каждая определенная идея в свою очередь вполне осуществляется только во всем бесконечном множестве обнимаемых ею предметов или существ, но никогда не может вполне осуществиться в одном отдельном существе.

Но] все сферы духовной деятельности подчинены закону восхождения от

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
непосредственности к посредственности. Вследствие этого закона [абсолютная] идея, вполне постигаемая только мышлением (познавание под формой посредственности), первоначально является духу под формую непосредственности или под формую воззрения. Поэтому человеческому духу кажется, что отдельное существо, ограниченное пределами пространства и времени, совершенно соответствует своему понятию, кажется, что в нем вполне осуществилась идея, а в этой определенной идее вполне осуществилась идея вообще. Такое воззрение предмета есть призрак (ist ein Schein) в том отношении, что идея никогда не проявляется в отдельном предмете вполне; но под этим призраком скрывается истина, потому что в определенной идее действительно осуществляется до некоторой степени общая идея, а определенная идея осуществляется до некоторой степени в отдельном предмете. Этот скрывающий под собою истину призрак проявления идеи вполне в отдельном существе есть прекрасное (das Schöne).

Так развивается понятие прекрасного в господствующей эстетической системе. Из этого основного воззрения следуют дальнейшие определения: прекрасное есть идея в форме ограниченного проявления; прекрасное есть отдельный чувственный предмет, который представляется чистым выражением идеи, так что в идее не остается ничего, что не проявлялось бы чувственно в этом отдельном предмете, а в отдельном чувственном предмете нет ничего, что не было бы чистым выражением идеи. Отдельный предмет в этом отношении называется образом (das Bild). Итак, прекрасное есть совершенное соответствие, совершенное тождество идеи с образом.

Я не буду говорить о том, что основные понятия, из которых выводится у Гегеля определение прекрасного, теперь уже признаны не выдерживающими критики; не буду говорить и о том, что прекрасное [у Гегеля] является только «призраком», проистекающим от непроницательности взгляда, не просветленного философским мышлением, перед которым исчезает кажущаяся полнота проявления идеи в отдельном предмете, так что [по системе Гегеля] чем выше развито мышление, тем более исчезает перед ним прекрасное, и, наконец, для вполне развитого мышления есть только истинное, а прекрасного нет; не буду опровергать этого фактом, что на самом деле развитие мышления в человеке несколько не разрушает в нем эстетического чувства: все это уже было высказано много раз. Как следствие [основной идеи гегелевской системы] и часть метафизической системы, изложенное выше понятие о прекрасном падает вместе с нею. Но может быть ложна система, а частная мысль, в нее вошедшая, может, будучи взята самостоятельно, оставаться справедливою, утверждаясь на своих особенных основаниях. Поэтому остается еще показать, что [гегелевское определение прекрасного] не выдерживает критики, будучи взято и вне связи с [упавшею ныне системою его метафизики].

«Прекрасно то существо, в котором вполне выражается идея этого существа» – в переводе на простой язык будет значить: «прекрасно то, что превосходно в своем роде; то, лучше чего нельзя себе вообразить в этом роде». Совершенно справедливо, что предмет должен быть превосходен в своем роде для того, чтобы называться прекрасным. Так, например, лес может быть прекрасен, но только «хороший» лес, высокий, прямой, густой, одним словом, превосходный лес; коряжник, жалкий, низенький, редкий лес не может быть прекрасен. Роза прекрасна; но только «хорошая», свежая, неоципанная роза. Одним словом, все прекрасное превосходно в своем роде. Но не все превосходное в своем роде прекрасно; крот может быть превосходным экземпляром породы кротов, но никогда не покажется он «прекрасным»; точно то же надобно сказать о большей части амфибий, многих породах рыб, даже многих птицах: чем лучше для естествоиспытателя животное такой породы, т. е. чем полнее выражается в нем его идея, тем оно некрасивее с эстетической точки зрения. Чем лучше в своем роде болото, тем хуже оно в эстетическом отношении. Не все превосходное в своем роде прекрасно; потому, что не все роды предметов прекрасны. Определение [Гегеля] прекрасного, как полного соответствия отдельного предмета с его идеею, слишком широко. Оно высказывает только, что в тех разрядах предметов и явлений, которые могут достигать красоты, прекрасными кажутся лучшие предметы и явления; но не объясняет, почему самые разряды предметов и явлений разделяются на такие, в которых является красота, и другие, в которых мы не замечаем ничего прекрасного.

Но с тем вместе оно и слишком тесно. «Прекрасным кажется то, что кажется полным осуществлением родовой идеи», значит также: «надобно, чтобы в прекрасном существе было все, что только может быть хорошего в существах этого рода; надобно, чтобы нельзя было найти ничего хорошего в других существах того же рода, чего не было бы в прекрасном предмете». Этого мы в самом деле и требуем от прекрасных явлений и предметов в тех царствах природы, где нет разнообразия

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe types одного и того же рода предметов. Так, например, у дуба может быть один только характер красоты: он должен быть высок и густ; эти качества всегда найдутся в прекрасном дубе, и ничего другого хорошего не найдется в других дубах. Но уже в животных является разнообразие типов одной породы, как скоро делаются они домашними.

Еще более такого разнообразия типов красоты в человеке, и мы даже никак не можем представить себе, чтобы все оттенки человеческой красоты совмещались в одном человеке.

Выражение: «прекрасным называется полное проявление идеи в отдельном предмете» – вовсе не определение прекрасного. Но в нем есть справедливая сторона – то, что «прекрасное» есть отдельный живой предмет, а не отвлеченная мысль; есть и другой справедливый намек на свойство истинно художественных произведений искусства: они всегда имеют содержанием своим что-нибудь интересное вообще для человека, а не для одного художника (намек этот заключается в том, что идея – «нечто общее, действующее всегда и везде»); отчего происходит это, увидим на своем месте.

Совершенно другой смысл имеет другое выражение, которое выставляют за тождественное с первым: «прекрасное есть единство идеи и образа, полное слияние идеи с образом»; это выражение говорит о действительно существенном признаке – только не идеи прекрасного вообще, а того, что называется «мастерским произведением», или художественным произведением искусства: прекрасно будет произведение искусства действительно только тогда, когда художник передал в произведении своем все то, что хотел передать. Конечно, портрет хорош только тогда, когда живописец сумел нарисовать совершенно того человека, которого хотел нарисовать. Но «прекрасно нарисовать лицо» и «нарисовать прекрасное лицо» – две совершенно различные вещи. Об этом качестве художественного произведения придется говорить при определении сущности искусства. Здесь же считаю не излишним заметить, что в определении красоты как единства идеи и образа, – в этом определении, имеющем в виду не прекрасное живой природы, а прекрасные произведения искусств, уже скрывается зародыш или результат того направления, по которому эстетика обыкновенно отдает предпочтение прекрасному в искусстве перед прекрасным в живой действительности.

Что же такое в сущности прекрасное, если нельзя определить его как «единство идеи и образа» или как «полное проявление идеи в отдельном предмете»?

Новое строится не так легко, как разрушается старое, и защищать не так легко, как нападать; потому очень может быть, что мнение о сущности прекрасного, кажущееся мне справедливым, не для всех покажется удовлетворительным; но если эстетические понятия, выводимые из господствующих ныне воззрений на отношения человеческой мысли к живой действительности, еще остались в моем изложении неполны, односторонни или шатки, то это, я надеюсь, недостатки не самых понятий, а только моего изложения.

Ощущение, производимое в человеке прекрасным, – светлая радость, похожая на ту, какую наполняет нас присутствие милого для нас существа [1]. Мы бескорыстно любим прекрасное, мы любимся, радуемся на него, как радуемся на милого нам человека. Из этого следует, что в прекрасном есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нечто чрезвычайно многообъемлющее, нечто способное принимать самые разнообразные формы, нечто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся нам предметы чрезвычайно разнообразные, существа, совершенно не похожие друг на друга.

Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете – жизнь; ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить: все живое уже по самой природе своей ужасается гибели, небытия и любит жизнь. И кажется, что определение:

«Прекрасное есть жизнь»;

«прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни», –

кажется, что это определение удовлетворительно объясняет все случаи,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
возбуждающие в нас чувство прекрасного. Проследим главные проявления прекрасного
в различных областях действительности, чтобы проверить это.

«Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку – первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна, – это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не даст разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает, – об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдального следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки – они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, – жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь – и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме; неизбежное следствие всего этого – продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья – вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; не болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придает цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она «много жила»?

□□Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней,
□□Но бледный цвет, тоски примета.
Еще милей.

Но если увлечение бледною, болезненною красотою – признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь – жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах – потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза.

Я пересмотрел, сколько позволяло место, главные принадлежности человеческой красоты, и мне кажется, что все они производят на нас впечатление прекрасного потому, что в них мы видим проявление жизни, как понимаем ее. Теперь надобно посмотреть противоположную сторону предмета, рассмотреть, отчего человек бывает некрасив.

Причину некрасивости общей фигуры человека всякий укажет в том, что человек, имеющий дурную фигуру» – «дурно сложен». Мы очень хорошо знаем, что уродливость – следствие болезни или пагубных случаев, от которых особенно легко уродуется человек в первое время развития. Если жизнь и ее проявления – красота, очень естественно, что болезнь и ее следствия – безобразие. Но человек дурно сложенный – также урод, только в меньшей степени, и причины «дурного сложения» те же самые, которые производят уродливость, только слабее их. Если человек родится горбатым – это следствие несчастных обстоятельств, при которых совершалось первое его развитие; но сутуловатость – та же горбатость, только в меньшей степени, и должна происходить от тех же самых причин. Вообще, худо сложенный человек – до некоторой степени искаженный человек; его фигура говорит нам не о жизни, не о счастливом развитии, а о тяжелых сторонах развития, о неблагоприятных обстоятельствах. От общего очерка фигуры переходим к лицу. Черты его бывают нехороши или сами по себе, или по своему выражению. В лице не нравится нам «злое», «неприятное» выражение потому, что злость – яд, отравляющий нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выражению, а по самым чертам: черты лица некрасивы бывают в том случае, когда лицевые кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы в своем развитии более или менее носят отпечаток уродливости, т. е. когда первое развитие человека совершалось в неблагоприятных обстоятельствах.

Совершенно излишне пускаться в подробные доказательства мысли, что красотой в царстве животных кажется человеку то, в чем выражается по человекообразным понятиям жизнь свежая, полная здоровья и сил. В млекопитающих животных, организация которых более близким образом сравнивается нашими глазами с наружностью человека, прекрасным кажется человеку округленность форм, полнота и свежесть; кажется прекрасным грациозность движений, потому что грациозными бывают движения какого-нибудь существа тогда, когда оно «хорошо сложено», т. е. напоминает человека хорошо сложенного, а не урода. Некрасивым кажется все «неуклюжее», т. е. до некоторой степени уродливое по нашим понятиям, везде отыскивающим сходство с человеком. Формы крокодила, ящерицы, черепахи напоминают млекопитающих животных, но в уродливом, искаженном, нелепом виде; потому ящерица, черепаха отвратительны. В лягушке к неприятности форм присоединяется еще то, что это животное покрыто холодной слизью, какою бывает покрыт труп; от этого лягушка делается еще отвратительнее.

Не нужно подробно говорить и о том, что в растениях нам нравится свежесть цвета и роскошность, богатство форм, обнаруживающие богатую силами, свежую жизнь. Увядшее растение нехорошо; растение, в котором мало жизненных соков, нехорошо.

Кроме того, шум и движение животных напоминают нам шум и движение человеческой жизни; до некоторой степени напоминают о ней шелест растений, качанье их ветвей, вечно колеблющиеся листочки их, – вот другой источник красоты для нас в растительном и животном царстве; пейзаж прекрасен тогда, когда оживлен.

Проводить в подробности по различным царствам природы мысль, что прекрасное есть жизнь, и ближайшим образом, жизнь напоминающая о человеке и о человеческой жизни, я считаю излишним потому, что [и Гегель, и Фишер постоянно говорят о том], что красоту в природе составляет то, что напоминает человека (или, выражаясь [гегелевским термином], предвозвещает личность), что прекрасное в природе имеет значение прекрасного только как намек на человека [великая мысль, глубокая! о, как хороша была бы гегелевская эстетика, если бы эта мысль, прекрасно развитая в ней, была поставлена основной мыслью, вместо фантастического отыскания полноты проявляемой идеи!]. Потому, показав, что прекрасное в человеке – жизнь, не нужно и доказывать, что прекрасное во всех остальных областях действительности, которое становится в глазах человека прекрасным только потому, что служит намеком на прекрасное в человеке и его жизни, также есть жизнь.

Но нельзя не прибавить, что вообще на природу смотрит человек глазами владельца, и на земле прекрасным кажется ему также то, с чем связано счастье, довольство человеческой жизни. Солнце и дневной свет очаровательно прекрасны, между прочим, потому, что в них источник всей жизни в природе, и потому, что дневной свет благотворно действует прямо на жизненные отправления человека, возвышая в нем органическую деятельность, а через это благотворно действует даже на расположение нашего духа.

[Можно даже вообще сказать, что, читая в эстетике Гегеля те места, где говорится о том, что прекрасно в действительности, приходишь к мысли, что бессознательно принимал он прекрасным в природе говорящее нам о жизни, между тем как сознательно поставлял красоту в полноте проявления идеи. У Фишера в отделении «О прекрасном в природе» постоянно говорится, что прекрасное только то, что живое или кажется живым. И в самом развитии идеи прекрасного слово «жизнь» очень часто попадает у Гегеля, так] что, наконец, можно спросить, есть ли существенное различие между нашим определением «прекрасное есть жизнь» и [между определением его:] «прекрасное есть полное единство идеи и образа»? Такой вопрос рождается тем естественнее, что под «идею» [у Гегеля] понимается «общее понятие так, как оно определяется всеми подробностями своего действительного существования», и потому между понятием идеи и понятием жизни (или, точнее, понятием жизненной силы) есть прямая связь. Не есть ли предлагаемое нами определение только переложением на обыкновенный язык того, что высказывается в господствующем определении терминологией) спекулятивной философии?

Мы увидим, что есть существенная разница между тем и другим способом понимать прекрасное. Определяя прекрасное как полное проявление идеи в отдельном существе, мы необходимо приходим к выводу: «прекрасное в действительности только призрак, влагаемый в нее нашею фантазией»; из этого будет следовать, что «собственно говоря, прекрасное создается нашею фантазией, а в действительности (или, [по Гегелю]: в природе) истинно прекрасного нет»; из того, что в природе нет истинно прекрасного, будет следовать, что «искусство имеет своим источником стремление человека восполнить недостатки прекрасного в объективной действительности» и что «прекрасное, создаваемое искусством, выше прекрасного в объективной действительности», – все эти мысли составляют сущность [гегелевской эстетики и являются в ней] не случайно, а по строгому логическому развитию основного понятия о прекрасном.

Напротив того, из определения «прекрасное есть жизнь» будет следовать, что истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством; происхождение искусства должно быть при таком воззрении на красоту в действительности объяснено из совершенно другого источника; после того и существенное значение искусства явится совершенно в другом свете.

Итак, должно сказать, что новое понятие о сущности прекрасного, будучи выводом из таких общих воззрений на отношения действительного мира к воображаемому, которые совершенно различны от господствовавших прежде в науке, приводя к эстетической системе, также существенно различающейся от систем, господствовавших в последнее время, и само существенно различно от прежних понятий о сущности прекрасного. Но с тем вместе оно представляется как их необходимое дальнейшее развитие. Существенное различие между господствующей и предлагаемой эстетическими системами будем видеть постоянно; чтобы указать на точку тесного родства между ними, скажем, что новое воззрение объясняет важнейшие эстетические факты, которые выставлялись на вид в прежней системе. Так, например, из определения «прекрасное есть жизнь» становится понятно, почему в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа – жизнь мы видим только в действительных, живых существах, а отвлеченные, общие мысли не входят в область жизни.

Что касается существенного различия прежнего и предлагаемого нами понятия о прекрасном, оно обнаруживается, как мы сказали, на каждом шагу; первое доказательство этого представляется нам в понятиях об отношении к прекрасному возвышенного и комического, которые в господствующей эстетической системе признаются соподчиненными видоизменениями прекрасного, проистекающими от различного отношения между двумя его факторами, идеею и образом. [По гегелевской системе] чистое единство идеи и образа есть то, что называется собственно прекрасным; но не всегда бывает равновесие между образом и идеею; иногда идея берет перевес над образом и, являясь нам в своей всеобщности, бесконечности, переносит нас в область абсолютной идеи, в область бесконечного – это называется возвышенным (*das Erhabene*); иногда образ подавляет, искажает идею – это называется комическим (*das Komische*).

Подвергнув критике коренное понятие, мы должны подвергнуть ей и вытекающие из него воззрения, должны исследовать сущность возвышенного и комического и их отношения к прекрасному.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe

Господствующая эстетическая система дает нам два определения возвышенного, как давала два определения прекрасного. «Возвышенное есть перевес идеи над формой», и «возвышенное есть проявление абсолютного». В сущности эти два определения совершенно различны, как существенно различными найдены были нами и два определения прекрасного, представляемые господствующей системой; в самом деле, перевес идеи над формой производит не собственно понятие возвышенного, а понятие «туманного, неопределенного» и понятие «безобразного» (das Hässliche) [как это прекрасно развивается у одного из новейших эстетиков, Фишера, в трактате о возвышенном и во введении к трактату о комическом]; между тем как формула «возвышенное есть то, что пробуждает в нас (или, [выражаясь терминами гегелевской школы], что проявляет в себе) идею бесконечного» остается определением собственно возвышенного. Потому каждое из них должно рассмотреть особенно.

Очень легко показать неприложимость к возвышенному определения «возвышенное есть перевес идеи над образом», после того как сам Фишер, его принимающий, сделал это, объяснив, что от перевеса идеи над образом (выражая ту же мысль обыкновенным языком: от превозможения силы, проявляющейся в предмете, над всеми стесняющими ее силами, или, в природе органической, над законами организма, ее проявляющего) происходит безобразное или неопределенное («безобразное» сказал бы я, если бы не боялся впасть в игру слов, сопоставляя безобразное и возвышенное). Оба эти понятия совершенно различны от понятия возвышенного. Правда, безобразное бывает возвышенным, когда оно ужасно; правда, туманная неопределенность усиливает впечатление возвышенного, производимое ужасным или огромным; но безобразное, если оно не страшно, бывает просто отвратительно или некрасиво; туманное, неопределенное не производит никакого эстетического действия, если не огромно или не ужасно. Безобразием или туманною неопределенностью характеризуются не все роды возвышенного; безобразное или неопределенное не всегда имеет характер возвышенного. Очевидно, что эти понятия различны от понятия возвышенного. «Перевес идеи над формой», говоря строго, относится к тому роду событий в мире нравственном и явлений в мире материальном, когда предмет разрушается от избытка собственных сил; неоспоримо, что эти явления часто имеют характер чрезвычайно возвышенный; но только тогда, когда сила, разрушающая сосуд, ее заключающий, уже имеет характер возвышенности или предмет, ею разрушаемый, уже кажется нам возвышенным, независимо от своей гибели собственной силою. Иначе о возвышенном не будет и речи. Когда Ниагарский водопад, сокрушив скалу, его образующую, уничтожится напором собственных сил; когда Александр Македонский погибает от избытка собственной энергии, когда Рим падает собственной тяжестью, – это явления возвышенные; но потому, что Ниагарский водопад, Римская империя, личность Александра Македонского сами по себе уже принадлежат области возвышенного; какова жизнь, такова и смерть, какова деятельность, такова и падение. Тайна возвышенности здесь не в «перевесе идеи над явлением», а в характере самого явления; только от величия сокрушающегося явления заимствует свою возвышенность и его сокрушение. Само по себе исчезновение от перевеса внутренней силы над ее временным проявлением не есть еще критерий возвышенного. Яснее всего «перевес идеи над формой» высказывается в том явлении, когда зародыш листа, разрастаясь, разрывает оболочку почки, его родившей; но это явление решительно не относится к разряду возвышенных. «Перевесом идеи над формой», погибелью самого предмета от избытка развивающихся в нем сил отличается так называемая отрицательная форма возвышенного от положительной. Справедливо, что возвышенное отрицательное выше возвышенного положительного; потому надобно согласиться, что «перевесом идеи над формой» усиливается эффект возвышенного, как может он усиливаться многими другими обстоятельствами, напр., уединенностью возвышенного явления (пирамида в открытой степи величественнее, нежели была бы среди других громадных построек; среди высоких холмов ее величие исчезло бы); но усиливающее эффект обстоятельство не есть еще источник самого эффекта, притом перевеса идеи над образом, силы над явлением очень часто не бывает в положительном возвышенном. Примеры этого могут быть во множестве отысканы в каждом курсе эстетики.

Переходим к другому определению возвышенного: «возвышенное есть проявление идеи бесконечного» [выражаясь гегелевским языком], или, выражая эту философскую формулу обыкновенным языком: «возвышенное есть то, что возбуждает в нас идею бесконечного». Самый беглый взгляд на трактат о возвышенном в новейших эстетиках убеждает нас, что это определение возвышенного лежит в сущности [гегелевских] понятиях о нем. Мало того, мысль, что возвышенными явлениями возбуждается в человеке предчувствие бесконечного, господствует и в понятиях людей, чуждых строгой науке; редко можно найти сочинение, в котором не высказывалась бы она,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe как скоро представляется повод, хотя самый отдаленный; почти в каждом описании величественного пейзажа, в каждом рассказе о каком-нибудь ужасном событии найдется подобное отступление или применение. Потому на мысль о возбуждении величественным идеи абсолютного должно обратить более внимания, нежели на предыдущее понятие о перевесе в нем идеи над образом, критику которого было достаточно ограничить несколькими словами.

К сожалению, здесь не место подвергать анализу идею «абсолюта», или бесконечного, и показывать настоящее значение абсолютного в области метафизических понятий; тогда только, когда мы поймем это значение, представится нам вся неосновательность понимания под возвышенным бесконечного. Но и не пускаясь в метафизические прения, мы можем увидеть из фактов, что идея бесконечного, как бы ни понимать ее, не всегда, или, лучше сказать, – почти никогда не связана с идеею возвышенного. Строго и беспристрастно наблюдая за тем, что происходит в нас, когда мы созерцаем возвышенное, мы убедимся, что 1) возвышенным представляется нам самый предмет, а не какие-нибудь вызываемые этим предметом мысли; так, например, величествен сам по себе Казбек, величественно само по себе море, величественна сама по себе личность Цезаря или Катона. Конечно, при созерцании возвышенного предмета могут пробуждаться в нас различного рода мысли, усиливающие впечатление, им на нас производимое; но возбуждаются они или нет, – дело случая, независимо от которого предмет остается возвышенным: мысли и воспоминания, усиливающие ощущение, рождаются при всяком ощущении, но они уже следствие, а не причина первоначального ощущения, и если, задумавшись над подвигом Муция Сцеволы, я дохожу до мысли: «да, безгранична сила патриотизма», то мысль эта только следствие впечатления, произведенного на меня независимо от нее самым поступком Муция Сцеволы, а не причина этого впечатления; точно так же мысль: «нет ничего на земле прекраснее человека», которая может пробудиться во мне, когда я задумаюсь, глядя на изображение прекрасного лица, не причина того, что я восхищаюсь им, как прекрасным, а следствие того, что оно уже прежде нее, независимо от нее кажется мне прекрасно. И потому, если бы даже согласиться, что созерцание возвышенного всегда ведет к идее бесконечного, то возвышенное, порождающее такую мысль, а не порождаемое ею, должно иметь причину своего действия «а нас не в ней, а в чем-нибудь другом. Но, рассматривая свое представление о возвышенном предмете, мы открываем, 2) что очень часто предмет кажется нам возвышен, не переставая в то же время казаться далеко не беспредельным и оставаясь в решительной противоположности с идеею безграничности. Так, Монблан или Казбек – возвышенный, величественный предмет: но никто из нас не думает, в противоречие собственным глазам, видеть в нем безграничное или неизмеримо великое. Море кажется беспредельным, когда не видно берегов; но все эстетики утверждают (и совершенно справедливо), что море кажется гораздо величественнее, когда виден берег, нежели тогда, когда берегов не видно. Вот факт, обнаруживающий, что идея возвышенного не только не порождается идеею безграничного, но даже может быть (и часто бывает) в противоречии с нею, что условие безграничности может быть невыгодно для впечатления, производимого возвышенным. Идем далее, пересматривая ряд величественных явлений по мере возрастания эффекта, ими производимого на чувство возвышенного. Гроза – одно из величественнейших явлений в природе; но необходимо иметь слишком восторженное воображение, чтобы видеть какую бы то ни было связь между грозой и бесконечностью. Во время грозы мы восхищаемся, думая при этом только о самой грозе. «Но во время грозы человек чувствует собственную ничтожность пред силами природы, силы природы кажутся ему безмерно превышающими его силы». Что силы грозы кажутся нам чрезвычайно превышающими наши собственные силы, это правда; но если явление представляется непреодолимым для человека, из этого еще не следует, чтобы оно казалось нам неизмеримо, бесконечно могущественным. Напротив, человек, смотря на грозу, очень хорошо помнит, что она бессильна над землею, что первый ничтожный холм непоколебимо отразит весь напор урагана, все удары молнии. Правда, удар молнии может убить человека; но что ж из этого? Не эта мысль причину, что гроза кажется мне величественною. Когда я смотрю на то, как вертятся крылья ветряной мельницы, я также очень хорошо знаю, что, задев меня, мельничное крыло переломит меня, как щепку, я «сознаю ничтожность своих сил перед силою» мельничного крыла; а между тем едва ли в ком-нибудь взгляд на вертящуюся мельницу возбуждал ощущение возвышенного. «Но здесь не пробуждается во мне опасение за себя; я знаю, что мельничное крыло не зацепит меня; во мне нет чувства ужаса, какое пробуждается грозою». – Справедливо; но этим говорится уже совершенно не то, что говорилось прежде; этим говорится: «возвышенное есть ужасное, грозное». Посмотрим на это определение «возвышенного сил природы», которое в самом деле находим в эстетиках. Ужасное очень часто бывает возвышенным, это правда; но не всегда оно бывает возвышенным: гремучая змея,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
скорпион, тарантул ужаснее льва; но они отвратительно ужасны, а не
возвышенно-ужасны. Чувство ужаса может усиливать ощущение возвышенного, но ужас
и возвышенность – два совершенно различных понятия. Идем, однако, далее по ряду
величественных явлений. В природе мы не видели ничего, прямо говорящего о
безграничности; против заключения, выводимого отсюда, можно заметить, что
«истинно возвышенное не в природе, а в самом человеке»; согласимся, хотя и в
природе много истинно возвышенного. Но почему же «возвышенна» кажется нам
«безграничная» любовь или порыв «всесокрушающего» гнева? Неужели потому, что
сила этих стремлений «неодолима», «пробуждает идею бесконечного своею
неодолимостью»? Если так, то гораздо неодолимее потребность спать: самый
страстный любовник едва ли может пробыть без сна четверо суток; гораздо
неодолимее потребности «любить» потребность есть и пить: это истинно
безграничная потребность, потому что нет человека, не признающего силы ее, между
тем как о любви очень многие не имеют и понятия; из-за этой потребности
совершается гораздо больше и гораздо труднейших подвигов, нежели от
«всесильного» могущества любви. Почему же мысль о еде и питье не возвышенна, а
идея любви возвышенна? Непреоборимость не есть еще возвышенность; безграничность
и бесконечность вовсе не связаны с идеею величественного.

Едва ли можно после этого разделять мысль, что «возвышенное есть перевес идеи
над формой», или что «сущность возвышенного состоит в пробуждении идеи
бесконечного». В чем же состоит она? Очень простое определение возвышенного
будет, кажется, вполне обнимать и достаточно объяснять все явления, относящиеся
к его области.

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». –
«Возвышенный предмет – предмет, много превосходящий своим размером предметы, с
которыми сравнивается нами; возвышенно явление, которое гораздо сильнее других
явлений, с которыми сравнивается нами».

Монблан и Казбек – величественные горы, потому что гораздо огромное дюжинных гор
и пригорков, которые мы привыкли видеть; «величественный» лес в двадцать раз
выше наших яблонь, акаций и в тысячу раз огромное наших садов и рощ. Волга
гораздо шире Твер-Цы или Клязьмы; гладкая площадь моря гораздо обширнее площади
прудов и маленьких озер, которые беспрестанно попадают путешественнику; волны
моря гораздо выше волн этих озер, потому буря на море возвышенное явление, хотя
бы никому не угрожала опасностью; свирепый ветер во время грозы во сто раз
сильнее обыкновенного ветра, шум и рев его гораздо сильнее шума и свиста,
производимого обыкновенным крепким ветром; во время грозы гораздо темнее, нежели
в обыкновенное время, темнота доходит до черноты; молния ослепительнее всякого
света – все это делает грозу возвышенным явлением. Любовь гораздо сильнее наших
ежедневных мелочных расчетов и побуждений; гнев, ревность, всякая вообще страсть
также гораздо сильнее их – потому страсть возвышенное явление. Юлий Цезарь,
Отелло, Дездемона, Офелия – возвышенные личности; потому что Юлий Цезарь как
полководец и государственный человек далеко выше всех полководцев и
государственных людей своего времени; Отелло любит и ревнует гораздо сильнее
дюжинных людей; Дездемона и Офелия любят и страдают с такой полной преданностью,
способность к которой найдется далеко не во всякой женщине. «Гораздо больше,
гораздо сильнее» – вот отличительная черта возвышенного.

Надобно прибавить, что вместо термина «возвышенное» (das Erhabene) было бы
гораздо проще, характеристичнее и лучше говорить «великое» (das Grosse). Юлий
Цезарь, Марий не «возвышенные», а «великие» характеры. Нравственная
возвышенность – только один частный род величия вообще.

Просмотрев лучше курсы эстетики, легко убедиться, что в нашем кратком обзоре
подведены под принимаемое нами понятие возвышенного или великого все его главные
видоизменения. Остается показать, как принимаемое нами воззрение на сущность
возвышенного относится к подобным мыслям, высказанным в известных ныне курсах
эстетики.

О том, что «возвышенность» – следствие превосходства над окружающим, говорится у
Канта и вслед за ним у позднейших эстетиков [у Гегеля, у Фишера]: «Мы
сравниваем, – говорят они, – возвышенное в пространстве, с окружающими его
предметами; для этого на возвышенном предмете должны быть легкие подразделения,
дающие возможность, сравнивая, считать, во сколько раз он больше окружающих его
предметов, во сколько раз, напр., гора больше дерева, растущего на ней. Счет так
длиннен, что, не дошедши до конца, мы уже теряемся в нем; окончив его, должны

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
опять начинать, потому что не могли сосчитать, и считаем опять безуспешно. Таким образом, нам кажется, наконец, что гора неизмеримо велика, бесконечно велика». – «Сравнение с окружающими предметами необходимо для того, чтобы предмет казался возвышенным», – мысль очень близкая к принимаемому нами воззрению на основной признак возвышенного. Но обыкновенно она прилагается только к возвышенному в пространстве, между тем как ее должно одинаково проводить по всем родам возвышенного. Обыкновенно говорят: «возвышенное состоит в превозможении идеи над формой, и это превозможение на низших степенях возвышенного узнается сравнением предмета по величине с окружающими предметами»; нам кажется, что должно говорить: «превосходство великого (или возвышенного) над мелким и дюжинным состоит в гораздо большей величине (возвышенное в пространстве или во времени) или в гораздо большей силе (возвышенное сил природы и возвышенное в человеке)». Из второстепенного и частного признака возвышенности сравнение и превосходство по величине должно быть возведено в главную и общую мысль при определении возвышенного.

Таким образом, принимаемое нами понятие возвышенного точно так же относится к обыкновенному определению его, как наше понятие о сущности прекрасного к прежнему взгляду, – в обоих случаях возводится на степень общего и существенного начала то, что прежде считалось частным и второстепенным признаком, было закрываемо от внимания другими понятиями, которые мы отбрасываем как побочные.

Вследствие изменения точки зрения и возвышенное, подобно прекрасному, представляется нам как явление более самостоятельное и, однако же, более близкое человеку, нежели представлялось. С тем вместе наше воззрение на сущность возвышенного признает его фактическую реальность, между тем как обыкновенно полагают, будто бы возвышенное в действительности только кажется возвышенным от вмешательства нашей фантазии, расширяющей до безграничности объем или силу возвышенного предмета или явления. И действительно, если возвышенное существенно есть бесконечное, то возвышенного нет в мире, доступном нашим чувствам и нашему уму.

Но если по определениям прекрасного и возвышенного, нами принимаемым, прекрасному и возвышенному придается (независимость от фантазии, то, с другой стороны, этими определениями выставляется на первый план отношение к человеку вообще и к его понятиям тех предметов и явлений, которые находит человек прекрасными и возвышенными: прекрасное то, в чем мы видим жизнь так, как мы понимаем и желаем ее, как она радуется нас; великое то, что гораздо выше предметов, с которыми сравниваем его мы. Из обыкновенных [гегелевских] определений, напротив, по странному противоречию, следует: прекрасное и великое вносятся в действительность человеческим взглядом на вещи, создаются человеком, но не имеют никакой связи с понятиями человека, с его взглядом на вещи. Ясно также, что определениями прекрасного и возвышенного, которые кажутся нам справедливыми, разрушается непосредственная связь этих понятий, подчиняемых одно другому определениями: «прекрасное есть равновесие идеи и образа», «возвышенное есть перевес идеи над образом». В самом деле, принимая определение «прекрасное есть жизнь», «возвышенное есть то, что гораздо больше всего близкого или подобного», мы должны будем сказать, что прекрасное и возвышенное – совершенно различные понятия, не подчиненные друг другу и соподчиненные только одному общему понятию, очень далекому от так называемых эстетических понятий: «интересное».

Потому, если эстетика – наука о прекрасном по содержанию, то она не имеет права говорить о возвышенном, как >не имеет права говорить о добром, истинном и т. д. Если же понимать под эстетикой науку об искусстве, то, конечно, она должна говорить о возвышенном, потому что возвышенное входит в область искусства.

Но, говоря о возвышенном, до сих пор мы не касались трагического, которое обыкновенно признают высшим, глубочайшим родом возвышенного.

Господствующие ныне в науке понятия о трагическом играют очень важную роль не только в эстетике, но и во многих других науках (напр., в истории), даже сливаются с необходимыми понятиями о жизни. Поэтому я считаю излишним довольно подробно изложить их, чтобы дать основание своей критике. В изложении буду я строго следовать Фишеру, которого эстетика ныне считается наилучшею в Германии.

«Субъект по своей природе существо деятельное. Действуя, он переносит во внешний мир свою волю и тем самым приходит в столкновение с законом необходимости,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
владычествующим во внешнем мире. Но действие субъекта необходимо запечатлено индивидуальной ограниченностью и потому нарушает абсолютное единство объективной связи мира. Это оскорбление есть вина (die Schuld) и отзывается в субъекте тем, что, связанный узами единства, внешний мир весь как одно целое взволновывается действием субъекта и чрез это отдельный поступок субъекта влечет за собою необозримый и непредусмотримый ряд последствий, в которых субъект уже не узнает своего поступка и своей воли; тем не менее он должен признавать необходимую связь всех этих последующих явлений со своим поступком и чувствовать себя в ответственности за них. Ответственность за то, чего не хотел и что, однако, сделал он, имеет для субъекта последствием страдание, т. е. выражение противодействия от нарушенного хода вещей во внешнем мире нарушившему их действию. Необходимость этого противодействия и страдания усиливается тем, что угрожаемый субъект предвидит последствия, предвидит зло себе, но подвергается ему через те самые средства, которыми хотел избежать его. Страдание может усилиться до гибели субъекта и его дела. Но дело субъекта погибает только по-видимому, погибает не совершенно: объективный ряд последствий переживает гибель субъекта и, мало-помалу сливаясь с всеобщим единством, очищается от своей индивидуальной ограниченности, полученной от субъекта. Если субъект, погибая, усваивает себе это сознание правдивости своего страдания и того, что дело его не погибает, а очищается и торжествует его гибелью, то примирение полно, и сам субъект просветленным образом переживает себя в своем очищающемся и торжествующем деле. Все это движение называется судьбою, или «трагическим». Трагическое бывает различных родов. Первая форма его та, когда субъект является не фактически, а только в возможности виновным и когда поэтому сила, его губящая, является слепой силою природы, которая на отдельном субъекте, более отличающемся внешним блеском богатства и т. п., нежели внутренними достоинствами, показывает пример, что индивидуальное должно погибнуть потому, что оно индивидуальное. Гибель субъекта исходит здесь не от нравственного закона, а от случая, который, однако, находит себе объяснение и оправдание в примиряющей мысли, что смерть – всеобщая необходимость. В трагическом простой вины (die einfache Schuld) возможность вины переходит в действительную вину. Но вина лежит не в необходимом объективном противоречии, а в какой-нибудь запутанности, связанной с действием субъекта. Вина эта нарушает в чем-нибудь нравственную целостность мира. Чрез нее страдают другие субъекты, и так как вина здесь на одной стороне, то сначала кажется, что они страдают невинно. Но в таком случае субъекты были бы чистым объектом для другого субъекта, что противоречит значению субъективности. Потому что они должны открыть в себе слабую сторону какою-нибудь ошибкою, находящеюся в связи с их сильными сторонами, и погибать чрез эту слабую сторону; страдание главного субъекта, как обратная сторона его поступка, истекает силою оскорбленного нравственного порядка из самой вины. Орудием наказания могут быть или оскорбленные субъекты, или сам преступник, сознающий свою вину. Наконец, высшая форма трагического – трагическое нравственного столкновения. Общий нравственный закон дробится на частные требования, которые часто могут находиться в противоположности между собою, так что, удовлетворяя одному, человек необходимо оскорбляет другое. Борьба эта, истекающая из внутренней необходимости, а не из случайностей, может оставаться внутреннею борьбою в сердце одного человека. Такова борьба в сердце Антигоны у Софокла. Но как искусство олицетворяет все в отдельных образах, то обыкновенно борьба двух требований нравственного закона представляется в искусстве борьбою двух лиц. Одно из двух противоречащих стремлений справедливее и потому сильнее другого; оно сначала побеждает все, ему сопротивляющееся, и тем самым становится уже несправедливо, подавляя справедливое право противоположного стремления. Теперь справедливость – на стороне, которая сначала была побеждена, и стремление, в сущности более справедливое, погибает под тяжестью собственной несправедливости от ударов противоположного стремления, которое, будучи оскорблено в своем праве, имеет за собой, в начале противодействия, всю силу истины и справедливости, но, побеждая, впадает само точно таким же образом в несправедливость, влекущую за собой гибель или страдание. Прекрасно весь этот ход трагического развивается в «Юлии Цезаре» Шекспира: Рим стремится к монархической форме правления; представителем этого стремления является Юлий Цезарь; оно справедливее и потому сильнее противоположного направления, стремящегося сохранить издавна установившееся устройство Рима; Юлий Цезарь побеждает Помпея. Но существующее издавна также имеет право существовать [оно разрушается Юлием Цезарем, и оскорбленная им законность восстает против него в лице Брута]. Цезарь погибает; но заговорщики сами мучаются сознанием того, что Цезарь, погибший от них, выше их, и сила, которой он был представителем, воскресает в лице триумвиров. Брут и Кассий погибают; но на гробе Брута Антоний и Октавий высказывают свое сожаление о нем. Так совершается, наконец, примирение

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
противоположных стремлений, из которых каждое и справедливо и несправедливо в
своей односторонности, которая постепенно сглаживается падением каждого из них;
из борьбы и гибели возникают единство и новая жизнь».

Из этого изложения видно, что понятие трагического в немецкой эстетике соединяется с понятием судьбы, так что трагическая участь человека представляется обыкновенно как «столкновение человека с судьбою», как следствие «вмешательства судьбы». Понятие судьбы обыкновенно искажается в новых европейских книгах, старающихся объяснить его нашими научными понятиями, даже связать с ними, потому необходимо представить его во всей чистоте и наготе. Оно через это избавится от несообразного смешения с понятиями науки, в сущности ему противоречащими, и выкажет всю свою неосновательность, которая прячется при новейших переделках его на наши нравы. Живое и неподдельное понятие о судьбе было у старинных греков (т. е. у греков до появления у них философии) и до сих пор живет у многих восточных народов; оно господствует в рассказах Геродота, в греческих мифах, в индийских поэмах, сказках «Тысячи и одной ночи» и проч. Что касается позднейших превращений этого основного воззрения под влиянием понятий о мире, доставленных наукою, эти видоизменения мы считаем лишним исчислять и еще менее находим нужды подвергать их особенной критике, потому что все они, подобно понятию новейших эстетиков о трагическом, представляясь следствием стремления согласить непримиримое – фантастические представления полудикого и научные понятия, – страдают такою же несостоятельностью, как и понятие новейших эстетиков о трагическом: различие только то, что натянутость соединения противоположных начал в предшествующих попытках сближения была очевиднее, нежели в понятии о трагическом, которое составлено с чрезвычайным диалектическим глубокомыслием. Поэтому не считаем за нужное излагать все эти искаженные понятия о судьбе, считая достаточным показать, как угловато виднеется первоначальная основа даже из-под последней и искуснейшей диалектической одежды, которую облеклась она в господствующем ныне эстетическом воззрении на трагическое.

Вот как понимают ход жизни человеческой народы, имеющие неподдельное понятие о судьбе: если я не буду принимать никаких предосторожностей против несчастья, я могу уцелеть, и почти всегда уцелею; но если я приму предосторожности, я непременно погибну, и погибну именно оттого, в чем искал спасения. Я собираюсь в дорогу и принимаю все предосторожности против несчастий, могущих случиться в дороге; между прочим, зная, что не везде можно найти медицинские пособия, беру с собою несколько флакончиков с нужнейшими лекарствами и прячу их в боковой карман экипажа. Что необходимо должно выйти из этого по понятиям старинных греков? То, что экипаж мой опрокидывается в дороге, флакончики летят из кармана; опрокидываясь сам, я попадаю виском на один из флакончиков, раздавливаю его, осколок стекла врезывается в мой висок, и я умираю. Если бы не взято было мною предосторожностей, не было бы мне никакой беды; но я хотел принять меры против несчастья и погиб от того самого, в чем искал безопасности. Подобный взгляд на человеческую жизнь так мало подходит к нашим понятиям, что имеет для нас интерес только фантастического; трагедия, основанная на идее восточной или старинной греческой судьбы, для нас будет иметь значение сказки, обезображенной переделкою. А между тем все представленное нами изложение понятий о трагическом в немецкой эстетике есть только опыт привести понятие о судьбе в согласие с понятиями современной науки. Это введение понятия о судьбе в науку посредством эстетического воззрения на сущность трагического было сделано с чрезвычайным глубокомыслием, свидетельствующим о великой силе умов, трудившихся над примирением чуждых науке воззрений на жизнь с понятиями науки; но эта глубокомысленная попытка служит решительным доказательством того, что подобные стремления никогда не могут быть успешны: наука может только объяснить происхождение фантастических мнений полудикого человека, но не примирить их с истиною. Понятие о судьбе родилось и развилось следующим образом.

Одно из действий образованности на человека состоит в том, что она, расширяя круг его зрения, дает ему возможность понимать в истинном смысле явления, не сходные с ближайшими к «ему, которые одни только кажутся удобопонятными для необразованного ума, не постигающего явлений, чуждых непосредственной сфере его жизненных отправлений. Наука дает человеку понятие о том, что жизнь природы, жизнь растений и животных совершенно отлична от человеческой жизни. Дикарь или полудикий человек не представляет себе жизни иной, как та, которую знает он непосредственно, как человеческую жизнь; ему кажется, что дерево говорит, чувствует, наслаждается и страдает, подобно человеку; что животные действуют так же сознательно, как человек, – у них свой язык; даже и на человеческом языке не говорят они только потому, что хитры и надеются выиграть молчанием больше,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
нежели разговорами. Точно так же он воображает себе жизнь реки, скалы; скала – это окаменевший богатырь, сохранивший чувства и мысль; река – это наяда, русалка, водяной. Землетрясения Сицилии происходят оттого, что гигант, заваленный этим островом, старается сбросить тяжесть, которая лежит на его членах. Во всей природе видит дикарь человекоподобную жизнь, все явления природы производит от сознательного действия человекообразных существ. Как он очеловечивает ветер, холод, жар (припомним нашу сказку о том, как спорили мужик-ветер, мужик-мороз, мужик-солнце, кто из них сильнее), болезни (рассказы о холере, о двенадцати сестрах-лихорадках, о цынге; последний – между шпицбергенскими промышленниками), точно так же очеловечивает он и силу случая. Приписывать его действия произволу человекообразного существа еще легче, нежели объяснять подобным образом другие явления природы и жизни, потому что именно действия случая скорее, нежели явления других сил, могут пробудить мысль о капризе, произволе, о всех тех качествах, которые составляют исключительную принадлежность человеческой личности. Посмотрим же, каким образом из воззрения на случай как на дело человекообразного существа развиваются все качества, приписываемые судьбе дикими и полудикими народами. Чем важнее дело, задуманное человеком, тем больше нужно условий, чтобы оно исполнилось именно так, как задумано; почти никогда все условия не встретятся так, как человек рассчитывал, и потому почти никогда важное дело не делается именно так, как предполагал человек. Эта случайность, расстраивающая наши планы, кажется полудикому человеку, как мы сказали, делом человекообразного существа, судьбы; из этого основного характера, замечаемого в случае, или судьбе, сами собою следуют все качества, придаваемые судьбе современными дикарями, очень многими восточными народами и старинными греками. Ясно, что самые важные дела именно и служат игрищем судьбы (потому, как мы сказали, чем важнее дело, тем от большего числа условий оно зависит, и следовательно, тем обширнее в нем поле для случайностей); идем далее. Случай уничтожает наши расчеты – значит, судьба любит уничтожать наши расчеты, любит посмеяться над человеком и его расчетами; случай невозможно предусмотреть, невозможно сказать, почему случилось так, а не иначе, – следовательно, судьба капризна, своенравна; случай часто пагубен для человека – следовательно, судьба любит вредить человеку, судьба зла; и в самом деле у греков судьба – человеконенавистница; злой и сильный человек любит вредить именно самым лучшим, самым умным, самым счастливым людям – их преимущественно любит губить и судьба; злобный, капризный и очень сильный человек любит выказывать свое могущество, говоря наперед тому, кого хочет уничтожить: «я хочу сделать с тобою вот что; попробуй бороться со мною», – так и судьба объявляет вперед свои решения, чтобы иметь злую радость доказать нам наше бессилие перед нею и посмеяться над нашими слабыми, безуспешными попытками бороться с нею, избежать ее. Станным кажутся нам теперь подобные мнения. Но посмотрим, как они отразились в эстетической теории трагического.

Она говорит: «свободное действие человека возмущает естественный ход природы; природа и ее законы восстают против оскорбителя своих прав; следствием этого бывают страдание и гибель действующего лица, если действие было так могущественно, что вызванное им противодействие было серьезно: потому все великое подлечит трагической участи». Природа здесь представляется живым существом, чрезвычайно раздражительным, чрезвычайно щекотливым насчет своей неприкосновенности. Неужели в самом деле природа оскорбляется? неужели в самом деле природа мстит? Нет; она продолжает вечно действовать по своим законам, она не знает о человеке и его делах, о его счастье и его гибели; ее законы могут иметь и часто имеют пагубное для человека и его дел действие; но на них же опирается всякое человеческое действие. Природа бесстрашна к человеку; она не враг и не друг ему: она – то удобное, то неудобное поприще для его деятельности. В том нет сомнения, что всякое важное дело человека требует сильной борьбы с природою или с другими людьми; но почему это так? Потому только, что, как бы ни было само по себе важно дело, мы привыкли не считать его важным, если оно совершается без сильной борьбы. Так, дыхание важнее всего в жизни человека; но мы не обращаем и внимания на него, потому что ему обыкновенно не противостоят никакие препятствия; для дикаря, питающегося даром ему достоящимися плодами хлебного дерева, и для европейца, которому хлеб достается только через тяжелую работу земледелия, пища одинаково важна; но собирание плодов хлебного дерева – «не важное» дело, потому что оно легко; «важно» земледелие, потому что оно тяжело. Итак, не все важные по существенному значению своему дела требуют борьбы; но мы привыкли называть важными только те из важных в сущности дел, которые трудны. Много есть драгоценных вещей, которые не имеют никакой цены, потому что достаются даром, напр., вода и солнечный свет; и много есть очень важных дел, которым не придается никакой важности потому только, что они

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
делаются легко. Но согласимся с обыкновенного фразеологиею; пусть важны будут только те дела, которые требуют тяжелой борьбы. Неужели эта борьба всегда трагична? Вовсе нет; иногда трагична, иногда не трагична, как случится. Мореходец борется с морем, бурями, подводными скалами; тяжело его поприще; но разве необходимо этому поприщу быть трагичным? На один корабль, который будет разбит бурей о подводные скалы, приходится сотня кораблей, которые невредимыми достигают гавани. Пусть всегда нужна борьба; но не всегда борьба бывает несчастна. А счастливая борьба, как бы ни была она тяжела, – не страдание, а наслаждение, не трагична, а только драматична. И не правда ли, что если приняты все нужные предосторожности, то почти всегда дело кончается счастливо? Где же необходимость трагического в природе? Трагическое в борьбе с природою – случайность. Этим одним разрушается теория, видящая в нем «закон вселенной». «Но общество? но другие люди? разве не должен выдержать с ними тяжелую борьбу всякий великий человек?» Опять надобно сказать, что не всегда сопряжены с тяжелою борьбою великие события в истории, но что мы, по злоупотреблению языка, привыкли называть великими событиями только те, которые были сопряжены с тяжелою борьбою. Крещение франков было великим событием; но где же при нем тяжелая борьба? Не было тяжелой борьбы и при крещении русских. Трагична ли судьба великих людей? Иногда трагична, иногда не трагична, как и участь мелких людей; необходимости тут нет никакой. И даже надобно вообще сказать, что участь великих людей обыкновенно бывает легче участи незамечательных людей; впрочем, опять не от особенного расположения судьбы к замечательным или нерасположения к незамечательным людям, а просто потому, что у первых больше сил, ума, энергии, что другие люди больше питают к ним уважения, сочувствия, скорее готовы содействовать им. Если в людях есть склонность завидовать чужому величию, то еще больше в них склонности уважать величие; общество будет благоговеть перед великим человеком, если нет особенных, случайных причин обществу считать его вредным для себя. Трагична или не трагична судьба великого человека, зависит от обстоятельств; и в истории менее можно встретить великих людей, участь которых была трагична, нежели таких, в жизни которых много было драматизма, но не было трагичности. Крез, Помпей, Юлий Цезарь имели трагическую судьбу; но Нума Помпилий, Марий, Сул-ла, Август окончили свое поприще очень счастливо. Что можно найти трагического в судьбе Карла Великого, Петра Великого, Фридриха II, в жизни Лютера, Вольтера [самого Гегеля?]. Борьбы в жизни этих людей было много; но, говоря вообще, надобно сознаться, что удача и счастье были на их стороне. А если Сервантес умер в нищете, то разве не умирают в «ищите тысячи незамечательных людей, которые могли бы не менее Сервантеса рассчитывать на счастливую развязку в жизни и по своей незначительности вовсе не могли подлежать закону трагизма? Случайности жизни безразлично поражают замечательных и незамечательных людей, безразлично благоприятствуют тем и другим. Но продолжаем наш обзор и от общего понятия о трагическом переходим к трагическому «простой вины».

«В характере великого человека, – говорит господствующая эстетическая теория, – всегда есть слабая сторона; в действовании замечательного человека есть всегда что-нибудь ошибочное или преступное. Эта слабость, проступок, преступление губят его. А между тем они необходимо лежат в глубине его характера, так что великий человек гибнет от того же самого, в чем источник его величия». Не подвержено никакому сомнению, что часто бывает это на самом деле: бесконечные войны возвысили Наполеона; они же и низвергли его; почти тоже было и с Людовиком XIV. Но не всегда бывает так. Часто великий человек погибает без всякой вины с своей стороны. Так погиб Генрих IV, и с ним вместе пал Сюлли. До некоторой степени это безвинное падение находим и в трагедиях, несмотря на то, что авторы их бывали связаны своими понятиями: неужели Дездемона была в самом деле причиною своей гибели? Всякий видит, что одни гнусные хитрости Яго погубили ее. Неужели Ромео и Джульетта сами были причиною своей гибели? Конечно, если мы захотим непременно в каждом погибающем видеть преступника, то можем обвинять всех: Дездемона виновата тем, что была невинна душою и, следовательно, не могла предвидеть клеветы; Ромео и Джульетта виноваты тем, что любят друг друга. Мысль видеть в каждом погибающем виноватого – мысль натянутая и жестокая. Связь ее с идеею греческой судьбы и различными ее видоизменениями очень ясна. Здесь можно указать на одну сторону этой связи: по греческим понятиям о судьбе, в гибели своей бывает всегда виноват сам человек; если бы он поступил иначе, его не постигла бы гибель.

Другой род трагического – трагическое нравственного столкновения – эстетика выводит из той же мысли, только взятой наоборот: в трагическом простой вины основанием трагической судьбы считают мнимую истину, что каждое бедствие, и особенно величайшее из бедствий – гибель, есть следствие преступления; в

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe трагическом нравственного столкновения [основываются эстетики гегелевской школы на] мысли, что за преступлением всегда следует наказание преступника или погибелью или мучениями его собственной совести. И эта мысль явным образом ведет свое начало от предания о фуриях, бичующих преступника. Само собою разумеется, что в ней под преступлениями понимаются не в частности уголовные преступления, которые всегда наказываются государственными законами, а вообще нравственные преступления, которые могут быть наказаны только или стечением обстоятельств, или общественным мнением, или совестью самого преступника.

Что касается до наказания посредством стечения обстоятельств, то мы уже давно подсмеиваемся над старинными романами, в которых «всегда под конец торжествовала добродетель и наказывался порок». Правда, мы могли бы не забывать при этом, что и в наше время пишутся подобные романы (в пример укажем на большую часть диккенсовых). Но мы во всяком случае начинаем понимать, что земля не место суда, а место жизни. Однако романистам и эстетикам все-таки непременно хочется, чтобы порок и преступление наказывались на земле. И вот явилась теория, утверждающая, что они всегда наказываются общественным мнением и угрызениями совести. Но и это бывает не всегда. Что касается до общественного мнения, то оно преследует далеко не все нравственные преступления. А если голос общества не пробуждает ежеминутно нашей совести, то в самой большей части случаев она и не проснется в нас, или, проснувшись, очень скоро заснет. Всякий образованный человек понимает, как смешно смотреть на мир теми глазами, какими смотрели греки геродотовских времен; всякий ныне очень хорошо понимает, что в страдании и погибели великих людей нет ничего необходимого; что не всякий гибнущий человек гибнет за свои преступления, что не всякий преступник погибает; что не всякое преступление наказывается судом общественного мнения, и проч. Потому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждает в нас идею необходимости и что вовсе не в идее необходимости основание действия его на человека и сущность его. В чем же сущность трагического?

Трагическое есть страдание или погибель человека – этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой погибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость – причина страдания и погибели человека, – все равно, страдание и погибель ужасны. Нам говорят: «чисто случайная погибель – нелепость в трагедии», – в трагедиях, писанных авторами, может быть; в действительной жизни – нет. В поэзии автор считает необходимою обязанностью «выводить развязку из самой завязки»; в жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь может быть совершенно случайною, не переставая быть трагическою. Мы согласны, что трагична участь Макбета и леди Макбет, необходимо вытекающая из их положения и дел. Но неужели не трагична участь Густава-Адольфа, который погиб совершенно случайно в битве под Люценом, на пути торжества и побед? Определение:

Трагическое есть ужасное в человеческой жизни,

кажется, будет совершенно полным определением трагического в жизни и в искусстве. Правда, что большая часть произведений искусства дает право прибавить: «ужасное, постигающее человека, более или менее неизбежно»; но, во-первых, сомнительно, до какой степени справедливо поступает искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбежным, когда в самой действительности оно бывает большею частью вовсе не неизбежно, а чисто случайно; во-вторых, кажется, что очень часто только по привычке доискиваться во всяком великом произведении искусства «необходимого сцепления обстоятельств», «необходимого развития действия из сущности самого действия» мы находим, с грехом пополам, «необходимость в ходе событий» и там, где ее вовсе нет, например, в большей части трагедий Шекспира.

С господствующим определением комического – «комическое есть перевес образа над идеею», иначе сказать: внутренняя пустота и ничтожность, прикрываемая внешностью, имеющею притязание на содержание и реальное значение, – нельзя не согласиться; но вместе с тем надобно сказать, что [Фишер, автор наилучшей эстетики в Германии, слишком ограничил] понятие комического, противопоставляя его, для сохранения [гегелевского] диалектического метода развития понятий, только понятию возвышенного. Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному. Возвышенное, по изложению самого Фишера, может быть безобразным; каким же образом комическое

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
безобразное противоположно возвышенному, когда они различны между собой не
сущностью, а степенью, не качеством, а количеством, когда безобразное мелочное
принадлежит к комическому, безобразное огромное или страшное принадлежит к
возвышенному? – что безобразное противоположно прекрасному, ясно само по себе.

Окончив разбор понятий о сущности прекрасного и возвышенного, должно теперь
перейти к разбору господствующих взглядов на различные способы осуществления
идеи прекрасного.

Здесь-то, кажется, сильнее всего выказывается важность основных понятий, анализ
которых занял так много страниц в этом очерке: отступление от господствующего
взгляда на сущность того, что служит главнейшим содержанием искусства,
необходимо ведет к изменению понятий и о самой сущности искусства.
Господствующая ныне система эстетики совершенно справедливо различает три формы
существования прекрасного, под которым понимаются в ней, как его видоизменения,
также возвышенное и комическое. (Мы будем говорить только о прекрасном потому,
что было бы утомительно повторять три раза одно и то же: все, что говорится в
господствующей ныне эстетике о прекрасном, совершенно прилагается в ней к его
видоизменениям; точно так же наша критика господствующих понятий о различных
формах прекрасного и наши собственные понятия об отношении прекрасного в
искусстве к прекрасному в действительности вполне прилагаются и ко всем
остальным элементам, входящим в содержание искусства, а в числе их к
возвышенному и комическому.)

Три различные формы, в которых существует прекрасное, следующие: прекрасное в
действительности (или в природе) [как выражается гегелевская школа], прекрасное
в фантазии и прекрасное в искусстве (в [действительном бытии], придаваемом ему
творческою фантазиею человека). Первый из основных вопросов, здесь
встречающихся, – вопрос об отношении прекрасного в действительности к
прекрасному в фантазии и в искусстве. [Гегелевская эстетика] решает его так:
прекрасное в объективной действительности имеет недостатки, уничтожающие красоту
его, и наша фантазия поэтому принуждена прекрасное, находимое в объективной
действительности, переделывать для того, чтобы, освободив его от недостатков,
неразлучных с реальным его существованием, сделать его истинно прекрасным. Фишер
полнее и резче других эстетиков входит в анализ недостатков объективного
прекрасного. Поэтому его анализ и должно подвергнуть критике. Для избежания
упрека в том, что преднамеренно смягчил я недостатки, выставляемые на вид
немецкими эстетиками в объективном прекрасном, я должен буквально привести здесь
фишерову критику прекрасного в действительности (Aesthetik, II Theil, Seite 299
und folg.).

«Внутренняя несостоятельность всей объективной формы существования прекрасного
открывается в том, что красота находится в чрезвычайно шатком отношении к целям
исторического движения даже и на том поприще, где она кажется наиболее
обеспеченною (т. е. в человеке: исторические события часто уничтожают много
прекрасного: например, говорит Фишер, реформация уничтожила веселую привольность
и пестрое разнообразие немецкой жизни XIII-XV столетий). Но вообще очевидно, что
предполагаемая в 67; 234 благосклонность случая редко имеет место в
действительности. (§ 234) говорит: для бытия красоты необходимо, чтобы при
осуществлении прекрасного не было вмешательства вредных случайностей (der
störende Zufall). Сущность случайности состоит в том, что она может быть и не
быть, или быть иначе; следственно, вредная случайность может иногда и не быть в
предмете. Потому кажется, что вместе с безобразными индивидуумами должны быть и
истинно прекрасные). Кроме того, именно по самой живости (Lebendigkeit),
составляющей неотъемлемое преимущество прекрасного в действительности, красота
его мимолетна; основание этой мимолетности в том, что прекрасное в
действительности возникает не из стремления к прекрасному; оно возникает и
существует по общему стремлению природы к жизни, при осуществлении которого
появляется только вследствие случайных обстоятельств, а не как что-нибудь
преднамеренное (alles Naturschöne nicht gewollt ist).

...Проблески прекрасного редки в истории; редко вполне прекрасное и в природе
вообще. В известном своем письме Рафаэль, живший в стране красоты, жалуется на
carestia di belle donne; и не часто встречаются в Риме такие модели, какова была
Виттория из Альбано во время Румора. «Последнее создание все выше и выше
стремящейся природы – прекрасный человек. Правда, редко создает она его, потому
что слишком много условий, противодействующих ее идеям» (Гёте). Все живущее
имеет множество врагов. Борьба с ними может быть возвышенною или комическою; но

редки случаи, когда безобразное переходит в комическое или возвышенное. Мы стоим среди жизни и ее бесконечно разнообразных отношений. Потому прекрасное в природе живо; но, находясь среди неисчислимо разнообразных отношений, оно подвергается столкновениям, порче со всех сторон; потому что природа заботится о всей массе предметов, а не об одном отдельном предмете, ей нужно сохранение, а не собственно красота. Если так, то для природы нет потребности поддерживать прекрасным и то немногое прекрасное, которое она случайно производит: жизнь стремится вперед, не заботясь о гибели образа, или сохраняет его только искаженным. «Природа борется из-за жизни и бытия, из-за сохранения и размножения своих произведений, не заботясь о их красоте или безобразии. Форма, от рождения предназначенная быть прекрасною, может случаем повредиться в какой-нибудь части; тотчас же страдают от этого и другие части; потому что природе тогда бывают нужны силы для восстановления поврежденной части, и она отнимает их у других частей, что необходимо вредит их развитию. Существо становится уже не таким, каким должно было быть, а таким, каким может быть» (Гёте, в примеч. к Дидро). Заметно или незаметно, повреждения повторяются и увеличиваются, пока все существо разрушится. Мимолетность, непрочность – скорбная участь всего прекрасного в природе. Не только прекрасное освещение пейзажа, но и цветущая пора органической жизни – одно мгновение. «Говоря строго, можно сказать, что только в продолжение одного мгновения прекрасен прекрасный человек». «Чрезвычайно непродолжителен период времени, в течение которого человеческое тело может назваться прекрасным» (Гёте)... Правда, из увядшей красоты юности развивается высшая красота – красота характера, которую воззрение замечает в чертах физиогномии и в поступках. Но и эта красота мимолетна; потому что характер заботится о нравственных целях, а не о красоте фигуры и движений при их достижении. В одно время личность бывает исполнена сознанием своей нравственной цели, является так, как есть, прекрасною в глубочайшем смысле слова; но в другое время человек занят бывает чем-нибудь имеющим только посредственную связь с целью жизни его, и при этом истинное содержание характера не проявляется в выражении лица; иногда человек бывает занят делом, возлагаемым на него только житейскою или жизненною необходимостью, и при этом всякое высшее выражение погребено под равнодушием или скукою, неохотою. Так бывает и во всех сферах природы, принадлежат ли они или нет к нравственной области... Эта группа сражающихся воинов располагается и движется, как будто бы воспламененная духом Марса; но через минуту она рассыпалась, движения перестали быть прекрасны, лучшие люди лежат ранены или убиты; эти воины не *tableau vivant*, они думают о битве, а не о том, чтоб их битва имела прекрасный вид. Непреднамеренность (*das Nichtgewolltsein*) – сущность всего прекрасного в природе; она лежит в его сущности в такой степени, что на нас чрезвычайно неприятно действует, если мы замечаем в сфере реального прекрасного какой бы то ни было преднамеренный расчет именно на красоту. Красота, сознающая свою красоту и занимающаяся ею, учащаяся перед зеркалом быть прекрасною, суетна, т. е. ничтожна. Аффектация красоты в действительно существующем – совершенная противоположность истинной грации. Случайность, непреднамеренность красоты, ее незнание о самой себе – зерно смерти, но и прелесть прекрасного в действительности; так что в сознательной сфере прекрасное исчезает в ту минуту, как узнает о своей красоте, начинает любоваться на нее. Наивность простого человека погибает, как скоро касается до него цивилизация; народные песни исчезают, когда обращают на них внимание, начинают собирать их; живописный костюм полудиких народов перестает им нравиться, когда они видят кокетливый фрак живописца, пришедшего изучать их; если цивилизация, прельстившись живописным нарядом, хочет сохранить его, он уже обратился в маску, и народ покидает его.

Но благоприятность случая не только редка и мимолетна, – она вообще должна считаться благоприятностью только относительно: вредная, искажающая случайность всегда оказывается в природе не вполне побежденною, если мы отбросим светлую маску, накидываемую отдаленностью места и времени на восприятие (*wahrnehmen*) прекрасного в природе, и строже всмотримся в предмет; искажающая случайность вносит в прекрасную, по-видимому, группировку нескольких предметов много такого, что вредит ее полной красоте; мало того, эта вредящая случайность вторгается и в отдельный предмет, который казался нам сначала вполне прекрасен, и мы видим, что ничто не изъято от ее владычества. Если мы сначала не замечали недостатков, это проистекало из другой благоприятности случая – из счастливого расположения нашего духа, которое делало субъект способным видеть предмет с точки зрения чистой формы. Ближайшим образом такое расположение духа возбуждает в нас самый предмет своею относительно чистотою от искажающего случая.

Надобно только ближе посмотреть на прекрасное в действительности, чтобы

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
убедиться, что оно не истинно прекрасно; тогда будет ясно, что мы до сих пор
только скрывали от себя очевидную истину. Эта истина – необходимая и
повсеместная владычество искажающего случая. Не мы должны доказывать, что оно
простирается решительно на все, а нуждалась бы в доказательствах противоположная
мысль, нуждалось бы в доказательствах мнение, что, при бесконечно разнообразном
и тесном сцеплении всего в мире, какой бы то ни было отдельный предмет может
сохраниться в целостности от всех препятствий, помех, искажающих столкновений. Мы
должны только исследовать, откуда происходит обольщение, говорящее нашим
чувствам, будто бы иные предметы составляют исключение из общего закона
подвластности искажающему случаю; это мы сделаем впоследствии; а теперь покажем
только, что видимые исключения из общего правила действительно составляют
обольщение, призрак (ein Schein). Некоторые прекрасные предметы составляют
соединение многих предметов; в этом случае, всматриваясь внимательнее, мы всегда
найдем, во-первых, что мы видим эти предметы в такой связи, в таком соотношении
только потому, что случайно стали на известное место, случайно смотрим на них с
известной точки зрения. Особенно прилагается это к ландшафтам: их равнины, горы,
деревья ничего не знают друг о друге; им не может вздуматься соединиться в
живописное целое; в стройных очерках и красках мы их видим только потому, что
сами стоим на том, а не на другом месте. Но и с этой благоприятной точки зрения
мы найдем здесь кустарник, там холм, нарушающий гармонию; тут недостаток
возвышения, там – тени; и мы должны будем сознаться, что внутренний глаз
передельвал, дополнял, исправлял ландшафт. То же самое бывает и с движущейся,
действующей группой живых существ. Иногда сцена может быть и в самом деле полна
значения и выражения, но в ней группы, существенно связанные, разделены
пространством, внутренний глаз опять уничтожает его, сближает связанное,
выбрасывает ненужное, лишнее. Другие предметы прекрасны в отдельности. Тогда мы
отказываемся от красоты обстановки, выпускаем обстановку из самого воззрения,
совершаем акт отделения предмета от обстановки, большую часть бессознательно и
безнамеренно; когда красавица входит в общество, наши глаза устремляются
исключительно на нее, мы забываем о других лицах. Но и в том и в другом случае,
в отдельном ли предмете мы находим красоту, или в сгруппировке предметов,
следствие будет одно и то же, если мы строже рассмотрим красоту. На поверхности
прекрасного предмета мы откроем то же, что в прекрасной сгруппировке предметов:
между прекрасными частями найдутся непрекрасные, и найдутся они в каждом
предмете, как бы ни благоприятствовала ему каждая случайность. Хорошо еще, что
наш глаз – не микроскоп, и простое зрение уже идеализирует предметы; иначе грязь
и инфузории в чистой воде, нечистоты на нежнейшей коже разрушали бы для нас
всякую красоту. Мы видим только при известной степени отдаления. А отдаленность
идеализирует уже сама по себе. Она не только скрывает нечистоту поверхности, но
и вообще сглаживает подробности состава тел, приковывающие их к земле, отнимает
пошлую ясность, точность, считающую песчинки, ставящую «каждое лыко в строку». Так
уже самый процесс зрения берет на себя часть труда возведения предмета к
чистой форме. Отдаленность во времени действует так же, как отдаленность в
пространстве: история и воспоминание передают нам не все мелкие подробности о
великом человеке или великом событии; они умалчивают о мелких, второстепенных
мотивах великого явления, о его слабых сторонах; они умалчивают о том, сколько
времени в жизни великих людей было потрачено на одеванье и раздеванье, еду,
питье, насморк и т. п. Но мало того, что через это скрывается от нас мелочное и
мешающее красоте; при внимательном рассмотрении даже в прекраснейшем,
по-видимому, предмете мы ясно замечаем очень много важных и важных недостатков.
Если бы, напр., в человеческой фигуре и не было отпечатлено никаких
искажающих случайностей на поверхности, то в основных формах непременно
замечается нами какое-нибудь нарушение пропорциональности. Это ясно будет, как
только мы взглянем на гипсовую модель, в точности снятую с действительного лица.
Румор в предисловии к своим «Итальянским исследованиям» чрезвычайно перепутал
все относящиеся сюда понятия: он хочет обличить ложность фальшивого идеализма в
искусстве, стремящегося улучшить природу в ее чистых и постоянных формах; он
справедливо говорит против подобного идеализма, что искусство не может
передельвать неизменных форм природы, которые даются ему природою необходимо и
неизменно. Но вопрос в том, находятся ли в действительности в совершенно чистом
развитии основные, ненарушимые для искусства формы природы. Румор отвечает на
это, что «природа не отдельный предмет, представляющийся нам под владычеством
случая, а совокупность всех живых форм, совокупность всего произведенного
природою, или, лучше сказать, сама производящая сила», – ей должен предаться
художник, не довольствуясь отдельными моделями. Это совершенно справедливо. Но
Румор впадает потом в натурализм, который хочет преследовать, как и ложный
идеализм: его положение, что «природа наилучшим образом выражает все своими
формами», становится опасным, когда он прилагает его к отдельному явлению и,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe противоречит тому, что сам сказал выше, утверждает, будто бы в действительности бывает «совершенные модели», как, напр., Виттория из Альбано, которая была «прекраснее всех созданий искусства в Риме, красота которой была недостижима для художников». Мы твердо убеждены, что ни один из художников, бравших ее моделью, не мог перенести в свое произведение всех ее форм в том виде, в каком находил, потому что Виттория была отдельная красавица, а индивидуум не может быть абсолютным; этим дело решается, более мы не хотим и говорить о вопросе, который предлагает Румор. Если даже согласимся, что в Виттории были совершенны все основные формы, то кровь, теплота, процесс жизни с искажающими красоту подробностями, следы которых остаются на коже, – все эти подробности были бы достаточны, чтобы поставить живое существо, о котором говорит Румор, несравненно ниже тех высоких произведений искусства, которые имеют только воображаемую кровь, теплоту, процесс жизни на коже и т. д.

Итак, предмет, принадлежащий к редким явлениям красоты, как показывает ближайшее рассмотрение, не истинно прекрасен, а только ближе других к прекрасному, свободнее от искажающих случайностей».

Прежде нежели подвергнем критике отдельные упреки, делаемые прекрасному в действительности, смело можно сказать, что оно истинно прекрасно и вполне удовлетворяет здорового человека, несмотря на все свои недостатки, как бы ни были они велики. Конечно, праздная фантазия может о всем говорить: «здесь это не так, этого недостает, это лишнее», но такое развитие фантазии, не довольствующейся ничем, надобно признать болезненным явлением. Здоровый человек встречается в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», – мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал все возможные достоинства и был чужд всех недостатков, какие от нечего делать может отыскать в предмете фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. «Совершенство» для меня то, что для меня вполне удовлетворительно в своем роде. А таких явлений видит здоровый человек в действительности очень много. Когда у человека сердце пусто, он может давать волю своему воображению; но как скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная действительность, крылья фантазии связаны. Фантазия вообще овладевает нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабантскими кружевами, о пологе из какой-то невообразимой лионской материи, – но неужели станет мечтать обо всем этом здоровый человек, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? «От добра добра не ищут». Если человеку пришлось жить среди сибирских тундр или в заволжских солончаках, он может мечтать о волшебных садах с невиданными на земле деревьями, у которых коралловые ветви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но, переселившись в какую-нибудь Курскую губернию, получив полную возможность гулять досыта по небогатому, но сноному саду с яблонями, вишнями, грушами, мечтатель наверное забудет не только о садах «Тысячи и одной ночи», но и лимонных рощах Испании. Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства; бедность действительной жизни – источник жизни в фантазии. Но едва делается действительность сколько-нибудь сносною, скучны и бледны кажутся нам пред нею все мечты воображения. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», ложно в том смысле, в каком понимается обыкновенно, в смысле, что «никакая действительность не может удовлетворить их»; напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что может быть в действительности», но и довольно посредственной действительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самом деле, от того, что только говорится. Желания раздражаются мечтательным образом до горячего напряжения только при совершенном отсутствии здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это факт, доказываемый всей историей человечества и испытанный на себе всяким, кто жил и наблюдал себя. Он составляет частный случай общего закона человеческой жизни, что страсти достигают ненормального развития только вследствие ненормального положения предающегося им человека, и только в таком случае, когда естественная и в сущности довольно спокойная потребность, из которой возникает та или другая страсть, слишком долго не находила себе соответственного удовлетворения, спокойного и далеко не титанического. Несомненно то, что организм человека не требует и не может выносить титанических стремлений и удовлетворений; несомненно и то, что в

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
здоровом человеке стремления соразмерны с силами организма. С этой общей точки зрения перейдем на другую, специальную.

Известно, что чувства наши скоро утомляются и пресыщаются, т. е. удовлетворяются. Это справедливо не только относительно низших чувств (осязания, обоняния, вкуса), но также и относительно высших – зрения и слуха. С чувствами зрения и слуха неразрывно соединено эстетическое чувство и не может быть мыслимо без них. Когда у человека от утомления исчезает охота смотреть на прекрасное, не может не исчезать и потребность эстетического наслаждения этим прекрасным. И если человек не может целый месяц ежедневно смотреть, не утомляясь, на картину, хотя бы рафаэлевскую, то нет сомнения, что не одни глаза его, но также и чувство эстетическое пресытилось, удовлетворено на некоторое время. Что достоверно относительно продолжительности наслаждения, то же самое должно сказать и об его интенсивности. При нормальном удовлетворении сила эстетического наслаждения имеет свои пределы. Если она иногда переходит их, это бывает следствием не внутреннего и натурального развития, а особенных обстоятельств, более или менее случайных и ненормальных (напр., мы особенно восторженно восхищаемся прекрасным, когда знаем, что скоро должны будем расстаться с ним, что не будем иметь столько времени наслаждаться им, сколько нам хотелось бы, и т. п.). Одним словом, нет, по-видимому, возможности подвергать сомнению факт, что наше эстетическое чувство, подобно всем другим, имеет свои нормальные границы относительно продолжительности и интенсивности своего напряженного состояния и что в этих двух смыслах нельзя называть его ненасытным или бесконечным.

Точно так же оно имеет границы – и довольно тесные – относительно своей разборчивости, тонкости, требовательности или так называемой жажды совершенства. Мы впоследствии будем иметь случай говорить, как многое, даже вовсе не первоклассное по красоте своей, удовлетворяет эстетическому чувству в действительности. Здесь мы хотим сказать, что и в области искусства разборчивость его в сущности очень снисходительна. За одно какое-нибудь достоинство мы прощаем произведению искусства сотни недостатков; даже не замечаем их, если только они не слишком безобразны. В пример довольно указать на большую часть произведений римской поэзии. Не восхищаться Горацием, Вергилием, Овидием может только тот, у кого недостает эстетического чувства. А сколько в этих поэтах слабых сторон! Собственно говоря, все в них слабо, «роме одного – отделки языка и развития мыслей. Содержания у них или вовсе нет, или оно самое ничтожное; самостоятельности нет; свежести нет; простоты нет; у Вергилия и Горация почти нигде нет даже искренности и увлечения. Но пусть критика указывает нам все эти недостатки – с тем вместе она прибавляет, что форма у этих поэтов доведена до высокого совершенства, и нашему эстетическому чувству довольно этой одной капли хорошего, чтобы удовлетворяться и наслаждаться. А между тем даже и в отделке формы у всех этих поэтов есть значительные недостатки: Овидий и Вергилий почти всегда растянуты; очень часто растянуты и горациевы оды; монотонность во всех трех поэтах чрезвычайно велика; часто неприятным образом бросается в глаза искусственность, натянутость. Нужды нет, все-таки остается в них нечто хорошее, и мы наслаждаемся. Как совершенную противоположность этим поэтам внешней отделки, можно привести в пример народную поэзию. Какова бы ни была первоначальная форма народных песен, но до нас доходят они почти всегда искаженными, переделанными или растерзанными на куски; монотонность их также очень велика; наконец, есть во всех народных песнях механические приемы, проглядывают общие пружины, без помощи которых никогда не развивают они своих тем; но в народной поэзии очень много свежести, простоты, – и этого довольно для нашего эстетического чувства, чтобы восхищаться народною поэзиею.

Одним словом, как и всякое здоровое чувство, как всякая истинная потребность, эстетическое чувство имеет больше стремления удовлетворяться, нежели требовательности в претензиях; оно по своей натуре радуется удовлетворяясь, недовольно отсутствием пищи, потому готово удовлетворяться первым сносным предметом. Малотребовательность эстетического чувства доказывается и тем, что, имея первоклассные произведения, оно вовсе не пренебрегает второклассными. Рафаэлевые картины не заставляют нас находить плохими произведения Грёза; имея Шекспира, мы с наслаждением перечитываем произведения второстепенных, даже третьестепенных поэтов. Эстетическое чувство ищет хорошего, а не фантастически совершенного. Потому, если бы в действительном прекрасном было очень много важных недостатков, мы все-таки удовлетворялись бы им. Но посмотрим ближе, до какой степени справедливы упреки, делаемые прекрасному в действительности, и до какой степени справедливы следствия, из них выводимые.

I. «Прекрасное в природе непреднамеренно; уже по этому одному не может быть оно так хорошо, как прекрасное в искусстве, создаваемое преднамеренно». – Действительно, неодушевленная природа не думает о красоте своих произведений, как дерево не думает о том, чтобы его плоды были вкусны. Но тем >не менее надобно признаться, что наше искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошных плодах тропических земель. Конечно, преднамеренное произведение будет по достоинству выше непреднамеренного, но только тогда, когда силы производителей равны. А силы человека гораздо слабее сил природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа в сравнении с работой природы. И потому в произведениях искусства превосходство со стороны преднамеренности перевешивается, и далеко перевешивается, слабостью их в исполнении. Притом же непреднамеренна красота только в природе бесчувственной, мертвой: птица и животное уже заботятся о своей внешности, беспреестанно охорашиваются, почти все они любят опрятность. В человеке красота редко бывает совершенно непреднамеренною: забота о своей наружности чрезвычайно сильна у всех нас. Разумеется, мы здесь говорим не об изысканных средствах подделывать красоту, а подразумеваем постоянные заботы о внешнем благообразии, которые составляют часть народной гигиены. Но если красота в природе в строгом смысле не может назваться преднамеренною, как и все действование сил природы, то, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы вообще природа не стремилась к произведению прекрасного; напротив, понимая прекрасное, как полноту жизни, мы должны будем признать, что стремление к жизни, проникающее всю природу, есть вместе и стремление к произведению прекрасного. Если мы должны вообще видеть в природе не цели, а только результаты, и потому не можем назвать красоту целью природы, то не можем не назвать ее существенным результатом, к произведению которого напряжены силы природы. Непреднамеренность (das Nkhtgewolltsein), бессознательность этого направления нисколько не мешает его реальности, как бессознательность геометрического стремления в пчеле, бессознательность стремления к симметрии в растительной силе нисколько не мешает правильности шестигранного строения ячеек сота, симметрии двух половин листа.

II. «От непреднамеренности красоты в природе происходит то, что прекрасное редко встречается в действительности». Но, если бы и действительно было так, его малочисленность была бы прискорбна только для нашего эстетического чувства, нисколько не уменьшая красоты этого малочисленного ряда явлений и предметов. Алмазы, величиною в голубиное яйцо, попадают очень редко; любители брильянтов могут справедливо жалеть о том, и все-таки они соглашаются, что эти очень редкие алмазы прекрасны. Но жалобы на редкость прекрасного в действительности не совершенно справедливы; несомненно по крайней мере, что прекрасного в действительности вовсе не так мало, как утверждают немецкие эстетики. Прекрасных и величественных пейзажей очень много; есть страны, в которых они попадают на каждом шагу, например, чтобы не говорить о Швейцарии, Альпах, Италии, укажем на Финляндию, Крым, берега Днепра, даже берега Волги. Величественное в жизни человека встречается не беспреестанно; но сомнительно, согласился ли бы сам человек, чтобы оно было чаще: великие минуты жизни слишком дорого обходятся человеку, слишком истощают его; а кто имеет потребность искать и силу выносить их влияние на душу, тот может найти случаи к возвышенным ощущениям на каждом шагу: путь доблести, самоотвержения и высокой борьбы с низким и вредным, с бедствиями и пороками людей не закрыт никому и никогда. И были всегда, везде тысячи людей, вся жизнь которых была непрерывным рядом возвышенных чувств и дел. То же самое должно оказать и об увлекательно-прекрасных минутах в жизни человека. Вообще человеку нельзя жаловаться на их редкость, потому что от самого человека зависит, до какой степени жизнь его наполнена прекрасным и великим.

Жизнь так широка и многостороння, что в ней человек почти всегда найдет досыта всего, искать чего чувствует сильную и истинную потребность. Пуста и бесцветна бывает жизнь только у бесцветных людей, которые толкуют о чувствах и потребностях, на самом деле не будучи способны иметь никаких особенных чувств и потребностей, кроме потребности рисоваться. Это потому, что дух, направление, колорит жизни человека придаются ей характером самого человека: от человека не зависят события жизни, но дух этих событий зависит от его характера. «На ловца и зверь бежит». В заключение было бы надобно объяснить насчет того, что специально называется красотою, рассмотреть вопрос о том, до какой степени редкое явление женская красота. Но, быть может, это не совсем уместно в нашем отвлеченном трактате; ограничимся только замечанием, что почти всякая женщина в цвете молодости кажется большинству красавицею, – потому говорить здесь было бы можно разве о неразборчивости эстетического чувства большинства людей, а не о том, что красота редкое явление. Людей прекрасных лицом нисколько не меньше,

Как же объяснить жалобу Рафаэля на недостаток красавиц в Италии, классической стране красоты? Очень просто: он искал наилучшей красавицы, а наилучшая красавица, конечно, одна в целом свете, – и где же отыскать ее? Первостепенного в своем роде всегда очень мало, по очень простой причине: если его соберется много, то мы опять разделим его на классы и будем называть первостепенным то, чего найдется всего два-три индивидуума; все остальное назовем второстепенным. И вообще надобно сказать, что мысль, будто бы «прекрасное редко встречается в действительности», основана на смешении понятий «вполне» и «первое»: вполне величественных рек очень много, первая из величественных рек, конечно, одна; великих полководцев много, первым полководцем в мире был кто-нибудь один из них. Обыкновенно думают: если есть или может быть предмет X выше находящегося у меня под глазами предмета A, то предмет A низок; но так только думают, не так чувствуют в самом деле, и, находя Миссисипи величественнее Волги, мы продолжаем, однако, считать и Волгу величественной рекою. Обыкновенно говорится, что если один предмет больше другого, то превосходство первого над вторым есть недостаток другого: вовсе нет; в действительности недостаток есть нечто положительное, а не нечто вытекающее из превосходства других предметов. Река, имеющая один фут глубины в некоторых местах, не потому считается мелкою, что есть реки гораздо глубже ее; она мелка без всяких сравнений, сама по себе, мелка потому, что неудобна для судоходства; канал, имеющий тридцать футов глубины, не мелок в действительной жизни, потому что совершенно удобен для судоходства; никому не приходит и в голову называть его мелким, хотя всякому известно, что Па-де-Кале далеко превосходит его своею глубиною. Отвлеченное математическое сравнение не есть взгляд действительной жизни. Потому, находя предмет X прекраснее A, мы в действительной жизни нисколько не перестаем находить прекрасным предмет A. Положим, что «Отелло» выше «Макбета» или «Макбет» выше «Отелло», – несмотря на превосходство одной из этих трагедий над другой, они обе остаются прекрасными. Достоинства «Отелло» не могут быть вменяемы в недостатки «Макбету», и наоборот. Так мы смотрим на произведения искусства. Если смотреть так же и на прекрасные явления действительности, то очень часто мы должны будем сознаться, что красота одного явления безукоризненна, хотя красота другого еще выше. И в самом деле, разве кто-нибудь называет итальянскую природу не прекрасною, хотя природа Антильских островов или Ост-Индии гораздо богаче? А только с подобной точки зрения, не находящей себе подтверждения в действительных чувствах и суждениях человека, и может эстетика утверждать, будто бы в мире действительности красота есть явление редкое.

III. «Красота прекрасного в действительности мимолетна». – Согласимся; но разве от этого она менее прекрасна? и притом это не всегда справедливо: цветок действительно увядает скоро, но человек долго остается прекрасным; можно даже сказать, что человеческая красота продолжается именно столько, сколько надобно человеку, ею наслаждающемуся. Не совсем, быть может, соответствовало бы характеру нашего отвлеченного трактата вдаваться в подробное доказательство этого положения; поэтому скажем только, что красота каждого поколения существует и должна существовать для этого самого поколения; и нисколько не нарушает гармонии, нисколько не противно эстетическим потребностям этого поколения, если красота его увядает вместе с ним, – у последующих будет своя, новая красота, и жаловаться тут некому и не на что. Быть может, неуместно было бы здесь также вдаваться в подробные доказательства того, что желание «не стареть» – фантастическое желание, что на самом деле пожилой человек и хочет быть пожилым человеком, если только его жизнь прошла нормальным образом и если он не принадлежит к числу людей поверхностных. Но это ясно и без подробных доказательств. Все мы «с сожалением» вспоминаем о детстве, говорим иногда, что «хотели бы снова перенестись в то счастливое время»; но едва ли кто-нибудь согласился бы на самом деле превратиться в ребенка. То же самое должно сказать и относительно сожалений о том, что «прошла красота нашей юности», – эти слова не имеют реального значения, если юность прошла сколько-нибудь удовлетворительным образом. Пережитое было бы скучно переживать вновь, как скучно слушать во второй раз анекдот, хотя бы он казался чрезвычайно интересен в первый раз. Надобно различать действительные желания от фантастических, мнимых желаний, которые вовсе и не хотят быть удовлетворенными; таково мнимое желание, чтобы красота в действительности не увядала. «Жизнь стремится вперед и уносит красоту действительности в своем течении», говорят [Гегель и Фишер] – правда, но вместе с жизнью стремятся вперед, т. е. изменяются в своем содержании, наши желания, и, следовательно, фантастичны сожаления о том, что прекрасное явление исчезает, – оно исчезает, исполнив свое дело, доставив нше столько эстетического

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
наслаждения, сколько мог вместить нынешний день; завтра будет новый день, с
новыми потребностями, и только новое прекрасное может удовлетворить их. Если бы
красота в действительности была неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того
требуют эстетики, она бы надоела, опротивела бы нам. Живой человек не любит
неподвижного в жизни; потому никогда не наглядится он на живую красоту, и очень
скоро пресыщает его tableau vivant, которую предпочитают живым сценам
исключительные поклонники искусства, [презирающие действительность]. Но, по их
мнению, красота должна быть однообразна в своей вечности, не только вечно;
потому против прекрасного в действительности является новое обвинение.

IV. «Прекрасное в действительности непостоянно в своей красоте», – но на это
надобно отвечать тем же самым вопросом, как и прежде: разве это мешает ему быть
прекрасным по временам? Разве пейзаж менее прекрасен поутру оттого, что красота
его померкнет на время с закатом солнца? И опять надобно сказать, что большею
частью этот упрек несправедлив; положим, что есть пейзажи, красота которых
пропадает с пурпурным озарением утренней зари; но большая часть прекрасных
пейзажей прекрасны при всяком освещении; и надобно прибавить, что незавидна
красота того пейзажа, который хорош только в данную минуту, а не во все время,
пока существует. «Иногда физиогномия выражает всю полноту жизни, иногда она не
выражает ничего», – нет; справедливо то, что иногда физиогномия бывает
чрезвычайно выразительна, иногда она гораздо менее выразительна; но чрезвычайно
редки минуты, когда физиогномия человека, светящаяся умом или добротой, бывает
лишена выражения: умное лицо и во время сна сохраняет выражение ума, доброе лицо
сохраняет и во сне выражение доброты, а беглое разнообразие выражения в лице
выразительном придает ему новую красоту. Точно так же разнообразие поз придает
новую красоту живому существу. Очень часто бывает и то, что исчезновение
прекрасной позы одно только и спасает ее драгоценность для нас: «группа
сражающихся воинов прекрасна; но чрез несколько минут она уже расстроилась», – а
что было б, если б она не расстроилась, если бы схватка атлетов продолжалась
целые сутки? Нам наскучило бы смотреть, и мы отвернулись бы, как это, впрочем,
бывает часто в действительности. Чем обыкновенно кончается эстетическое
впечатление, под влиянием которого держит нас полчаса или час неподвижная,
«вечно прекрасная», «вечно неизменная в красоте своей» картина? – Тем, что мы
уходим сами, не дождавись, пока нас «оторвет от наслаждения» мрак вечера.

V. «Прекрасное в действительности прекрасно только потому, что мы смотрим на
него с такой точки зрения, с которой оно кажется прекрасным». – Напротив,
гораздо чаще случается, что прекрасное прекрасно со всех точек зрения; так,
напр., прекрасный пейзаж бывает большею частью хорош, откуда бы ни смотрели мы
на него. – Конечно, он бывает в высшей степени хорош только с одной точки зрения
– но что же из этого! и на произведения живописи надобно смотреть с известного
места, для того, чтобы они представлялись нам во всей своей красоте. Это
следствие законов перспективы, которые одинаково должны быть соблюдаемы при
наслаждении прекрасным в действительности и прекрасным в искусстве.

Вообще надобно, кажется, сказать, что все рассмотренные упреки прекрасному в
действительности преувеличены, а некоторые совершенно несправедливы; что нет из
них ни одного, который прилагался бы ко всем родам прекрасного. Но нами не
рассмотрены еще главнейшие, существеннейшие недостатки, открываемые
господствующими эстетическими воззрениями в прекрасном действительного мира. До
сих пор упреки были обращены на то, что прекрасное в действительности
неудовлетворительно для человека; теперь следуют прямые доказательства, что
прекрасное в действительности, собственно говоря, не может и назваться
прекрасным. Доказательств этих три. Пересмотрим их, начиная с менее сильного и
менее общего.

VI. «Прекрасное в действительности или группа предметов (пейзаж, группа людей),
или один предмет в отдельности. Вредная случайность всегда портит в
действительности группу, кажущуюся прекрасною, внося в нее посторонние, ненужные
предметы, мешающие красоте и единству целого; она портит и кажущийся прекрасным
отдельный предмет, портя некоторые его части; внимательное рассмотрение покажет
нам всегда, что некоторые части действительного предмета, представляющегося
прекрасным, вовсе не прекрасны». – Здесь мы опять встречаемся с мыслью, что
красота есть совершенство. Но эта мысль только частное приложение общей мысли,
что человек удовлетворяется вообще только математически совершенным; нет,
практическая жизнь человека убеждает нас, что он ищет только приблизительного
совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенством.
Человек ищет только хорошего, а не совершенного. Совершенства требует только

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными
вычислениями. Искать совершенства в какой бы то ни было сфере жизни – дело
отвлеченной, болезненной или праздной фантазии. Мы хотим дышать чистым воздухом;
но замечаем ли мы, что абсолютно чист воздух не бывает нигде и никогда? Мы хотим
пить чистую воду, но не абсолютно чистую воду: совершенно чистая
(дистиллированная) вода даже неприятна для вкуса. Эти примеры слишком
материальные. Приведем другие: разве кому приходила мысль называть неученым
человека, которому не все известно? Нет, мы и не ищем человека, которому было бы
известно все; мы требуем от ученого только того, чтобы ему было известно все
существенное и чтобы ему было известно очень многое. Разве мы недовольны, напр.,
исторической книгой, в которой не все решительно вопросы объяснены, не все
решительно подробности приведены, не все до одного взгляды и слова автора
абсолютно справедливы? Нет, мы довольны, и чрезвычайно довольны, книгой, когда в
ней разрешены главные вопросы, приведены самонужнейшие подробности, когда
главные мнения автора справедливы, и в книге его очень мало неверных или
неудачных объяснений. (Ниже мы увидим, что в сфере искусства мы также
довольствуемся приблизительным совершенством). После этих указаний можно
сказать, не боясь сильного противоречия, что и в области прекрасного
действительной жизни мы довольствуемся тем, когда находим очень хорошее, но не
ищем совершенства математического, изъятото от всех мелких недостатков. Неужели
кому-нибудь вздумается говорить, что пейзаж не прекрасен, если на каком-нибудь
месте его растут три куста, а лучше было бы, если б росло два или четыре?
Вероятно, никому еще из людей, любовавшихся морем, не приходило в голову, что
море могло бы быть лучше, нежели оно есть; а если математически строго смотреть
на море, то в нем действительно есть недостатки, и первый недостаток-оно не
плоская, а выпуклая поверхность. Правда, этого недостатка не видно, его
открывает не глаз, а вычисление; можно поэтому прибавить, что смешно и говорить
об этом недостатке, которого невозможно заметить, о котором можно только знать,
но таковы большею частью недостатки прекрасного в действительности: их не видно,
они нечувствительны, они открываются только исследованию, а не воззрению. Не
забудем же, что чувство прекрасного имеет дело с воззрением, а не с наукою: что
нечувствительно, то не существует для эстетического чувства. Но в самом ли деле
недостатки прекрасного в действительности большею частью нечувствительны для
воззрения? В этом убеждает нас опыт. Нет человека, одаренного эстетическим
чувством, которому бы не встречались в действительности тысячи лиц, явлений и
предметов, казавшихся ему безукоризненно прекрасными. Но что же особенно
важного, когда в прекрасном предмете и заметны для воззрения недостатки? Верно,
они слишком неважны, если, несмотря на них, предмет продолжает казаться
прекрасным, – если они важны, предмет будет уродлив, а не прекрасен. А неважное
не стоит того, чтоб и говорить о нем. И действительно, эстетически здоровый
человек не обращает на него внимания. Человеку, не приговоренному специальным
изучением новейшей эстетики, странно будет услышать второе доказательство,
приводимое в подтверждение того, что так называемое прекрасное в
действительности не может быть прекрасно в полном смысле слова.

VII. «Действительный предмет не может быть прекрасен уже потому, что он живой
предмет, в котором совершается действительный процесс жизни со всею своею
грубостью, со всеми своими антиэстетическими подробностями». – Едва ли можно
себе представить высшую степень фантастического идеализма. Как, неужели живое
лицо не прекрасно, а изображенное на портрете или снятое в дагерротип прекрасно?
и почему же? Потому, что на живом лице неизбежно бывают всегда материальные
следы процесса жизни; потому, что если мы посмотрим в микроскоп на живое лицо,
то всегда увидим его, покрытое испариною и т. п. Как, живое дерево не может быть
прекрасным потому, что на нем всегда гнездятся мелкие насекомые, питающиеся его
листьями? Странное мнение, которое даже не требует опровержения: какое же дело
моему эстетическому воззрению до того, чего оно не замечает? может ли
производить какое-нибудь влияние на мое ощущение тот недостаток, которого оно не
чувствует? В опровержение этого мнения не нужно даже приводить истину, что
странно искать таких людей, которые бы не пили, не ели, не имели надобности
умываться и переменять белье. Распространяться о подобных требованиях совершенно
бесполезно. Лучше рассмотрим одну из тех идей, из которых возник столь странный
упрек прекрасному в действительности, идею, составляющую одно из основных
воззрений господствующей эстетики. Вот эта мысль: «Прекрасное есть не самый
предмет, а чистая поверхность, чистая форма (die reine Oberfläche) предмета». Неосновательность этого взгляда прекрасное обнаружится, когда мы пересмотрим
источники, из которых оно произошло. Прекрасное чаще всего мы видим глазами; а
глаза, конечно, видят только оболочку, абрис, наружность предмета, а не
внутреннее его сложение. Из этого легко вывести заключение, что прекрасное есть

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
поверхность предмета, а не самый предмет. Но, во-первых, кроме прекрасного для зрения, есть прекрасное для слуха (пение и музыка), в котором нельзя говорить ни о какой поверхности. Во-вторых, не всегда и глазами видим мы только оболочку предмета: в прозрачных предметах мы видим весь предмет, все его внутреннее сложение; воде и драгоценным камням именно прозрачность и сообщает красоту. Наконец, человеческое тело, лучшая красота на земле, полупрозрачно, и мы в человеке видим не чисто одну только поверхность: сквозь кожу просвечивает тело, и это просвечивание тела придает чрезвычайно много прелести человеческой красоте. В-третьих, странно говорить, что и в совершенно непрозрачных телах мы видим только поверхность, а не самый предмет: воззрение принадлежит не исключительно глазам, известно, что в нем всегда участвует припоминающий и соображающий рассудок; соображение всегда наполняет материей пустую форму, представляющуюся глазу. Человек видит движущийся предмет, хотя орган его глаза сам по себе не видит движения; человек видит отдаленность предмета, хотя сам по себе глаз не видит отдаления; так точно человек видит материальный предмет, хотя глаз его видит только пустую, нематериальную, отвлеченную поверхность предмета. Другое основание для мысли: «прекрасное есть чистая поверхность», состоит в предположении, что эстетическое наслаждение несовместимо с материальным интересом, принимаемым в предмете. Не будем входить в рассмотрение того, каким образом надобно понимать отношение материальной интересности для нас предмета и эстетического наслаждения им, хотя это исследование привело к убеждению, что эстетическое наслаждение отлично от материального интереса или практического взгляда на предмет, но не противоположно ему. Довольно будет указать на свидетельство опыта, что и действительный предмет может казаться прекрасным, не возбуждая материального интереса: какая же своекорыстная мысль пробуждается в нас, когда мы любуемся звездами, морем, лесом (неужели при взгляде на действительный лес я необходимо должен думать, годится ли он мне на постройку или отопление дома?), – какая своекорыстная мысль пробуждается в нас, когда мы заслушиваем шелест листьев, песни соловья? Что касается человека, мы часто любим его без всяких своекорыстных побуждений, несколько не думая о себе; тем скорее может он эстетически нравиться нам, не возбуждая материального (stoffartig) раздумья о наших отношениях к нему. Наконец, ближайшим образом мысль о том, что прекрасное есть чистая форма, вытекает из понятия, что прекрасное есть чистый призрак; а такое понятие – необходимое следствие определения прекрасного как полноты осуществления идеи в отдельном предмете и падает вместе с этим определением.

После длинного ряда упреков прекрасному в действительности, становившихся все общее и сильнее, мы доходим теперь до последней, самой сильной и самой общей причины, почему реальное прекрасное не может быть считаемо действительно прекрасным.

VIII. «Отдельный предмет не может быть прекрасен уже потому, что он не абсолютен; а прекрасное есть абсолютное». – Доказательство действительно неопровержимое [для самой гегелевской школы и многих других философских школ], принимающих мерилom не только теоретической истины, но и деятельных стремлений человека абсолютное. Но эти системы уже распались, уступив место другим, развившимся из них по силе внутреннего диалектического процесса, но понимающим жизнь совершенно иначе. Ограничиваясь этим указанием на философскую несостоятельность воззрения, из которого произошло подведение всех человеческих стремлений под абсолют, станем для нашей критики на другую точку зрения, более близкую к чисто эстетическим понятиям, и скажем, что вообще деятельность человека не стремится к абсолютному и ничего не знает о нем, имея в виду различные, чисто человеческие, цели. В этом совершенно сходны с другими чувствами и деятельностью человека чувство и деятельность эстетические. В действительности мы не встречаем ничего абсолютного; потому не можем сказать по опыту, какое впечатление произвела бы на нас абсолютная красота; но то мы знаем, по крайней мере, из опыта, что *similis similibus gaudet*[2], что поэтому нам, существам индивидуальным, не можем перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности. После этого дальнейшие опровержения излишни. Надобно только прибавить, что мысль об индивидуальности истинной красоты развита тою же системой эстетических воззрений, которая поставляет мерилom прекрасного абсолют. Из мысли о том, что индивидуальность – существеннейший признак прекрасного, само собою вытекает положение, что мерило абсолютного чуждо области прекрасного, – вывод, противоречащий основному воззрению этой системы на прекрасное. Источник подобных противоречий, не всегда избегаемых системой, о которой мы говорим, – смешение в ней гениальных выводов

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe из опыта и столько же гениальных, но страдающих внутреннею несостоятельностью попыток подчинить все их априористическому взгляду, который часто противоречит им.

Теперь просмотрены все упреки, более или менее несправедливо делаемые прекрасному в действительности, и можно приступить к решению вопроса о существенном значении искусства. По господствующим эстетическим понятиям, «искусство имеет своим источником стремление человека освободить прекрасное от недостатков (нами рассмотренных), мешающих прекрасному на степени своего реального существования в действительности быть вполне удовлетворительным для человека. Прекрасное, создаваемое искусством, свободно от недостатков прекрасного в действительности». Посмотрим же, до какой степени на самом деле прекрасное, создаваемое искусством, выше прекрасного в действительности по свободности своей от упреков, взводимых на это последнее; после того нам легко будет решить, верно ли определяется господствующим воззрением происхождение искусства и его отношение к живой действительности.

I. «Прекрасное в природе непреднамеренно». – Прекрасное в искусстве бывает преднамеренно – это правда; но во всех ли случаях и во всех ли подробностях? Не будем говорить о том, часто ли и в какой степени художник и поэт ясно понимают, что именно выразится в их произведении, – бессознательность художнического действия давно уже стала общим местом, о котором все толкуют; быть может, нужнее ныне резко выставлять на вид зависимость красоты произведения от сознательных стремлений художника, нежели распространяться о том, что произведения истинно творческого таланта имеют всегда очень много непреднамеренности, инстинктивности. Как бы то ни было, обе эти точки зрения известны, и бесполезно здесь останавливаться на них. Но, может быть, не излишне сказать, что и преднамеренные стремления художника (особенно поэта) не всегда дают право сказать, чтобы забота о прекрасном была истинным источником его художественных произведений; правда, поэт всегда старается «сделать как можно лучше»; но это еще не значит, чтобы вся его воля и соображения управлялись исключительно или даже преимущественно заботою о художественности или эстетическом достоинстве произведения: как у природы есть много стремлений, находящихся между собою в борьбе и губящих или искажающих своею борьбою красоту, так и в художнике, в поэте есть много стремлений, которые своим влиянием на его стремление к прекрасному искажают красоту его произведения. Сюда, во-первых, принадлежат различные житейские стремления и потребности художника, не позволяющие ему быть только художником и более ничем; во-вторых, его умственные и нравственные взгляды, также не позволяющие ему думать при исполнении исключительно только о красоте; в-третьих, наконец, идея художественного создания является у художника обыкновенно не вследствие одного только стремления создать прекрасное: поэт, достойный своего имени, обыкновенно хочет в своем произведении передать нам свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не исключительно только созданную им красоту. Одним словом, если красота в действительности развивается в борьбе с другими стремлениями природы, то и в искусстве красота развивается также в борьбе с другими стремлениями и потребностями человека, ее создающего; если в действительности эта борьба портит или губит красоту, то едва ли менее шансов, что она испортит или погубит ее в произведении искусства; если в действительности прекрасное развивается под влияниями, ему чуждыми, не допускающими его быть только прекрасным, то и создание художника или поэта развивается множеством различных стремлений, результат которых должен быть таков же. Мы готовы, однако же, согласиться, что преднамеренности больше в прекрасных произведениях искусства, нежели в прекрасных созданиях природы, и что в этом отношении искусство стояло бы выше природы, если б его преднамеренность была свободна от недостатков, от которых свободна природа. Но, выигрывая преднамеренностью с одной стороны, искусство проигрывает тем же самым – с другой; дело в том, что художник, задумывая прекрасное, очень часто задумывает вовсе не прекрасное: мало хотеть прекрасного, надобно уметь постигать его в его истинной красоте, – а как часто художники заблуждаются в своих понятиях о красоте! как часто обманывает их даже художнический инстинкт, не только рефлексивные понятия, большею частью односторонние! Все недостатки индивидуальности неразлучны в искусстве с преднамеренностью.

II. «Прекрасное редко встречается в действительности»; но разве чаще оно встречается в искусстве? Сколько ежедневно бывает истинно трагических или драматических событий! А много ли насчитается истинно прекрасных трагедий или драм? Во всех западных литературах три-четыре десятка, в русской – если не

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
ошибаемся, кроме «Бориса Годунова» и «Сцен из рыцарских времен» – ни одной, которая стояла бы выше посредственности. Сколько романов совершается в действительности! А много ли насчитывается истинно прекрасных романов? Может быть, по несколько десятков в английской и французской литературах и пять-шесть в русской. Что скорее можно встретить: прекрасный пейзаж в природе или в живописи? – Почему же так? Потому, что великих поэтов и художников очень мало, как и вообще мало гениальных людей во всяком роде. Если редко бывает в действительности совершенно благоприятный случай для создания прекрасного или возвышенного, то еще реже благоприятный случай рождения и беспрепятственного развития великого гения, потому что здесь нужно стечение гораздо большего числа благоприятных условий. Этот упрек против действительности еще с большею силою падает на искусство.

III. «Прекрасное в природе мимолетно»; – в искусстве оно часто бывает вечно, это правда; но не всегда, потому что и произведение искусства подвержено гибели и порче от случая. Греческие лирики погибли для нас; погибли картины Апеллеса и статуи Лизиппа. Но, не останавливаясь на этом, перейдем к другим причинам невечности очень многих произведений искусства, от которых свободно прекрасное в природе, – это мода и обветшание материала. Природа не стареет, вместо увядших произведений своих она рождает новые; искусство лишено этой вечной способности воспроизведения, возобновления, а между тем время не без следа проходит и над его созданиями. В произведениях поэзии скоро стареет язык, и мы по этой причине не можем наслаждаться Шекспиром, Данте, Вольфрамом так свободно, как наслаждались их современники. Еще гораздо важнее то, что с течением времени многое в произведениях поэзии делается непонятным для нас (мысли и обороты, заимствованные от современных обстоятельств, намеки на события и лица); многое становится бесцветно и безвкусно; ученые комментарии не могут сделать для потомков всего столь же ясным и живым, как все было ясно для современников; притом ученые комментарии и эстетическое наслаждение – противоположные вещи; не говорим уже, что через них произведение поэзии перестает быть общедоступным. Еще важнее то, что развитие цивилизации, изменение понятий иногда совлекает всю красоту с произведения поэзии, иногда превращает его даже в нечто неприятное или отвратительное. Примеров не хотим указывать кроме эклог Виргилия, скромнейшего из римских поэтов.

От поэзии переходим к другим искусствам. Произведения музыки погибают вместе с теми инструментами, для которых были писаны. Вся древняя музыка погибла для нас. Красота старых музыкальных произведений бледнеет с усовершенствованием оркестровки. Краски в живописи очень скоро линяют и чернеют; картины XVI–XVII века уже давно потеряли свою первобытную красоту. Как ни сильно влияние всех этих обстоятельств, не в них, однако же, главная причина мимолетности произведений искусства – она заключается во влиянии на них вкуса эпохи, почти всегда влиянии модного настроения, одностороннего и очень часто фальшивого. мода сделала половину каждой драмы Шекспира негодною для эстетического наслаждения в наше время; мода, отразившаяся на трагедиях Расина и Корнеля, заставляет нас не столько наслаждаться ими, сколько подсмеиваться над ними. Ни в живописи, ни в музыке, ни в архитектуре не найдется почти ни одного произведения, созданного за 100 или 150 лет, которое не казалось бы ныне или вялым, или смешным, несмотря на всю силу гения, отпечатленную на нем. И современное искусство через пятьдесят лет будет часто вызывать улыбку.

IV. «Прекрасное в действительности непостоянно в своей красоте». – Это правда; но прекрасное в искусстве мертвенно-неподвижно в своей красоте, это гораздо хуже. На живое лицо можно смотреть по несколько часов; картина надоедает через четверть часа, и редки примеры дилетантов, которые устояли бы час пред картиною. Произведения поэзии живее, нежели произведения живописи, архитектуры и ваяния; но и они пресыщают нас довольно скоро: конечно, не найдется человека, который был бы в состоянии перечитать роман пять раз сряду; между тем жизнь, живые лица и действительные события увлекательны своим разнообразием.

V. «Красота в природу вносится только тем, что мы смотрим на нее с той, а не с другой точки зрения», – мысль, почти никогда не бывающая справедливою; но к произведениям искусства она почти всегда прилагается. Все произведения искусства не нашей эпохи и не нашей цивилизации непременно требуют, чтобы мы перенеслись в ту эпоху, в ту цивилизацию, которая создала их; иначе они покажутся нам непонятными, странными, но не прекрасными. Если мы не перенесемся в древнюю Грецию, песни Сафо и Анакреона покажутся нам выражением антиэстетического наслаждения, чем-то похожим на те произведения нашего времени, которых стыдится

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
печать; если мы не перенесем мысль в патриархальное общество, песни Гомера
будут оскорблять нас цинизмом, грубым обжорством, отсутствием нравственного
чувства. Но греческий мир слишком далек от нас; возьмем ближайшую эпоху. Сколько
у Шекспира, у итальянских живописцев такого, что понимается и ценится только
тогда, когда мы перенесем в прошедшее с его понятиями о вещах! Представим
пример еще ближе к нашему времени: «Фауст» Гёте покажется страстным
произведением человеку, не способному перенестись в ту эпоху стремлений и
сомнений, выражением которой служит «Фауст».

VI. «Прекрасное в действительности включает в себе много непрекрасных частей
или подробностей». – А в искусстве разве не то же самое, только в гораздо
большей степени? Укажите произведение искусства, в котором нельзя было бы найти
недостатков. Романы Вальтер Скотта слишком растянуты, романы Диккенса почти
постоянно приторно-сентиментальны и очень часто растянуты; романы Теккерея
иногда (или, лучше сказать, очень часто) надоедают своею постоянною претензией
на иронически злое простодушие. Но гении новейшие редко являются путеводителями
в эстетике; она преимущественно любит Гомера, греческих трагиков и Шекспира.
Гомеровы поэмы бессвязны; Эсхил и Софокл слишком суровы и сухи, у Эсхила, кроме
того, недостает драматизма; Эврипид плаксив; Шекспир риторичен и напыщен,
художественное построение драм его было бы вполне хорошо, если б их несколько
переделать, как и предлагает Гёте. Перейдем к живописи, и должны будем
признаться в том же самом: против одного Рафаэля редко возвышают голос, во всех
остальных живописцах давно открыто множество слабых сторон. Но самого Рафаэля
упрекают в незнании анатомии. О музыке нечего и говорить: Бетховен слишком
непонятен и часто дик; у Моцарта слаба оркестровка; у новых композиторов слишком
много шума и трескотни. Безукоризненная опера, по мнению знатоков, одна –
«Дон-Жуан»; не знатоки находят его скучным. Если совершенства нет в природе и в
живом человеке, то еще меньше можно найти его в искусстве и в делах человека; «в
следствии не может быть того, чего нет в причине», в человеке. Широкое,
беспредельное поле открывается тому, кто захочет доказывать слабость всех вообще
произведений искусства. Само собою разумеется, что подобное предприятие могло бы
свидетельствовать о едкости ума, но не о беспристрастии; достоин сожаления
человек, не преклоняющийся пред великими произведениями искусства; но
простительно, когда к тому принуждают преувеличенные похвалы, напоминать, что
если на солнце есть пятна, то в «земных делах» человека их не может не быть.

VII. «Живой предмет не может быть прекрасен уже и потому, что в нем совершается
тяжелый, грубый процесс жизни». – Произведение искусства – мертвый предмет;
поэтому кажется, что оно должно быть изъято от этого упрека. И, однако же, такое
заключение поверхностно. Факты противоречат ему. Произведение искусства –
создание жизненного процесса, создание живого человека, который произвел дело не
без тяжелой борьбы, и на произведении отражается тяжелый, грубый след борьбы
производства. Разве много таких поэтов и художников, которые работают шутя, как
шутя, без поправок, писал, говорят, свои драмы Шекспир? А если произведение
создано не без тяжелого труда, на нем будут «пятна масляной лампы», при свете
которой работал художник. Тяжеловатость можно найти во всех почти произведениях
искусства, как бы легки ни казались они с первого взгляда. А если они в самом
деле созданы без большого, тяжелого труда, то они будут страдать грубостью
отделки. Итак, одно из двух: или грубость, или тяжелая отделка – вот Сцилла и
Харибда для произведений искусства.

Я не хочу сказать, что все недостатки, выставляемые этим анализом, всегда до
грубости резко отпечатываются на произведениях искусства. Я хочу только
показать, что щепетильной критики, которую направляют на прекрасное в
действительности, никак не может выдержать прекрасное, создаваемое искусством.

Из обзора, нами сделанного, видно, что если б искусство вытекало от недовольства
нашего духа недостатками прекрасного в живой действительности и от стремления
создать нечто лучшее, то вся эстетическая деятельность человека оказалась бы
напрасна, бесплодна, и человек скоро отчаялся бы от нее, видя, что искусство не
удовлетворяет его намерениям. Вообще говоря, произведения искусства страдают
всеми недостатками, какие могут быть найдены в прекрасном живой
действительности; но если искусство вообще не имеет никаких прав на предпочтение
природе и жизни, то, быть может, некоторые искусства в частности обладают
какими-нибудь особенными преимуществами, ставящими их произведения выше
соответствующих явлений живой действительности? быть может даже, то или другое
искусство производит нечто, не имеющее себе соответствия в реальном мире? Эти
вопросы еще не решаются нашею общею критикою, и мы должны проследить частные

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
случаи, чтобы видеть, каково отношение прекрасного в определенных искусствах к
прекрасному в действительности, производимому природою независимо от стремления
человека к прекрасному. Только этот обзор даст нам положительный ответ на то,
может ли происхождение искусства быть объясняемо неудовлетворительностью живой
действительности в эстетическом отношении.

Ряд искусств начинают обыкновенно с архитектуры, из всех многообразных
деятельностей человека для осуществления более или менее практических целей,
уступая одной строительной деятельности право возвышаться до искусства. Но
несправедливо так ограничивать поле искусства, если под «произведениями
искусства» понимаются «предметы, производимые человеком под преобладающим
влиянием его стремления к прекрасному» – есть такая степень развития
эстетического чувства в народе, или, вернее оказать, в кругу высшего общества,
когда под преобладающим влиянием этого стремления замышляются и исполняются
почти все предметы человеческой производительности: вещи, нужные для удобства
домашней жизни (мебель, посуда, убранство дома), платье, сады и т. п. Этруссские
вазы и галантерейные вещи древних всеми признаны за «произведения искусства»; их
относят к отделу «скульптуры», конечно, не совсем справедливо; но неужели к
архитектуре должны мы будем причислять мебельное искусство? К какому отделу
отнесены будут нами цветники и сады, в которых первоначальное назначение –
служить местом прогулки или отдыха – совершенно подчиняется назначению быть
предметами эстетического наслаждения? В некоторых эстетиках садоводство
называется отраслью архитектуры, но это явная натяжка. Называя искусством всякую
деятельность, производящую предметы под преобладающим влиянием эстетического
чувства, должно будет значительно расширить круг искусств; потому что нельзя не
признать существенного тождества архитектуры, мебельного и модного искусства,
садоводства, лепного искусства и т. д. Нам скажут: «архитектура создает новое,
не существовавшее в природе, она совершенно переделывает свой материал; другие
отрасли человеческой производительности оставляют свой материал в его
первобытной форме», – нет, есть много отраслей человеческой деятельности, не
уступающих архитектуре и в этом отношении. В пример представим цветоводство:
полевые цветы нисколько не похожи на роскошные махровые цветы, обязанные своим
происхождением цветоводству. Что общего между диким лесом и искусственным садом
или парком? Как архитектура обтесывает камни, так садоводство очищает,
выпрямляет деревья, придает каждому дереву совершенно не тот вид, какой имеет
оно в девственном лесу; как архитектура соединяет камни в правильные группы, так
садоводство соединяет в парке деревья в правильные группы. Одним словом,
цветоводство или садоводство переделывают, обрабатывают «грубый материал» не
менее, нежели архитектура. То же самое надобно сказать и о промышленности,
создающей под преобладающим влиянием стремления к прекрасному, например, ткани,
которым природа не представляет ничего подобного и в которых первоначальный
материал еще менее остался неизменным, нежели камень в архитектуре. «Но
архитектура как искусство гораздо более, нежели другие отрасли практической
деятельности, подчиняется исключительно требованиям эстетического чувства,
совершенно отказываясь от стремления удовлетворять житейским целям». Но какой
житейской цели удовлетворяют цветы, искусственные парки? И разве Парфенон или
Альгамбра не имели практического назначения? Гораздо в меньшей степени, нежели
архитектура, подчиняются практическим соображениям садоводство, мебельное,
ювелирное и модное искусство, которым, однако же, не посвящается особой главы
в курсах эстетики. Мы видим причину того, что из всех практических деятельностей
одна строительная обыкновенно удостаивается имени изящного искусства не в
существо ее, а в том, что другие отрасли деятельности, возвышающиеся до степени
искусства, забываются по «маловажности» своих произведений, между тем как
произведения архитектуры – не могут быть упущены из виду по своей важности,
дороговизне и, наконец, просто по своей массивности, прежде всего и больше всего
остального, производимого человеком, бросающ в глаза. Все отрасли
промышленности, все ремесла, имеющие целью удовлетворять «вкусу» или
эстетическому чувству, мы признаем «искусствами» в такой же степени, как
архитектуру, когда их произведения замышляются и исполняются под преобладающим
влиянием стремления к прекрасному и когда другие цели (которые всегда имеет и
архитектура) подчиняются этой главной цели. Совершенно другой вопрос о том, до
какой степени достойны уважения произведения практической деятельности,
задуманные и исполненные под преобладающим стремлением произвести не столько
что-нибудь действительно нужное или полезное, сколько произвести что-нибудь
прекрасное. Как решить этот вопрос, не входит в сферу нашего рассуждения; но как
решен будет он, точно так же должен быть решен вопрос и о степени уважения,
которой заслуживают создания архитектуры в значении чистого искусства, а не
практической деятельности. Какими глазами смотрит мыслитель на кашмирскую шаль,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
стоящую 10 000 франков, на столовые часы, стоящие 10 000 франков, такими же глазами должен смотреть он и на изящный киоск, стоящий 10 000 франков. Быть может, он скажет, что все эти вещи – произведения не столько искусства, сколько роскоши; быть может, он скажет, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннейший характер прекрасного – простота. Каково же отношение этих произведений фривольного искусства к безыскусственной действительности? Вопрос решается тем, что во всех указанных нами случаях дело идет о произведениях практической деятельности человека, которая, уклонившись в них от своего истинного назначения – производить нужное или полезное, тем не менее сохраняет свой существенный характер – производить нечто такое, чего не производит природа. Потому не может быть и вопроса, как в этих случаях относится красота произведений искусства к красоте произведений природы: в природе нет предметов, с которыми было бы можно сравнивать ножи, вилки, сукно, часы; точно так же в ней нет предметов, с которыми было бы можно сравнивать дома, мосты, колонны и т. п.

Итак, если даже причислять к области изящных искусств все произведения, создаваемые под преобладающим влиянием стремления к прекрасному, то надобно будет сказать, что произведения архитектуры или сохраняют свой практический характер и в таком случае не имеют права быть рассматриваемы как произведения искусства, «ли на самом деле становятся произведениями искусства, но искусство имеет столько же права гордиться ими, как произведениями ювелирного мастерства. По нашему понятию о сущности искусства, стремление к произведению прекрасного в смысле грациозного, изящного, красивого не есть еще искусство; для искусства, как увидим, нужно более; потому произведений архитектуры ни в каком случае мы не решимся назвать произведениями искусства. Архитектура – одна из практических деятельностей человека, которые все не чужды стремления к красоте формы, и отличается в этом отношении от мебельного мастерства не существенным характером, а только размером своих произведений.

Общий недостаток произведений скульптуры и живописи, по которому они стоят ниже произведений природы и жизни, – их мертвенность, их неподвижность; в этом все признаются, и потому было бы излишне распространяться относительно этого пункта. Посмотрим же лучше на мнимые преимущества этих искусств перед природою.

Скульптура изображает формы человеческого тела; все остальное в ней аксессуар; потому и будем говорить о том только, как она изображает человеческую фигуру. Обратилось в какую-то аксиому, что красота очертаний Венеры Медицейской или Милосской, Аполлона Бельведерского и т. д. гораздо выше, нежели красота живых людей. В Петербурге нет ни Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерского, но есть произведения Кановы; потому мы, жители Петербурга, можем иметь смелость судить до некоторой степени о красоте произведений скульптуры. Мы должны сказать, что в Петербурге нет, ни одной статуи, которая по красоте очертаний лица не была бы гораздо ниже бесчисленного множества живых людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улице, чтобы встретить нескольких таких лиц. В этом согласится большая часть тех, которые привыкли судить самостоятельно. Но этого собственного впечатления не будем, однако, считать доказательством. Есть другое, гораздо более твердое. Математически строго можно доказать, что произведение искусства не может сравниться с живым человеческим лицом по красоте очертаний: известно, что в искусстве исполнение всегда неизмеримо ниже того идеала, который существует в воображении художника. А самый этот идеал никак не может быть по красоте выше тех живых людей, которых имел случай видеть художник. Силы «творческой фантазии» очень ограничены: она может только комбинировать впечатления, полученные из опыта; воображение только разнообразит и экстенсивно увеличивает предмет, но интенсивнее того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можем вообразить. Я могу представить себе солнце гораздо больше по величине, нежели каково оно в действительности; но ярче того, как оно являлось мне в действительности, я не могу его вообразить. Точно так же я могу представить себе человека выше ростом, толще и т. д., нежели те люди, которых я видел; но лица прекраснее тех лиц, которые случалось мне видеть в действительности, я не могу себе вообразить. Это выше сил человеческой фантазии. Одно мог бы сделать художник: соединить в своем идеале лоб одной красавицы, нос другой, рот и подбородок третьей; не спорим, что это иногда и делают художники; но сомнительно, во-первых, нужно ли это, во-вторых, в состоянии ли воображение соединить эти части, когда они действительно принадлежат разным лицам. Нужно это было бы только тогда, когда бы художнику попадались все такие лица, в которых одна часть была бы хороша, а другие дурны. Но обыкновенно в лице все части почти одинаково хороши или почти одинаково дурны, так что художник, будучи доволен, напр., лбом, должен почти в такой же

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
степени остаться доволен и очертанием носа и рта. Обыкновенно, если лицо не
изуродовано, то все части его бывают в такой гармонии между собою, что нарушать
ее значило бы портить красоту лица. Этому учит нас сравнительная анатомия.
Правда, очень часто случается слышать: «как хорошо было бы это лицо, если бы нос
был несколько приподнят кверху, губы несколько потоньше» и т. п.; – несколько не
сомневаясь в том, что иногда при красоте всех остальных частей лица одна часть
его бывает некрасива, мы думаем, что обыкновенно, или, лучше сказать – почти
всегда, подобное недовольство происходит или от неспособности понимать
гармонию, или от прихотливости, которая граничит с отсутствием истинной, сильной
способности и потребности наслаждаться прекрасным. Части человеческого тела, как
и всякого живого организма, постоянно возрождающегося под влиянием своего
единства, находятся между собой в теснейшей связи, так что форма одного члена
зависит от форм всех остальных и, в свою очередь, они зависят от нее. Тем более
надобно это сказать о различных частях одного органа, о различных частях лица.
Взаимная зависимость очертаний доказывается, как мы говорили, наукою, но и без
помощи науки очевидна для всякого, одаренного чувством гармонии. Человеческое
тело – одно целое; его нельзя разрывать на части и говорить: эта часть хороша,
прекрасна, эта некрасива. И здесь, как во многих других случаях, подбор, подбор,
мозаичность, эклектизм, ведет к несообразностям; принимайте все или не
принимайте ничего – только тогда вы будете правы, по крайней мере, с своей точки
зрения. Только в уродках, в этих эклектических существах, уместна мерка
эклектизма. А оригиналами при изваянии «великих произведений скульптуры»,
конечно, служили не они. Если бы художник взял для своего Изваяния лоб с одного
лица, нос с другого, рот с третьего, он доказал бы этим только одно: собственное
безвкусие или, по крайней мере, неумение отыскать действительно прекрасное лицо
для своей модели. На основании всех приведенных соображений мы думаем, что
красота статуи не может быть выше красоты живого индивидуального человека,
потому что снимок не может быть прекраснее оригинала. Правда, не всегда статуя
бывает верным снимком с натурщика; иногда «художник воплощает в своей статуе
свой идеал», – но каким образом составляется идеал художника, не похожий на его
модель, мы будем иметь случай говорить впоследствии. Мы не забываем и того, что,
кроме очертаний, в произведении скульптуры есть еще группировка и выражение; но
оба эти элемента красоты гораздо полнее, нежели в статуе, мы встречаем в
картине; потому и анализируем их, говоря о живописи, к которой переходим.

Живопись с нашей настоящей точки зрения мы должны разделить на изображение
отдельных фигур и групп, живопись, изображающую внешний мир, и живопись,
изображающую фигуры и группы среди ландшафта, или, выражаясь общее, среди
обстановки.

Что касается до очертаний отдельной человеческой фигуры, надобно сказать, что
живопись уступает в этом отношении не только природе, но и скульптуре: она не
может очерчивать так полно и определенно; зато, распоряжаясь красками, она
изображает человека гораздо ближе к живой природе и может придавать его лицу
гораздо более выразительности, нежели скульптура. Не знаем, до какой степени
совершенства дойдет со временем составление красок; но при настоящем положении
этой стороны техники живопись не может хорошо передавать цвет человеческого тела
вообще, и особенно цвет лица. Краски ее в сравнении с цветом тела и лица –
грубое, жалкое подражание; вместо нежного тела она рисует что-то зеленоватое или
красноватое; и, говоря безотносительно, не принимая в соображение, что и для
этого зеленоватого или красноватого изображения нужно иметь необыкновенное
«уменьше», мы должны будем признаться, что живое тело не может быть
удовлетворительно передано мертвыми красками. Один только из оттенков его
передает живопись довольно хорошо – потерявший жизненность, сухой цвет
стариковского или загорелого лица. Покрытые оспенными ямочками или болезненные
лица также выходят на картинах несравненно удовлетворительнее, нежели свежие,
молодые. Наилучшее выходит в живописи наихудшим, наихудшее – наиболее
удовлетворительным.

То же самое надобно сказать и о выражении лица. Лучше других оттенков жизни
удается живописи изображать судорожные искажения лица при разрушительно-сильных
аффектах, напр., выражение гнева, ужаса, свирепости, буйного разгула, физической
боли или нравственного страдания, переходящего в физическое страдание; потому
что в этих случаях с чертами лица происходят резкие изменения, которые
достаточно могут быть изображены довольно грубыми взмахами кисти, и мелочная
неверность или неудовлетворительность подробностей исчезает среди крупных
штрихов: самый грубый намек здесь понятен для зрителя. Удовлетворительнее других
оттенков выражения передается также сумасшествие, тупоумие или отсутствие мысли;

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe потому что здесь почти нечего передавать или надобно передать дисгармонию – дисгармония не портится, а развивается несовершенством исполнения. Но все остальные видоизменения физиогномии передаются живописью чрезвычайно неудовлетворительно; потому что никогда не может она достичь нежности штрихов, гармоничности всех мельчайших видоизменений в мускулах, от которых зависит выражение нежной радости, тихой задумчивости, легкой веселости и т. п. Руки человеческие грубы и в состоянии удовлетворительно сделать только то, для чего не требуется слишком удовлетворительной отделки: «топорная работа» – вот настоящее имя всех пластических искусств, как скоро сравним их с природою. Впрочем, живопись (и скульптура) еще больше, нежели очертаниями или выражением своих фигур, гордится пред природою группировкою. Но эта гордость еще менее понятна. Правда, искусству иногда удается безукоризненно сгруппировать фигуры, но напрасно будет оно превозноситься своею чрезвычайно редкою удачею; потому что в действительности никогда не бывает в этом отношении неудачи: в каждой группе живых людей все держат себя совершенно сообразно 1) сущности сцены, происходящей между ними, 2) сущности собственного своего характера и 3) условиям обстановки. Все это само собою всегда соблюдается в действительной жизни и с чрезвычайным трудом достигает этого искусство. «Всегда и само собою» в природе, «очень редко и с величайшим напряжением сил» в искусстве – вот факт, почти во всех отношениях характеризующий природу и искусство.

Переходим к живописи, изображающей природу. Очертания предметов, опять, никак не «могут быть не только нарисованы рукою, но и представлены воображением лучше, нежели встречаются в действительности; причину объяснили мы выше. Лучше действительной розы воображение не может ничего представить; а исполнение всегда ниже воображаемого идеала. Цвета некоторых предметов удаются живописи очень хорошо; но есть много предметов, колорит которых она не может передать. Вообще лучше удаются темные цвета и грубые, жесткие оттенки; светлые – хуже; колорит предметов, освещенных солнцем, хуже всего; так же неудачны выходят оттенки голубого полуденного неба, розовые и золотистые оттенки утра и вечера. «Но именно побежденном этих трудностей прославились великие художники», т. е. тем, что побеждали их гораздо лучше, нежели другие живописцы. Мы не говорим об относительном достоинстве произведений живописи, а сравниваем лучшие из них с природою. Насколько лучшие из них лучше других, настолько же уступают природе. «Но живопись лучше может сгруппировать пейзаж?» Сомневаемся; по крайней мере, в природе на каждом шагу встречаются картины, к которым нечего прибавить, из которых нечего выбросить. Не так говорят очень многие люди, посвятившие свою жизнь изучению искусства и опустившие из виду природу. Но простое, естественное чувство каждого человека, не вовлеченного в пристрастие художническую или дилетантскую односторонность, будет согласно с нами, когда мы скажем, что в природе очень много таких местоположений, таких зрелищ, которыми можно только восхищаться и в которых нечего осудить. Войдите в порядочный лес – не говорим о лесах Америки, говорим о тех лесах, которые уже пострадали от рук человека, о наших европейских лесах, – чего недостает этому лесу? Кому из видевших порядочный лес приходило в голову, что в этом лесу надобно что-нибудь изменить, что-нибудь дополнить для полноты эстетического наслаждения им? Проезжайте двести, триста верст по дороге – не говорим, в Крыму или в Швейцарии, нет – в Европейской России, которая, говорят, бедна видами, – сколько вам встретится на атом небольшом переезде таких местностей, которые восхитят вас, любуясь на которые вы не подумаете о том, что «если бы тут вот это прибавить, тут вот это убавить, пейзаж был бы лучше». Человек с неиспорченным эстетическим чувством наслаждается природою вполне, не находит недостатков в ее красоте. Мнение, будто б) рисованный пейзаж может быть величественнее, грациознее или в каком бы то ни было отношении лучше действительной природы, отчасти обязано своим происхождением предрассудку, над которым самодовольно подсмеиваются в наше время даже те, которые в сущности еще не отделались от него, – предрассудку, что природа груба, низка, грязна, что надобно очищать и украшать ее для того, чтоб она облагородилась. Это принцип подстриженных садов. Другой источник мнения о превосходстве рисованных пейзажей над действительными анализируем ниже, когда будем рассматривать вопрос, в чем именно состоит наслаждение, доставляемое нам произведениями искусства.

Остается взглянуть на отношение к природе третьего рода картин – картин, на которых изображается группа людей среди пейзажа. Мы видели, что группы и пейзажи, изображаемые живописью, по идее никак не могут быть выше того, что представляет нам действительность, а по исполнению всегда неизмеримо ниже действительности. Но то справедливо, что на картине группа может быть поставлена в обстановке более эффектной и даже более приличной сущности ее, нежели

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
обыкновенная действительная обстановка (радостные сцены часто происходят среди довольно тусклой или даже грустной обстановки; потрясающие, величественные сцены часто, и даже большею частью, – среди обстановки вовсе не величественной; и наоборот, очень часто пейзаж не наполнен группами, характер которых был бы приличен его характеру). Искусство очень легко восполняет эту неполноту, и мы готовы сказать, что оно имеет в этом случае преимущество перед действительностью. Но, признавая это преимущество, мы должны рассмотреть, во-первых, до какой степени оно важно, во-вторых, всегда ли оно бывает истинным преимуществом. – Картина изображает пейзаж и группу людей среди этого пейзажа. Обыкновенно в таких случаях или пейзаж есть только рамка для группы, или группа людей только второстепенный аксессуар, а главное в картине – пейзаж. В первом случае преимущество искусства над действительностью ограничивается тем, что оно сыскало для картины золоченую рамку вместо простой; во втором – искусство прибавило, может быть, прекрасный, но второстепенный аксессуар, – выигрыш также не слишком велик. Но действительно ли внутреннее значение картины возвышается, когда живописцы стараются дать группе людей обстановку, соответствующую характеру группы? Это сомнительно в большей части случаев. Не будет ли слишком однообразно всегда освещать сцены счастливой любви лучами радостного солнца и помещать среди смеющейся зелени лугов, и притом еще весной, когда «вся природа дышит любовью», а сцены преступлений освещать молнией и помещать среди диких скал? И кроме того, не будет ли не совсем гармонирующая с характером сцены обстановка, какова обыкновенно бывает она в действительности, своею дисгармониею возвышать впечатление, производимое самою сценою? И не имеет ли почти всегда обстановка влияния на характер сцены, не придает ли она ей новых оттенков, не придает ли она ей чрез то более свежести и более жизни?

Окончательный вывод из этих суждений о скульптуре и живописи: мы видим, что произведения того и другого искусства по многим и существеннейшим элементам (по красоте очертаний, по абсолютному совершенству исполнения, по выразительности и т. д.) неизмеримо ниже природы и жизни; но, кроме одного маловажного преимущества живописи, о котором сейчас говорили, решительно не видим, в чем произведения скульптуры или живописи стояли бы выше природы и действительной жизни.

Теперь нам остается говорить о музыке и поэзии – высших, совершеннейших искусствах, пред которыми исчезают и живопись, и скульптура.

Но прежде мы должны обратить внимание на вопрос: в каком отношении находится инструментальная музыка к вокальной, и в каких случаях вокальная музыка может назваться искусством?

Искусство есть деятельность, посредством которой осуществляет человек свое стремление к прекрасному, – таково обыкновенное определение искусства; мы не согласны с мим; но пока не высказана наша критика, еще не имеем права отступить от него, и, подстановив впоследствии вместо употребляемого нами здесь определения то, которое кажется нам справедливым, мы не изменим чрез это наших выводов относительно вопроса: всегда ли пение есть искусство, и в каких случаях становится оно искусством? Какова первая потребность, под влиянием которой человек начинает петь? участвует ли в ней насколько-нибудь стремление к прекрасному? Нам кажется, что это потребность, совершенно отличная от заботы о прекрасном. Человек спокойный может быть замкнут в себе, может молчать. Человек, находящийся под влиянием чувства радости или печали, делается общителен; этого мало: он не может не выразить во внешности своего чувства: «чувство просится наружу». Каким же образом выступает оно во внешний мир? Различно, смотря по тому, каков его характер. Внезапные и потрясающие ощущения выражаются криком или восклицаниями; чувства неприятные, переходящие в физическую боль, выражаются разными гримасами и движениями; чувство сильного недовольства – также беспокойными, разрушительными движениями; наконец, чувства радости и грусти – рассказом, когда есть кому рассказать, и пением, когда некому рассказывать или когда человек не хочет рассказывать. Эта мысль найдется в каждом рассуждении о народных песнях. Странно только, почему не обращают внимания на то, что пение, будучи по существу своей выражением радости или грусти, вовсе не происходит от нашего стремления к прекрасному. Неужели под преобладающим влиянием чувства человек будет еще думать о том, чтобы достигать прелести, грации, будет заботиться о форме? Чувство и форма противоположны между собою. Уже из этого одного видим, что пение, произведение чувства, и искусство, заботящееся о форме, – два совершенно различные предмета. Пение первоначально и существенно – подобно разговору – произведение практической жизни, а не произведение искусства; но как

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
всякое «уменье», пение требует привычки, занятия, практики, чтобы достичь
высокой степени совершенства; как все органы, орган пения, голос, требует
обработки, учения, для того чтобы сделаться покорным орудием воли, – и
естественное пение становится в этом отношении «искусством», но только в том
смысле, в каком называется «искусством» уменье писать, считать, пахать землю,
всякая практическая деятельность, а вовсе не в том смысле, какой придается слову
«искусство» эстетикою.

Но в противоположность естественному пению существует искусственное пение, старающееся подражать естественному. Чувство придает особенный, высокий интерес всему, что производится под его влиянием; оно даже придает всему особенную прелесть, особенную красоту. Одушевленное грустью или радостью лицо в тысячу раз прекраснее, нежели холодное. Естественное пение как излияние чувства, будучи произведением природы, а не искусства, заботящегося о красоте, имеет, однако, высокую красоту; потому является в человеке желание петь нарочно, подражать естественному пению. Каково отношение этого искусственного пения к естественному? Оно гораздо обдуманнее, оно рассчитано, украшено всем, чии только может украсить его гений человека: какое сравнение между арией итальянской оперы и простым, бедным, монотонным мотивом народной песни! Но вся ученость гармонии, все изящество развития, все богатство украшений гениальной арии, вся гибкость, все несравненное богатство голоса, ее исполняющего, не заменят недостатка искреннего чувства, которым проникнут бедный мотив народной песни и неблестящий, мало обработанный голос человека, который поет не из желания блеснуть и выказать свой голос и искусство, а из потребности излить свое чувство. Различие между естественным и искусственным пением – различие между актером, играющим роль веселого или печального, и человеком, который в самом деле обрадован или опечален чем-нибудь, – различие между оригиналом и копией, между действительностью и подражанием. Спешим прибавить, что композитор может в самом деле проникнуться чувством, которое должно выражаться в его произведении; тогда он может написать нечто гораздо высшее не только по внешней красоте, но и по внутреннему достоинству, нежели народная песня; но в таком случае его произведение будет произведением искусства или «уменья» только с технической стороны, только в том смысле, в котором и все человеческие произведения, созданные при помощи глубокого изучения, соображений, заботы о том, чтобы «вышло как возможно лучше», могут назваться произведениями искусства.; в сущности же произведение композитора, написанное под преобладающим влиянием произвольного чувства, будет созданием природы (жизни) вообще, а не искусства. Точно так искусный и впечатлительный певец может войти в свою роль, проникнуться тем чувством, которое должна выражать его песня, и в таком случае он пропоет ее на театре, перед публикою, лучше другого человека, поющего не на театре, – от избытка чувства, а не на показ публике; но в таком случае певец перестает быть актером, и его пение становится песней самой природы, а не произведением искусства. Это увлечение чувством мы не думаем смешивать с вдохновением: вдохновение есть особенно благоприятное настроение творческой фантазии; оно и увлечение чувством имеют общего только то, что в людях, одаренных поэтическим талантом и вместе особенно впечатлительностью, вдохновение может переходить в увлечение чувством, когда предмет вдохновения располагает к чувству. Между вдохновением и чувством то же самое различие, какое между фантазией и действительностью, между мечтами и впечатлениями.

Первоначальное и существенное назначение инструментальной музыки – служить аккомпанементом для пения. Правда, впоследствии, когда пение становится для высших классов общества преимущественно искусством, когда слушатели начинают быть очень требовательны в отношении к технике пения, – за недостатком удовлетворительного пения инструментальная музыка старается заменить его и является как нечто самостоятельное; правда, что она имеет и полное право обнаруживать притязания на самостоятельное значение при усовершенствовании музыкальных инструментов, при чрезвычайном развитии технической стороны игры и при господстве предпочтительного пристрастия к исполнению, а не к содержанию. Но тем не менее истинное отношение инструментальной музыки к пению сохраняется в опере, полнейшей форме музыки как искусства, и в некоторых других отраслях концертной музыки. И нельзя не заметить, что, несмотря на всю искусственность нашего вкуса, на изысканное пристрастие ко всем трудностям и хитростям блестящей техники, все продолжают отдавать пению предпочтение пред инструментальною музыкою? едва начинается пение, мы перестаем обращать внимание на оркестр. Выше всех инструментов ставится скрипка, потому что она «ближе всех инструментов подходит к человеческому голосу»; высочайшая похвала артисту: «в звуках его инструмента слышится человеческий голос». Итак, инструментальная музыка –

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
подражание пению, его аккомпанемент или суррогат; в самом пении пение как
произведение искусства – только подражание и суррогат пению как произведению
природы. После этого мы имеем право сказать, что в музыке искусство есть только
слабое воспроизведение явлений жизни, независимых от стремления нашего к
искусству.

Переходим к высочайшему и полнейшему из искусств, поэзии, вопросы о которой
заклучают в себе всю теорию искусства. Неизмеримо выше других искусств стоит
поэзия по своему содержанию; все другие искусства не в состоянии сказать нам и
сотой доли того, что говорит поэзия. Но совершенно изменяется это отношение,
когда мы обращаем внимание на силу и живость субъективного впечатления,
производимого поэзией, с одной стороны, и остальными искусствами – с другой. Все
другие искусства, подобно живой действительности, действуют прямо на чувства,
поэзия действует на фантазию; фантазия у одних людей гораздо впечатлительнее и
живее, нежели у других, но вообще должно сказать, что у здорового человека ее
образы бледны, слабы в сравнении с воззрениями чувств; потому надобно сказать,
что по силе и ясности субъективного впечатления поэзия далеко ниже не только
действительности, но и всех других искусств. Посмотрим же, какова степень
объективного совершенства содержания и формы в произведениях поэзии, и может ли
она хотя в этом отношении соперничать с природою.

Много говорят о «законченности», «индивидуальности», «живой определенности» лиц
и характеров, изображаемых великими поэтами. Но вместе с этим говорят нам, что
«это, однако же, не отдельные лица, а общие типы»; после такой фразы было бы
излишне доказывать, что самое определенное, наилучшим образом обрисованное лицо
остаётся в поэтическом произведении только общим, неопределенно очерченным
абрисом, которому живая определенная индивидуальность придается только
воображением (собственно говоря, воспоминаниями) читателя. Образ в поэтическом
произведении точно так же относится к действительному живому образу, как слово
относится к действительному предмету, им обозначаемому, – это не более как
бледный и общий, неопределенный намек на действительность. Многие в этой
«общности» поэтического образа видят превосходство его над лицами,
представляющимися нам в действительной жизни. Такое мнение основывается на
предполагаемой противоположности между общим значением существа и его живую
индивидуальностью, на предположении, будто бы «общее, индивидуализируясь, теряет
свою общность» в действительности и «возводится опять к ней только силою
искусства, совлекающего с индивидуума его индивидуальность». Не вдаваясь в
метафизические суждения о том, каковы на самом деле каузальные отношения между
общим и частным (причем необходимо было бы прийти к заключению, что для человека
общее только бледный и мертвый экстракт на индивидуального, что поэтому между
ними такое же отношение, как между словом и реальностью), скажем только, что на
самом деле индивидуальные подробности вовсе не мешают общему значению предмета,
а, напротив, оживляют и дополняют его общее значение; что, во всяком случае,
поэзия признает высокое превосходство индивидуального уж тем самым, что всеми
силами стремится к живой индивидуальности своих образов; что с тем вместе никак
не может она достичь индивидуальности, а успевает только несколько приблизиться
к ней, и что степень этого приближения определяется достоинство поэтического
образа. Итак: стремится, но не может никогда достичь того, что всегда
встречается в типических лицах действительной жизни, – ясно, что образы поэзии
слабы, неполны, неопределенны в сравнении с соответствующими им образами
действительности. «Но встречаются ли в действительности истинно-типические
лица»? Достаточно предположить подобный вопрос и не дожидаться на него ответа,
как на вопросы о том, действительно ли в жизни встречаются добрые и дурные люди,
моты, скупцы и т. д., действительно ли лед холоден, хлеб очень питателен и т. п.
Есть люди, которым все надобно указывать и доказывать. Но их нельзя убедить
общими доказательствами в общем сочинении; на них можно действовать только
порознь, для них убедительны только специальные примеры, заимствованные из
кружка знакомых им людей, в котором, как бы ни был он тесен, всегда найдется
несколько истинно-типических личностей; указание на истинно-типические личности
в истории едва ли поможет: есть люди, готовые сказать: «исторические личности
опоэтизированы преданием, удивлением современников, гением историков или своим
исключительным положением».

Отчего произошло мнение, будто бы типические характеры в поэзии выставляются
гораздо чище и лучше, нежели представляются они в действительной жизни,
рассмотрим после; теперь обратим внимание на процесс, посредством которого
«создаются» характеры в поэзии, – он обыкновенно представляется ручательством за
большую в сравнении с живыми лицами типичность этих образов. Обыкновенно

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
говорят: «Поэт наблюдает множество живых индивидуальных личностей; ни одна из них не может служить полным типом; но он замечает, что в каждой из них есть общего, типического; отбрасывая в сторону все частное, соединяет в одно художественное целое разбросанные в различных людях черты и таким образом создает характер, который может быть назван квинт-эссенцией действительных характеров». Положим, что все это совершенно справедливо и что всегда бывает именно так; но квинт-эссенция вещи обыкновенно не похожа бывает на самую вещь: теин – не чай, алкоголь – не вино; по правилу, приведенному выше, в самом деле поступают «сочинители», дающие нам вместо людей квинт-эссенцию героизма и злобы в виде чудовищ порока и каменных героев. Все, или почти все, молодые люди влюбляются – вот общая черта, в остальных они не сходны, – и во всех произведениях поэзии мы услаждаемся девицами и юношами, которые и мечтают и толкуют всегда только о любви и во все продолжение романа только и делают, что страдают или блаженствуют от любви; все пожилые люди любят порезонерствовать, в остальном они не похожи друг на друга; все бабушки любят внучат и т. д., – и вот все повести и романы населяются стариками, которые только и дело делают, что резонерствуют, бабушками, которые только и дела делают, что ласкают внучат, и т. д. Но большею частью рецепт не совсем соблюдается: у поэта, когда он «создает» свой характер, обыкновенно носится пред воображением образ какого-нибудь действительного лица; иногда сознательно, иногда бессознательно «воспроизводит» он его в своем типическом лице. В доказательство напомним о бесчисленном количестве произведений, в которых главное действующее лицо – более или менее верный портрет самого автора (например, Фауст, Дон-Карлос и маркиз Поза, герои Байрона, герои и героини Жоржа Санда, Ленский, Онегин, Печорин); напомним еще об очень частых обвинениях против романистов, что они «в своих романах выставляют портреты своих знакомых»; эти обвинения обыкновенно отвергаются с насмешкою и негодованием; «о они большею частью бывают только утрированы и несправедливо выражаемы, а не по сущности своей несправедливы. С одной стороны, приличия, с другой – обыкновенное стремление человека к самостоятельности, к «творчеству, а не списыванию копий» заставляют поэта видоизменять характеры, им списываемые с людей, которые встречались ему в жизни, представлять их до некоторой степени неточными; кроме того, списанному с действительного человека лицу обыкновенно приходится в романе действовать совершенно не в той обстановке, какой оно было окружено на самом деле, и от этого внешнее сходство теряется. Но все эти перемены не мешают характеру в сущности оставаться списанным, а не созданным, портретом, а не оригиналом. Против этого можно сказать: правда, что первообразом для поэтического лица очень часто служит действительное лицо; но поэт «возводит его к общему значению» – возводит обыкновенно незачем, потому что и оригинал уже имеет общее значение в своей индивидуальности; надобно только – и в этом состоит одно из качеств поэтического гения – уметь понимать сущность характера в действительном человеке, смотреть на него пронизательными глазами; кроме того, надобно понимать или чувствовать, как стал бы действовать и говорить этот человек в тех обстоятельствах, среди которых он будет поставлен поэтом, – другая сторона поэтического гения; в-третьих, надобно уметь изобразить его, уметь передать его таким, каким понимает его поэт, – едва ли не самая характеристическая черта поэтического гения. Понять, уметь сообразить или почувствовать инстинктом и передать понятое – вот задача поэта при изображении большей части изображаемых им лиц. Вопрос о том, что называется «возведением к идеальному значению», «опоэтизированием прозы и нескладницы жизни», представится нам ниже. Мы несколько не сомневаемся, однако, что бывает в поэтических произведениях очень много лиц, которые не могут быть названы портретами, которые «созданы» поэтом. Но это происходит вовсе не от того, чтобы не нашлось в действительности достойных натурщиков, а совершенно от другой причины, чаще всего просто от забывчивости или недостаточного знакомства: если в памяти поэта исчезли живые подробности, осталось только общее, отвлеченное понятие о характере или поэт знает о типическом лице гораздо менее, нежели нужно для того, чтобы оно было живым лицом, то поневоле приходится ему самому дополнять общий почерк, оттенять абрис. Но почти никогда эти придуманные лица не обрисовываются пред нами, как живые характеры. Вообще, чем более нам известно о характере поэта, о его жизни, о лицах, с которыми он сталкивался, тем более видим у него портретов с живых людей. Трудно не согласиться, что «созданного» в лицах, изображаемых поэтами, бывает и всегда бывало гораздо менее, а списанного с действительности гораздо более, нежели обыкновенно предполагают; трудно не прийти к убеждению, что поэт в отношении к своим лицам почти всегда только историк или автор мемуаров. Само собою разумеется, что всем этим не хотим мы сказать, будто бы каждое слово, произносимое Маргаритою или Мефистофелем, было буквально слышано Гете от Гретхен и Мерка. Не только гениальный поэт, но и самый ненаходчивый рассказчик в состоянии к одной фразе приделать другую в том же

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
роде, прибавить вступления и переходы.

Гораздо больше бывает «самостоятельно изобретенного» или «придуманного» – решаемся заменить этими терминами обыкновенный, слишком гордый термин: «созданного» – в событиях, изображаемых поэтом, в интриге, завязке и развязке ее и т. д., хотя очень легко доказать, что сюжетами романов, повестей и т. д. обыкновенно служат поэту действительно совершившиеся события или анекдоты, разного рода рассказы и пр. (укажем в пример на все прозаические повести Пушкина: «Капитанская дочка» – анекдот; «Дубровский»: – анекдот; «Пиковая дама» – анекдот, «Выстрел» – анекдот и т. д.). Но общий очерк сюжета сам по себе еще не придает высокого поэтического достоинства роману или повести – надобно уметь воспользоваться сюжетом; потому, оставляя без рассмотрения «самостоятельность» сюжета, обратим внимание на то, выше или ниже действительных событий «поэтичность» поэтических произведений со стороны сюжета, как он представляется в них вполне развитым. Как пособия для получения окончательного вывода выставим несколько вопросов, из которых большая часть разрешаются сами собою: 1) Бывают ли в действительности поэтические события: совершаются ли в действительности драмы, романы, комедии, трагедии, водевили? – Ежеминутно. 2) Истинно ли поэтичны эти события в своем развитии и развязке? Имеют ли они в действительности художественную полноту и законченность? – Как случится; часто не имеют, но очень часто имеют. Есть очень много таких событий, в которых строго поэтическое воззрение не находит никаких недостатков в художественном отношении. Этот пункт решается чтением первой хорошо написанной исторической книги, первым вечером, проведенным в беседе с человеком, много на своем веку выдавшим; разрешается, наконец, первыми взятыми в руки нумерами какой-нибудь французской или английской судебной газеты. 3) Есть ли между этими законченными поэтическими событиями такие, которые могли бы без всякого изменения быть переданы под заглавием: «драма», «трагедия», «роман» и т. п.? – Очень много; правда, что многие из действительных событий неправдоподобны, основаны на слишком редких, исключительных положениях или сцеплениях обстоятельств и потому в настоящем своем виде имеют вид сказки или натянутой выдумки (из этого можно видеть, что действительная жизнь часто бывает слишком драматична для драмы, слишком поэтична для поэзии); но очень много есть событий, в которых, при всей их замечательности, нет ничего эксцентрического, невероятного, все сцепление происшествий, весь ход и развязка того, что в поэзии называется интригою, просты, естественны. 4) Имеют ли действительные события «общую» сторону, которая, необходима в поэтическом произведении? – Конечно, ее имеет всякое событие, достойное внимания мыслящего человека; а таких событий очень много.

После всего этого трудно не сказать, что в действительности есть много событий, которые надобно только знать, понять и уметь рассказать, чтоб они в чисто прозаическом рассказе историка, писателя мемуаров или собирателя анекдотов отличались от настоящих «поэтических произведений» только меньшим объемом, меньшим развитием сцен, описаний и тому подобных подробностей. И в этом находим мы существенное различие поэтических произведений от точного прозаического пересказывания действительных происшествий. Большая полнота подробностей, или то, что в плохих произведениях приобретает имя «реторического распространения», – вот к чему, в сущности, приводится все превосходство поэзии над точным рассказом. Мы не менее других готовы смеяться над риторикою; но, признавая законными все потребности человеческого сердца, как скоро замечаем их всеобщность, мы признаем важность этих поэтических распространений, потому что всегда и везде видим стремление к ним в поэзии: в жизни всегда есть эти подробности, не нужные для сущности дела, но необходимые для сто действительного развития; должны они быть и в поэзии. Разница только в том, что в действительности подробности никогда не могут быть умышленным механическим растягиванием дела, а в поэтических произведениях они на самом деле очень часто отзываются риторикою, механическим растягиванием рассказа. За что же и превозносят Шекспира, если не за то, что в решительных, лучших сценах он отбрасывает в сторону эти распространения? Но сколько найдется их у «его самого, у Гете и у Шиллера! Нам кажется (может быть, это – пристрастие к своему – родному), что русская поэзия носит в себе зародыши отвращения к растягиванию сюжета механически подбирающимися подробностями. В повестях и рассказах Пушкина, Лермонтова, Гоголя общее свойство – краткость и быстрота рассказа. Итак, вообще, по сюжету, по типичности и полноте обрисовки лиц поэтические произведения далеко уступают действительности; но есть две стороны, которыми они могут стоять выше действительности: это украшения и сочетание лиц с теми событиями, в которых они участвуют. Мы говорили, что живопись чаще, нежели действительность, окружает группу обстановкою, соответствующую существенному характеру сцены; точно так же

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe и поэзия чаще, нежели действительность, двигателями и участниками событий выставляет людей, которых существенный характер совершенно соответствует духу событий. В действительности очень часто мелкие по характеру люди являются двигателями трагических, драматических и т. д. событий; ничтожный повеса, в сущности даже вовсе не дурной человек, может наделать много ужасных дел; человек, которого несколько нельзя назвать дурным, может погубить счастье многих людей и наделать несчастий гораздо более, нежели Яго или Мефистофель. В произведениях поэзии, напротив того, очень дурные дела делают и люди очень дурные; хорошие дела делают и люди особенно хорошие. В жизни часто не знаешь, кого винить, кого хвалить; в поэтических произведениях обыкновенно положительным образом раздается честь и бесчестье. Но преимущество это или недостаток? – Бывает иногда то, иногда другое; чаще бывает, это недостатком. Не говорим пока о том, что следствием подобного обыкновения бывает идеализация в хорошую и дурную сторону, или просто говоря, преувеличение; потому что мы не говорили еще о значении искусства, и рано еще решать, недостаток или достоинство эта идеализация; скажем только, что вследствие постоянного приспособления характера людей к значению событий является в поэзии монотонность, однообразны делаются лица и даже самые события; потому что от разности в характерах действующих лиц и самые происшествия, существенно сходные, приобретали бы различный оттенок, как это бывает в жизни, вечно разнообразной, вечно новой, между тем как в поэтических произведениях очень часто приходится читать повторения. В наше время принято смеяться над украшениями, не проистекающими из сущности предмета и ненужными для достижения главной цели; но до сих пор еще удачное выражение, блестящая метафора, тысячи прикрас, придумываемых для того, чтобы сообщить внешний блеск сочинению, имеют чрезвычайно большое влияние на суждение о произведениях поэзии. Что касается украшений, внешнего великолепия, замысловатости и т. д., мы всегда признаем возможность превзойти в вымышленном рассказе действительность. Но стоит только указать это мнимое достоинство повести или драмы, чтобы уронить ее в глазах людей со вкусом и низвести из области «искусства» в область «искусственности». Наш разбор показал, что произведение искусства может иметь преимущество перед действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях и по необходимости остается далеко ниже ее в существенных своих качествах. Разбор этот можно упрекнуть в том, что он ограничивался самыми общими точками зрения, «е входил в подробности, не ссылался на примеры. Действительно, его краткость кажется недостатком, когда вспомним о том, до какой степени укоренилось мнение, будто бы красота произведений искусства выше красоты действительных предметов, событий и людей; но когда посмотришь на шаткость этого мнения, когда вспомнишь, как люди, его выставляющие, противоречат сами себе на каждом шагу, то покажется, что было бы довольно, изложив мнение о превосходстве искусства над действительностью, ограничиться прибавлением слов: это несправедливо, всякий чувствует, что красота действительной жизни выше красоты созданий «творческой» фантазии. Если так, то на чем же основывается или, лучше сказать, из каких субъективных причин проистекает преувеличенно высокое мнение о достоинстве произведений искусства? Первый источник этого мнения – естественная склонность человека чрезвычайно высоко ценить трудность дела и редкость вещи. Никто не ценит чистоты выговора француза, говорящего по-французски, немца, говорящего по-немецки, – «это ему не стоило никаких трудов, и это вовсе не редкость»; но если француз говорит сносно по-немецки или немец по-французски, – это составляет предмет нашего удивления и дает такому человеку право на некоторое уважение с нашей стороны. Почему? Потому, во-первых, что это редко; потому, во-вторых, что это достигнуто целыми годами усилий. Собственно говоря, почти каждый француз превосходно говорит по-французски, – но как мы взыскательны в этом случае! – малейший, почти незаметный оттенок провинциализма в его выговоре, одна не совсем изящная фраза – и мы объявляем, что «этот господин говорит очень дурно на своем родном языке». Русский, говоря по-французски, в каждом звуке изобличает, что для органов его неуловима полная чистота французского выговора, беспрестанно изобличает свое иностранное происхождение в выборе слов, в построении фразы, во всем складе речи, – и мы прощаем ему все эти недостатки, мы даже не замечаем их, и объявляем, что он превосходно, несравненно говорит по-французски, наконец, мы объявляем, что «этот русский говорит лучше самих французов», хотя в сущности мы и не думаем сравнивать его с настоящими французами, сравнивая его только с другими русскими, также усиливающимися говорить по-французски, – он действительно говорит несравненно лучше их, но несравненно хуже французов, – это подразумевается каждым, имеющим понятие о деле; но многих гиперболическая фраза может вводить в заблуждение. Точно так же и с приговором эстетики о созданиях природы и искусства: малейший, истинный или мнимый, недостаток в произведении природы – и эстетика толкует об этом недостатке, шокируется им, готова забывать

о всех достоинствах, о всех красотах: стоит ли ценить их, в самом деле, когда они явились без всякого усилия! Тот же самый недостаток в произведении искусства во сто раз больше, грубее и окружен еще сотнями других недостатков, – и мы не видим всего этого, а если видим, то прощаем и восклицаем: «И на солнце есть пятна!» Собственно говоря, произведения искусства могут быть сравниваемы только друг с другом при определении относительного их достоинства; некоторые из них оказываются выше всех остальных; и в восторге от их красоты (только относительной) мы восклицаем: «Они прекраснее самой природы и жизни! Красота действительности – ничто пред красотой искусства!» Но восторг пристрастен; он дает больше, нежели может дать справедливость: мы ценим трудность – это прекрасно; но не должно забывать и существенного, внутреннего достоинства, которое независимо от степени трудности; мы делаемся решительно несправедливыми, когда трудность исполнения предпочитаем достоинству исполнения. Природа и жизнь производят прекрасное, не заботясь о красоте, она является в действительности без усилия, и, следовательно, без заслуги в наших глазах, без права на сочувствие, без права на снисхождение; да и к чему снисхождение, когда прекрасного в действительности так много! «Все не в совершенстве прекрасное в действительности – дурно; все сколько-нибудь сносное в искусстве – превосходно» – вот правило, на основании которого мы судим. Чтобы доказать, как высоко ценится трудность исполнения и как много теряет в глазах человека то, что делается само собою, без всяких усилий с нашей стороны, укажем «а дагерротипные портреты; в числе их найдется очень много не только верных, но и передающих в совершенстве выражение лица, – ценим ли мы их? Странно даже услышать апологию дагерротипных портретов. Другой пример: как высоко уважалась каллиграфия! Между тем довольно посредственно напечатанная книга несравненно прекраснее всякой рукописи; но кто же восхищается искусством типографского фактора, и кто не будет в тысячу раз больше любоваться на прекрасную рукопись, нежели на порядочно напечатанную книгу, которая в тысячу раз прекраснее рукописи? Что легко, то мало интересует нас, хотя бы по внутреннему достоинству было несравненно выше трудного. Само собою разумеется, что даже и с этой точки зрения мы правы только субъективно: «действительность производит прекрасное без усилий» – значит только, что усилия в этом случае делаются не волею человека; на самом же деле все в действительности – и прекрасное, и не прекрасное, и великое и мелкое – результат высочайшего (возможного напряжения сил, не знающих ни отдыха, ни усталости. Но что нам за дело до усилий и борьбы, которые совершаются не нашими силами, в которых не участвует наше сознание? Мы не хотим и знать о них; мы ценим только человеческую силу, ценим только человека. И вот другой источник нашей пристрастной любви к произведениям искусства: они – произведения человека: потому мы гордимся ими, считая их чем-то не чуждым нам; они свидетельствуют об уме человека, о его силе и потому дороги для нас. Все народы, кроме французов, очень хорошо видят, что между Корнелем или Расином и Шекспиром неизмеримое расстояние; но французы до сих пор еще сравнивают их – трудно дойти до сознания: «наше не совсем хорошо»; между нами найдется очень много людей, готовых утверждать, что Пушкин – всемирный поэт; есть даже люди, думающие, что он выше Байрона: так высоко человек ставит свое. Как отдельный народ преувеличивает достоинство своих поэтов, так человек вообще преувеличивает достоинство поэзии вообще.

Причины пристрастия к искусству, нами приведенные, заслуживают уважения, потому что они естественны: как человеку не уважать человеческого труда, как человеку не любить человека, не дорожить произведениями, свидетельствующими об уме и силе человека? Но едва ли заслуживает такого уважения третья причина предпочтительной любви нашей к искусству. Искусство льстит нашему искусственному вкусу. Мы очень хорошо понимаем, как искусственны были нравы, привычки, весь образ мыслей времен Людовика XIV; мы приблизились к природе, гораздо лучше понимаем и ценим ее, нежели понимало и ценило общество XVII века; тем не менее мы еще очень далеки от природы; наши привычки, нравы, весь образ жизни и вследствие того весь образ мыслей еще очень искусственны. Трудно видеть недостатки своего века, особенно когда эти недостатки стали слабее, нежели были в прежнее время; вместо того, чтобы замечать, как много еще в нас изысканной искусственности, мы замечаем только, что XIX век стоит в этом отношении выше XVII, лучше его понимая природу, и забываем, что ослабевшая болезнь не есть еще полное здоровье. Наша искусственность видна во всем, начиная с одежды, над которою так много все смеются и которую все продолжают носить, до нашего кушанья, приправляемого всевозможными примесями, совершенно изменяющими естественный вкус блюд; от изысканности нашего разговорного языка до изысканности нашего литературного языка, который продолжает украшаться антитезами, остротами, распространениями из *loci topici*, глубокомысленными рассуждениями на избитые темы и глубокомысленными

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe замечаниями о человеческом сердце, на манер Корнелия и Расина в беллетристике и на манер Иоанна Миллера в исторических сочинениях. Произведения искусства льстят всем мелочным нашим требованиям, происходящим от любви >к искусственности. Не говорим о том, что мы до сих пор еще любим «умывать» природу, как любили наряжать ее в XVII веке, – это завлекло бы нас в длинные суждения о том, что такое «грязное» и до какой степени оно должно являться в произведениях искусства. Но до сих пор в произведениях искусства господствует мелочная отделка подробностей, цель которой не приведение подробностей в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из «их в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности; господствует мелочная погоня за эффектностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расцветивание не совсем натуральными, но резкими красками лиц и событий. Произведение искусства мелочнее того, что мы видим в жизни и в природе, и вместе с тем эффектнее, – как же не утвердиться мнению, что оно прекраснее действительной природы и жизни, в которых так мало искусственности, которым чуждо стремление заинтересовать?

Природа и жизнь выше искусства; но искусство старается угодить нашим наклонностям, а действительность не может быть подчинена стремлению нашему видеть все в том цвете и в том порядке, какой нравится нам или соответствует нашим понятиям, часто односторонним. Из многих случаев этого угождения господствующему образу мыслей укажем на один: многие требуют, чтобы в сатирических произведениях были лица, «на которых могло бы с любовью отдохнуть сердце читателя», – требование очень естественное; но действительность очень часто не удовлетворяет ему, представляя множество событий, в которых нет «и одного отрадного лица; искусство почти всегда угождает ему; и не знаем, найдется ли, например, в русской литературе, кроме Гоголя, писатель, который бы «в подчинился этому требованию; и у самого Гоголя за недостаток «отрадных» лиц вознаграждают «высоколирические» отступления. Другой пример: человек наклонен к сантиментальности; природа и жизнь не разделяют этого направления; но произведения искусства почти всегда более или менее удовлетворяют ему. То и другое требование – следствие ограниченности человека; природа и действительная жизнь выше этой ограниченности; произведения искусства, подчиняясь ей, становясь этим ниже действительности и даже очень часто подвергаясь опасности впасть в пошлость или в слабость, приближаются к обыкновенным потребностям человека и через это выигрывают в его глазах. «Но в таком случае вы сами соглашаетесь, что произведения искусства лучше, полнее, нежели объективная действительность, удовлетворяют природе человека; следовательно, для человека они лучше произведений действительности». – Заключение, не совсем точно выраженное; дело в том, что искусственно развитой человек имеет много искусственных, исказившихся до лживости, до фантастичности требований, которых нельзя вполне удовлетворить, потому что они в сущности не требования природы, а мечты испорченного воображения, которым почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмешке и презрению от самого того человека, которому стараемся угодить, потому что он сам инстинктивно чувствует, что его требование не стоит удовлетворения. Так публика и вслед за нею эстетика требуют «отрадных» лиц, сантиментальности, – и та же самая публика смеется над произведениями искусства, удовлетворяющими этим желаниям. Угодить прихотям человека не значит еще удовлетворять потребностям человека. Первейшая из этих потребностей – истина.

Мы говорили об источниках предпочтения произведений искусства явлениям природы и жизни относительно содержания и выполнения, но очень важно и впечатление, производимое на нас искусством или действительностью: степень его также измеряется достоинство вещи.

Мы видели, что впечатление, производимое созданиями искусства, должно быть гораздо слабее впечатления, производимого живою действительностью, и не считаем нужным доказывать это. Однако же в этом отношении произведение искусства находится в гораздо благоприятнейших обстоятельствах, нежели явления действительности; и эти обстоятельства могут заставить человека, не привыкшего анализировать причины своих ощущений, предполагать, что искусство само по себе производит на человека более действия, нежели живая действительность. Действительность представляется нашим глазам независимо от нашей воли, большею частью не во-время, некстати. Очень часто мы отправляемся в общество, на гулянье вовсе не за тем, чтобы любоваться человеческою красотой, не за тем, чтобы наблюдать характеры, следить за драмою жизни; отправляемся с заботами в голове, с замкнутым для впечатлений сердцем. Но кто же отправляется в картинную галерею не за тем, чтобы наслаждаться красотой картин? Кто принимается читать роман не

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
за тем, чтобы вникать в характеры изображенных там людей и следить за развитием сюжета? На красоту, на величие действительности мы обыкновенно обращаем внимание почти насильно. Пусть она сама, если может, привлечет на себя наши глаза, обращенные совершенно на другие предметы, пусть она насильно проникнет в наше сердце, занятое совершенно другим. Мы обращаемся с действительностью, как с докучливым гостем, напрашивающимся на наше знакомство: мы стараемся запереться от нее. Но есть часы, когда пусто остается в нашем сердце от нашего же собственного невнимания к действительности, – и тогда мы обращаемся к искусству, умоляя его наполнить эту пустоту; мы сами играем пред ним роль заискивающего просителя. На жизненном пути нашем разбросаны золотые монеты; но мы не замечаем их, потому что думаем о цели пути, не обращаем внимания на дорогу, лежащую под нашими ногами; заметив, мы не можем нагнуться, чтобы собрать их, потому что «телега жизни» неудержимо уносит нас вперед, – вот наше отношение к действительности; но мы приехали на станцию и прохаживаемся в скучном ожидании лошадей – тут мы со вниманием рассматриваем каждую жестяную бляху, которая, быть может, не стоит и внимания, – вот наше отношение к искусству. Не говорим уже о том, что явления жизни каждому приходится оценивать самому, потому что для каждого отдельного человека жизнь представляет особенные явления, которых не видят другие, над которыми поэтому не произносит приговора целое общество, а произведения искусства оценены общим судом. Красота и величие действительной жизни редко являются нам патентованными, а про что не трубит молва, то немногие в состоянии заметить и оценить; явления действительности – золотой слиток без клейма: очень многие откажутся уже по этому одному взять его, очень многие не отличат от куска меди; произведение искусства – банковый билет, в котором очень мало внутренней ценности, но за условную ценность которого ручается все общество, которым поэтому дорожит всякий и относительно которого немногие даже сознают ясно, что вся его ценность заимствована только от того, что он представитель золотого куска. Когда мы смотрим на действительность, она сама занимает нас собою, как нечто совершенно самостоятельное, и редко оставляет нам возможность переноситься мыслями в наш субъективный мир, в наше прошлое. Но когда я смотрю на произведение искусства – тут полный простор моим субъективным воспоминаниям, и произведение искусства для меня обыкновенно бывает только поводом к сознательным или бессознательным мечтам и воспоминанием. Трагическая сцена совершается передо мною в действительности – тогда мне не до того, чтобы вспоминать о себе; но я читаю в романе эпизод о гибели человека – и в моей памяти ясно или смутно воскресают все опасности, в которых я был сам, все случаи гибели близких ко мне людей. Сила искусства есть обыкновенно сила воспоминания. Уж и по самой своей незаконченности, неопределенности, именно по тому самому, что обыкновенно оно только «общее место», а не живой индивидуальный образ или событие, произведение искусства особенно способно вызывать наши воспоминания. Дайте мне законченный портрет человека – он не напомнит мне ни одного из моих знакомых, и я холодно отвернусь, сказав: «недурно», но покажите мне в благоприятную минуту едва набросанный, неопределенный абрис, в котором ни один человек не узнает себя положительным образом, – и этот жалкий, слабый абрис напомнит мне черты кого-нибудь милого мне; и, холодно смотря на живое лицо, полное красоты и выразительности, я в упоении буду смотреть на ничтожный эскиз, говорящий мне обо мне самом.

Сила искусства есть сила общих мест. Есть еще в произведениях искусства сторона, по которой они в неопытных или недалководидных глазах выше явлений жизни и действительности; в них все выставлено напоказ, объяснено самим автором, между тем как природу и жизнь надобно разгадывать собственными силами. Сила искусства – сила комментария; но об этом должны будем говорить мы ниже.

Много нашли мы причин предпочтения, отдаваемого искусству перед действительностью; но все они только объясняют, а не оправдывают это предпочтение. Не соглашаясь, чтобы искусство стояло не только выше действительности, но и наравне с нею по внутреннему достоинству содержания или исполнения, мы, конечно, не можем согласиться с господствующим ныне взглядом на то, из каких потребностей возникает оно, в чем цель его существования, его назначение. Господствующее мнение о происхождении и значении искусства выражается так: «Имея непреодолимое стремление к прекрасному, человек не находит истинно прекрасного в объективной действительности; этим он поставлен в необходимость сам создавать предметы или произведения, которые соответствовали бы его требованию, предметы или явления истинно-прекрасные». Иначе сказать: «Идея прекрасного, не осуществляемая действительностью, осуществляется произведениями искусства». Мы должны анализировать это определение, чтобы открыть истинное значение неполных и односторонних намеков, в нем заключающихся.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
«Человек имеет стремление к прекрасному». Но если под прекрасным понимать то, что понимается в этом определении, – полное согласие идеи и формы, то из стремления к прекрасному надобно выводить не искусство в частности, а вообще всю деятельность человека, основное начало которой – полное осуществление известной мысли; стремление к единству идеи и образа – формальное начало всякой техники, стремление к созданию и усовершенствованию всякого произведения или изделия; выводя из стремления к прекрасному искусство, мы смешиваем два значения этого слова: 1) изящное искусство (поэзия, музыкант, д.) и 2) умение или старание хорошо сделать что-нибудь; только последнее выводится из стремления к единству идеи и формы. Если же под прекрасным должно понимать (как нам кажется) то, в чем человек видит жизнь, – очевидно, что из стремления к нему происходит радостная любовь ко всему живому и что это стремление в высочайшей степени удовлетворяется живою действительностью. «Человек не встречает в действительности истинно и вполне прекрасного». Мы старались доказать, что это несправедливо, что деятельностью нашей фантазии возбуждается не недостатками прекрасного в действительности, а его отсутствием; что действительное прекрасное вполне прекрасно, но, к сожалению нашему, не всегда бывает перед нашими глазами. Если бы произведения искусства возникали вследствие нашего стремления к совершенству и пренебрежения всем несовершенным, человек должен был бы давно покинуть, как бесплодное усилие, всякое стремление к искусству, потому что в произведениях искусства нет совершенства; кто недоволен действительною красотою, тот еще меньше может удовлетвориться красотою, создаваемою искусством. Итак, невозможно согласиться с обыкновенным объяснением значения искусства; но в этом объяснении есть намеки, которые могут быть названы справедливыми, если будут истолкованы надлежащим образом. «Человек не удовлетворяется прекрасным в действительности, ему мало этого прекрасного» – вот в чем сущность и правдивость обыкновенного объяснения, которое, будучи ложно понимаемо, само нуждается в объяснении.

Море прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им недовольны в эстетическом отношении; но не все люди живут близ моря; многим не удается ни разу в жизни взглянуть на него; а им хотелось бы полюбоваться на море – и для них являются картины, изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение; «о, за недостатком лучшего, человек довольствуется и худшим, за недостатком вещи – ее суррогатом. И тем людям, которые могут любоваться морем в действительности, не всегда, когда хочется, можно смотреть «а море, – они вспоминают о нем; но фантазия слаба, ей нужна поддержка, напоминание – и, чтобы оживить свои воспоминания о море, чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значение очень многих (большой части) произведений искусства: дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им «а самом деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем. (Оставляем пока выражение «прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследствии мы подставим вместо термина «прекрасное» другой, которым содержание искусства определяется, по нашему мнению, точнее и полнее.) Итак, первое значение искусства, принадлежащее всем без исключения произведениям его, – воспроизведение природы и жизни. Отношение их к соответствующим сторонам и явлениям действительности таково же, как отношение гравюры к той картине, с которой она снята, как отношение портрета к лицу, им представляемому. Гравюра снимается с картины не потому, чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень хороша; так действительность воспроизводится искусствам не для сглаживания недостатков ее, не потому, что сама по себе действительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думает быть лучше картины, она гораздо хуже ее в художественном отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходуется в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так и предмет прекрасный в действительности доступен не всякому и не всегда; воспроизведенный (слабо, грубо, бледно – это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен всякому и всегда. Портрет снимается с человека, который нам дорог и мил, не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что нам за дело до этих недостатков? они для нас незаметны или милы), но для того, чтобы доставить нам возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда на самом деле оно не перед нашими глазами; такова же цель и значение произведений искусства: они не поправляют действительности, не украшают ее, а

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
воспроизводят, служат ей суррогатом.

Итак, первая цель искусства – воспроизведение действительности. Нисколько не думая, чтобы этими словами было высказано нечто совершенно новое в истории эстетических воззрений, мы, однако же, полагаем, что псевдоклассическая «теория подражания природе», господствовавшая в XVII–XVIII веках, требовала от искусства не того, в чем поставляется формальное начало его определением, заключающимся в словах: «искусство есть воспроизведение действительности». Чтобы за существенное различие нашего воззрения на искусство от понятий, которые имела о нем теория подражания природе, ручались не наши только собственные слова, приведем здесь критику этой теории, заимствованную из лучшего курса господствующей ныне эстетической системы. Критика эта, с одной стороны, покажет различие опровергаемых ею понятий от нашего воззрения, с другой стороны, обнаружит, чего недостает в нашем первом определении искусства, как деятельности воспроизводящей, и таким образом послужит переходом к точнейшему развитию понятий об искусстве.

«В определении искусства как подражания природе показывается только его формальная цель; оно должно, по такому определению, стараться по возможности повторять то, что уже существует во внешнем мире. Такое повторение должно быть признано излишним, так как природа и жизнь уже представляют нам то, что по этому понятию должно представить искусство. Этого мало; подражать природе – тщетное усилие, далеко не достигающее своей цели потому, что, подражая природе, искусство, по ограниченности своих средств, дает только обман вместо истины и вместо действительно живого существа только мертвую маску».

Здесь прежде всего заметим, что словами: «искусство есть воспроизведение действительности», как и фразой; «искусство есть подражание природе», определяется только формальное начало искусства; для определения содержания искусства первый вывод, нами сделанный относительно его цели, должен быть дополнен, и мы займемся этим дополнением впоследствии. Другое возражение нисколько не прилагается к воззрению, нами высказанному: из предыдущего развития видно, что воспроизведение или «повторение» предметов и явлений природы искусством – дело вовсе не излишнее, напротив – необходимое. Переходя к замечанию, что это повторение – тщетное усилие, далеко не достигающее своей цели, надобно сказать, что подобное возражение имеет силу только в том случае, когда предполагается, будто бы искусство хочет соперничать с действительностью, а не просто быть ее суррогатом. Но мы именно то и утверждаем, что искусство не может выдержать сравнения с живою действительностью и вовсе не имеет той жизненности, как реальная действительность; это мы признаем несомненным.

Итак, справедливо, что фраза: «искусство есть воспроизведение действительности», должна быть дополнена для того, чтобы быть всесторонним определением; не исчерпывая в этом виде все содержание определяемого понятия, определение, однако, верно, и возражения против него пока могут быть основаны только на затаенном требовании, чтобы искусство являлось по своему определению выше, совершеннее действительности; объективную неосновательность этого предположения мы старались доказать и потом обнаружили его субъективные основания. Посмотрим, прилагаются ли к нашему воззрению дальнейшие возражения против теории подражания.

«При невозможности полного успеха в подражании природе оставалось бы только самодовольное наслаждение относительным успехом этого фокус-покуса; но и это наслаждение становится тем холоднее, чем больше бывает наружное сходство копии с оригиналом, и даже обращается в пресыщение или отвращение. Есть портреты, похожие на оригинал, как говорится, до отвратительности. Нам тотчас же становится скучным и отвратительным превосходнейшее подражание пению соловья, как скоро мы узнаем, что это не в самом деле пение соловья, а подражание ему какого-нибудь искусника, выделяющего соловьиные трели; потому что от человека мы вправе требовать не такой музыки. Подобные фокусы искуснейшего подражания природе можно сравнить с искусством того фокусника, который без промаха бросал чечевичные зерна сквозь отверстия величиною также не более чечевичного зерна и которого Александр Великий наградил медимном чечевицы».

Эти замечания совершенно справедливы; но относятся к бесполезному и бессмысленному копированию содержания, недостойного внимания, или к рисованию пустой внешности, обнаженной от содержания. (Сколько превозносимых произведений искусства подпадают этой горькой, но заслуженной насмешке!) Содержание,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрёка, будто бы оно – пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто; художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: «да стоило ли трудиться над подобными пустяками?» Бесплезное не имеет права на уважение. «Человек сам себе цель»; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе. Потому–то бесплезное подражание и возбуждает тем большее отвращение, чем совершеннее внешнее сходство: «Зачем потрачено столько времени и труда? – думаем мы, глядя на него: – И так жаль, что такая несостоятельность относительно содержания может совмещаться с таким совершенством в технике!» Скука и отвращение, возбуждаемые фокусником, подражающим соловьиному пению, объясняются самими замечаниями, сопровождающими в критике указание на него: жалок человек, который не понимает, что должен петь человеческую песнь, а не выделять бессмысленные трели. Что касается портретов, сходных до отвратительности, это надобно понимать так: всякая копия, для того, чтобы быть верною, должна передавать существенные черты подлинника; портрет, не передающий главных, выразительнейших черт лица, неверен; а когда мелочные подробности лица переданы при этом отчетливо, лицо на портрете выходит обезображенным, бессмысленным, мертвым – как же ему не быть отвратительным? Часто восстают против так называемого «дагерротипного копирования» действительности, – не лучше ли было бы говорить только, что копия, так же, как и всякое человеческое дело, требует понимания, способности отличать существенные черты от несущественных? «Мертвая копия» – вот обыкновенная фраза; но человек не может скопировать верно, если мертвенность механизма не направляется живым смыслом: нельзя сделать даже верною facsimile, не понимая значения копируемых букв.

Прежде, нежели перейдем к определению существенного содержания искусства, чем дополнится принимаемое нами определение его формального начала, считаем нужным высказать несколько ближайших указаний об отношении теории «воспроизведения» к теории так называемого «подражания». Воззрение на искусство, нами принимаемое, пристокает из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками, и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки. Итак, (непосредственным образом оно связано с двумя системами идей – начала нынешнего века, с одной стороны, последних десятилетий – с другой. Всякое другое соотношение – только простое сходство, не имеющее генетического влияния. Но если понятия древних и старинных мыслителей не могут при настоящем развитии науки иметь влияния на современный образ мыслей, то нельзя не видеть, что во многих случаях современные понятия оказываются сходны с понятиями предшествующих веков. Особенно часто сходятся они с понятиями греческих мыслителей. Таково положение дела и в настоящем случае. Определение формального начала искусства, нами принимаемое, сходно с воззрением, господствовавшим в греческом мире, находимым у Платона, Аристотеля, и, по всей вероятности, высказанным у Демокрита. Их μιμησις соответствует нашему термину «воспроизведение». И если позднее понимали это слово как «подражание» (Nachahmung), то перевод не был удачен, стесняя круг понятия и пробуждая мысль о подделке под внешнюю форму, а не о передаче внутреннего содержания. Псевдоклассическая теория действительно понимала искусство как подделку под действительность с целью обмануть чувства, но это – злоупотребление, принадлежащее только эпохам испорченного вкуса.

Теперь мы должны дополнить выставленное нами выше определение искусства и от рассмотрения формального начала искусства перейти к определению его содержания.

Обыкновенно говорят, что содержание искусства есть прекрасное; но этим слишком стесняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое – моменты прекрасного, то множество произведений искусства не подойдут по содержанию под эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. В живописи не подходят под эти подразделения картины домашней жизни, в которых нет ни одного прекрасного или смешного лица, изображения старика или старухи, не отличающихся особенною старческою красотою, и т. д. В музыке еще труднее провести обыкновенные подразделения; если отнесем марши, патетические пьесы и т. д. к отделу величественного; если пьесы, дышащие любовью или веселостью, причислим к отделу прекрасного; если отыщем много комических песен, то у нас еще останется огромное количество пьес, которые по своему содержанию не могут быть без натяжки причислены ни к одному из этих родов: куда отнести грустные мотивы? неужели к возвышенному, как страдание? или прекрасному, как нежные мечты? Но из всех искусств наиболее противится подведению своего содержания под тесные

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
рубрики прекрасного и его моментов поэзия. Область ее – вся область жизни и природы; точки зрения поэта на жизнь в разнообразных ее проявлениях так же разнообразны, как понятия мыслителя об этих разнохарактерных явлениях; а мыслитель находит в действительности очень многое, кроме прекрасного, возвышенного и комического. Не всякое горе доходит до трагизма; не всякая радость грациозна или комична. Что содержание поэзии не исчерпывается тремя известными элементами, внешним образом видим из того, что ее произведения перестали вмещаться в рамки старых подразделений. Что драматическая поэзия изображает не одно трагическое или комическое, доказывается тем, что, кроме комедии и трагедии, должна была явиться драма. Вместо эпоса, по преимуществу возвышенного, явился роман с бесчисленными своими родами. Для большей части нынешних лирических пьес не отыскивается в старых подразделениях заглавия, которое могло бы обозначить характер содержания; недостаточны сотни рубрик, тем менее можно «сомневаться, что не могут всего обнять три рубрики (мы говорим о характере содержания, а не форме, которая всегда должна быть прекрасна).

Проще всего решить эту запутанность, сказав, что сфера искусства не ограничивается одним прекрасным и его так называемыми моментами, а обнимает собою все, что в действительности (в природе и в жизни) интересует человека – не как ученого, а просто как человека; общеинтересное в жизни – вот содержание искусства. Прекрасное, трагическое, комическое – только три наиболее определенных элемента из тысячи элементов, от которых зависит интерес жизни и перечислить которые значило бы перечислить все чувства, все стремления, от которых может волноваться сердце человека. Едва ли надобно вдаваться в более подробные доказательства принимаемого нами понятия о содержании искусства; потому что если в эстетике предлагается обыкновенно другое, более тесное определение содержания, то взгляд, нами принимаемый, господствует на самом деле, т. е. в самих художниках и поэтах, постоянно высказывается в литературе и в жизни. Если считают необходимою определять прекрасное как преимущественное и, выражаясь точнее, как единственное существенное содержание искусства, то истинная причина этого скрывается в неясном различении прекрасного как объекта искусства от прекрасной формы, которая действительно составляет необходимое качество всякого произведения искусства. Но эта формальная красота или единство идеи и образа, содержания и формы – не специальная особенность, которая отличала бы искусство от других отраслей человеческой деятельности. Действование человека всегда имеет цель, которая составляет сущность дела; по мере соответствия нашего дела с целью, которую мы хотели осуществить им, ценится достоинство самого дела; по мере совершенства выполнения оценивается всякое человеческое произведение. Это общий закон и для ремесел, и для промышленности, и для научной деятельности и т. д. Он применяется и к произведениям искусства: художник (сознательно или беосознательно, все равно) стремится воспроизвести пред нами известную сторону жизни; само собою разумеется, что достоинство его произведения будет зависеть от того, как он выполнил свое дело. «Произведение искусства стремится к гармонии идеи с образом» ни более, «и менее, как произведение сапожного мастерства, ювелирного ремесла, каллиграфии, инженерного искусства, нравственной решимости. «Всякое дело должно быть хорошо выполнено» – вот смысл фразы: «гармония идеи и образа». Итак, 1) прекрасное как единство идеи и образа вовсе не характеристическая особенность искусства в том смысле, какой придает этому слову эстетику; 2) «единство идеи и образа» определяет одну формальную сторону искусства, насколько не относясь к его содержанию; оно говорит о том, как должно быть исполнено, а не о том, что исполняется. Но мы уже заметили, что в этой фразе важно слово «образ», – оно говорит о том, что искусство выражает идею не отвлеченными понятиями, а живым индивидуальным фактом; говоря: «искусство есть воспроизведение природы в жизни», мы говорим то же самое: в природе и жизни нет ничего отвлеченно существующего; в «их все конкретно; воспроизведение должно по мере возможности сохранять сущность воспроизводимого; потому создание искусства должно стремиться к тому, чтобы в нем было как можно менее отвлеченного, чтобы в нем все было, по мере возможности, выражено конкретно, в живых картинах, в индивидуальных образах. (Совершенно другой вопрос: может ли искусство достичь этого вполне? Живопись, скульптура и музыка достигают; поэзия не всегда может и не всегда должна слишком заботиться о пластичности подробностей: довольно и того, когда вообще, в целом, произведение поэзии пластично; излишние хлопоты о пластической отделке подробностей могут повредить единству целого, слишком рельефно очертив его части, и, что еще важнее, будут отвлекать внимание художника от существеннейших сторон его дела.) Красота формы, состоящая в единстве идеи и образа, общая принадлежность «е только искусства (в эстетическом смысле слова), но и всякого человеческого дела, совершенно отлична от идеи прекрасного, как объекта искусства, как предмета нашей радостной любви в

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
действительном мире. Смешение красоты формы, как необходимого качества
художественного произведения, и прекрасного, как одного из многих объектов
искусства, было одною из причин печальных злоупотреблений в искусстве. «Предмет
искусства – прекрасное», прекрасное, во что бы то ни стало, другого содержания
нет у искусства. Что же прекраснее всего на свете? В человеческой жизни –
красота и любовь; в природе – трудно и решить, что именно – так много в ней
красоты. Итак, надобно к стати и некстати наполнять поэтические создания
описаниями природы: чем больше их, тем больше прекрасного в нашем произведении.
Но красота и любовь еще прекраснее – и вот (большую частью совершенно некстати)
на первом плане драмы, повести, романа и т. д. является любовь. Неуместные
распространения о красотах природы еще не так вредны художественному
произведению: их можно выпускать, потому что они приклеиваются внешним образом;
«о что делать с любовною интригою? ее невозможно опустить из внимания, потому
что к этой основе все приплетено гордыевыми узлами, без нее все теряет связь и
смысл. Не говорим уже о том, что влюбленная чета, страдающая или торжествующая,
придает целым тысячам произведений ужасающую монотонность; не говорим и о том,
что эти любовные приключения и описания красоты отнимают место у существенных
подробностей; этого мало: привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь
заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более
интересующие человека вообще; вся поэзия и вся изображаемая в ней жизнь
принимает какой-то сантиментальный, розовый колорит; вместо серьезного
изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то
слишком юный (чтобы удержаться от более точных эпитетов) взгляд на жизнь, и поэт
является обыкновенно молодым, очень молодым юношею, которого рассказы интересны
только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Это,
наконец, роняет искусство в глазах людей, уже вышедших из счастливой поры ранней
юности; искусство кажется им забавою, приторною для развитых людей и не совсем
безопасною для молодежи. Мы вовсе не думаем запрещать поэту описывать любовь; но
эстетика должна требовать, чтобы поэт описывал любовь только тогда, когда хочет
именно ее описывать: к чему выставлять на первом плане любовь, когда дело идет,
собственно говоря, вовсе не о ней, а о других сторонах жизни? К чему, например,
любовь на первом плане в романах, которые собственно изображают быт известного
народа в данную эпоху или быт известных классов народа? В истории, в психологии,
в этнографических сочинениях также говорится о любви, – но только на своем
месте, точно так же как и обо всем. Исторические романы Вальтера Скотта основаны
на любовных приключениях – к чему это? Разве любовь была главным занятием
общества и главною двигательницею событий в изображаемые им эпохи? «Но романы
Вальтера Скотта устарели»; точно так же к стати и некстати наполнены любовью
романы Диккенса и романы Жоржа Санда из сельского быта, в которых опять дело
идет вовсе не о любви. «Пишите о том, о чем вы хотите писать» – правило, которое
редко решаются соблюдать поэты. Любовь к стати и некстати – первый вред,
приистекающий для искусства из понятия, что «содержание искусства – прекрасное»;
второй, тесно с ним соединенный, – искусственность. В наше время подсмеиваются
над Раешном и мадам Дезульер; но едва ли современное искусство далеко ушло от
них в отношении простоты и естественности пружин действия и безыскусственной
натуральности речей; разделение действующих лиц на героев и злодеев до сих пор
может быть прилагаемо к произведениям искусства в патетическом роде; как связно,
плавно, красноречиво объясняются эти лица! Монологи и разговоры в современных
романах немногим ниже монологов классической трагедии: «в художественном
произведении все должно быть облечено красотою» – и нам даются такие глубоко
обдуманые планы действия, каких почти никогда не составляют люди в
настоящей жизни; а если выводимое лицо сделает как-нибудь инстинктивный,
необдуманный шаг, автор считает необходимым оправдывать его из сущности
характера этого лица, а критики остаются недовольны тем, что «действие не
мотивировано» – как будто бы оно мотивируется всегда индивидуальным характером,
а не обстоятельствами и общими качествами человеческого сердца. «Красота требует
законченности характеров» – и вместо лиц живых, разнообразных при всей своей
типичности, искусство дает неподвижные статуи. «Красота художественного
произведения требует законченности разговоров» – и вместо живого разговора
ведутся искусственные беседы, в которых разговаривающие волею и неволею
выказывают свой характер. Следствием всего этого бывает монотонность
произведений поэзии: люди все «а один лад, события развиваются по известным
рецептам, с первых страниц видно, что будет дальше, и не только, что будет, но и
как будет. Возвратимся, однако, к вопросу о существенном значении искусства.

Первое и общее значение всех произведений искусства, сказали мы, –
воспроизведение интересных для человека явлений действительной жизни. Под
действительною жизнью, конечно, понимаются не только отношения человека к

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
предметам и существам объективного мира, но и внутренняя жизнь человека; иногда человек живет мечтами, – тогда мечты имеют для него (до некоторой степени и на некоторое время) значение чего-то объективного; еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если достигают интересности, также воспроизводятся искусством. Мы упомянули об этом, чтобы показать, как нашим определением обнимается и фантастическое содержание искусства.

Но мы говорили выше, что, кроме воспроизведения, искусство имеет еще другое значение – объяснение жизни; до некоторой степени это доступно всем искусствам: часто достаточно обратить внимание «а предмет (что всегда и делает искусство), чтобы объяснить его значение или заставить лучше понять жизнь. В этом смысле искусство ничем не отличается от рассказа о предмете; различие только в том, что искусство вернее достигает своей цели, нежели простой рассказ, тем более ученый рассказ; под формой жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем интересоваться им, «ежели тогда, когда находим сухое указание на предмет. Романы Купера более, нежели этнографические рассказы и рассуждения о важности изучения быта дикарей, познакомили общество с их жизнью. Но если все искусства могут указывать новые интересные предметы, то поэзия всегда по необходимости указывает резким и ясным образом на существенные черты предмета. Живопись воспроизводит предмет со всеми подробностями, скульптура также; поэзия не может обнять слишком много подробностей и, по необходимости выпуская из своих картин очень многое, сосредоточивает наше внимание на удержанных чертах. В этом видят преимущество поэтических картин перед действительностью; но то же самое делает и каждое отдельное слово со своим предметом: в слове (в понятии) также выпущены все случайные и оставлены одни существенные черты предмета; может быть, для неопытного соображения слово яснее самого предмета; но это уяснение есть только ослабление. Мы не отрицаем относительной пользы компендиумов; но не думаем, чтобы «Русская история» Таппе, очень полезная для детей, была лучше «Истории» Карамзина, из которой извлечена. Предмет или событие в поэтическом произведении может быть удобопонятнее, нежели в самой действительности; но мы признаем за ним только достоинство живого и ясного указания на действительность, а не самостоятельное значение, которое могло бы соперничествовать с полнотою действительной жизни. Нельзя не прибавить, что всякий прозаический рассказ делает то же самое, что поэзия. Сосредоточение существенных черт не есть характеристическая особенность поэзии, а общее свойство разумной речи.

Существенное значение искусства – воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора; поэт или художник, не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если б и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями; приговор этот выражается в его произведении, – вот новое значение произведений искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека. Бывают люди, у которых суждение о явлениях жизни состоит почти только в том, что они обнаруживают расположение к известным сторонам действительности и избегают других – это люди, у которых умственная деятельность слаба, когда подобный человек – поэт или художник, его произведения не имеют другого значения, кроме воспроизведения любимых им сторон жизни. Но если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными), будут предложены или разрешены вопросы, возникающие из жизни для мыслящего человека; его произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью. Это направление может находить себе выражение во всех искусствах (напр., в живописи можно указать на карикатуры Гогарта), но преимущественно развивается оно в поэзии, которая представляет полнейшую возможность выразить определенную мысль. Тогда художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное. Само собою разумеется, что в этом отношении произведения искусства не находят себе ничего соответствующего в действительности, – но только по форме; что касается до содержания, до самых вопросов, предлагающихся или разрешаемых искусством, они все найдутся в действительной жизни, только без преднамеренности, без *arrière-pensée*. Предположим, что в произведении искусства развивается мысль: «временное уклонение от прямого пути не погубит сильной натуры», или: «одна крайность вызывает другую»; или изображает распадение человека с самим собою; или, если угодно, борьба страстей с высшими стремлениями

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe (мы указываем различные основные идеи, которые видели в «Фаусте»), – разве не представляются в действительной жизни случаи, в которых развивается то же самое положение? Разве из наблюдения жизни не выводится высокая мудрость? Разве наука не есть простое отвлечение жизни, подведение жизни под формулы? Все, что высказывается наукою и искусством, найдется в жизни, и найдется в полнейшем, совершеннейшем виде, со всеми живыми подробностями, в которых обыкновенно и лежит истинный смысл дела, которые часто не понимаются наукою и искусством, еще чаще не могут быть ими обняты; в действительной жизни все верно, нет недосмотров, нет односторонней узкости взгляда, которою страдает всякое человеческое произведение, – как поучение, как наука, жизнь полнее, правдивее, даже художественнее всех творений ученых и поэтов. Но жизнь не думает объяснять нам своих явлений, не заботится о выводе аксиом; в произведениях науки и искусства это сделано; правда, выводы неполны, мысли односторонни в сравнении с тем, что представляет жизнь; но их извлекли для нас гениальные люди, без их помощи наши выводы были бы еще одностороннее, еще беднее. Наука и искусство (поэзия) – «Handbuch» для начинающего изучать жизнь; их значение – приготовить к чтению источников и потом от времени до времени служить для справок. Наука не думает скрывать этого; не думают скрывать этого и поэты в беглых замечаниях о сущности своих произведений; одна эстетика продолжает утверждать, что искусство выше жизни и действительности.

Соединяя все сказанное, получим следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства – воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также та первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее. Искусство относится к жизни совершенно так же, как история; различие по содержанию только в том, что история говорит о жизни человечества, искусство – о жизни человека, история – о жизни общественной, искусство – о жизни индивидуальной. Первая задача истории – воспроизвести жизнь; вторая, исполняемая не всеми историками, – объяснить ее; не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение – только материал для настоящего историка или чтение для удовлетворения любопытства; думая о второй задаче, историк становится мыслителем, и его творение приобретает чрез это научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать об искусстве. История не думает соперничать с действительною историческою жизнью, сознается, что ее картины бледны, неполны, более или менее неверны или по крайней мере односторонни. Эстетика также должна признать, что искусство точно так же и по тем же самым причинам не должно и думать сравниться с действительностью, тем более превзойти ее красотою.

Но где же творческая фантазия при таком воззрении на искусство? Какая же роль предоставляется ей? Не будем говорить о том, откуда проистекает в искусстве право фантазии видоизменять виденное и слышанное поэтом. Это ясно из цели поэтического создания, от которого требуется верное воспроизведение известной стороны жизни, а не какого-нибудь отдельного случая; посмотрим только, в чем необходимость вмешательства фантазии, как способности переделывать (посредством комбинации) воспринятое чувствами и создавать нечто новое по форме. Предполагаем, что поэт берет из опыта собственной жизни событие, вполне ему известное (это случается не часто; обыкновенно многие подробности остаются мало известны и для связности рассказа должны быть дополнены воображением); предполагаем также, что взятое событие совершенно закончено в художественном отношении, так что простой рассказ о нем был бы вполне художественным произведением, т. е. берем случай, когда вмешательство комбинирующей фантазии кажется наименее нужным. Как бы сильна ни была память, она не в состоянии удержать всех подробностей, особенно тех, которые неважны для сущности дела; но многие из них нужны для художественной полноты рассказа и должны быть заимствованы из других сцен, оставшихся в памяти поэта (напр., ведение разговора, описание местности и т. д.); правда, что дополнение события этими подробностями еще не изменяет его, и различие художественного рассказа от передаваемого в нем события ограничивается пока одною формою. Но этим не исчерпывается вмешательство фантазии. Событие в действительности было перепутано с другими событиями, находившимися с ним только во внешнем сцеплении, без существенной связи; но когда мы будем отделять избранное нами событие от других происшествий и от ненужных эпизодов, мы увидим, что это отделение оставит новые пробелы в жизненной полноте рассказа; поэт опять должен будет восполнять их. Этого мало: отделение не только отнимает жизненную полноту у многих моментов событий, но часто изменяет их характер, – и событие явится в рассказе уже не таким, каково было в действительности, или, для сохранения сущности его, поэт принужден будет изменять многие подробности, которые имеют истинный смысл в

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
событии только при его действительной обстановке, отнимаемой изолирующим
рассказом. Как видим, круг деятельности творческих сил поэта очень мало
стесняется нашими понятиями о сущности искусства. Но предмет нашего исследования
– искусство как объективное произведение, а не субъективная деятельность поэта;
потому было бы неуместно вдаваться в исчисление различных отношений поэта к
материалам его произведения: Мы показали одно из этих отношений, наименее
благоприятствующее самостоятельности поэта и нашли, что при нашем воззрении на
сущность искусства художник и в этом положении не теряет существенного
характера, принадлежащего не поэту или художнику в частности, а вообще человеку
во всей его деятельности, – того существеннейшего человеческого права и
качества, чтобы смотреть на объективную действительность только как на материал,
только как на поле своей деятельности, и, пользуясь ею, подчинять ее себе. Еще
обширнее круг вмешательства комбинирующей фантазии при других обстоятельствах:
когда, например, поэту не вполне известны подробности события, когда он знает о
нем (и действующих лицах) только, по чужим рассказам, всегда односторонним,
неверным или неполным в художественном отношении, по крайней мере с личной точки
зрения поэта. Но необходимость комбинировать и видоизменять проистекает не из
того, чтобы действительная жизнь не представляла (и в гораздо лучшем виде) тех
явлений, которые хочет изобразить поэт или художник, а из того, что картина
действительной жизни принадлежит не той сфере бытия, как действительная жизнь;
различие рождается оттого, что поэт не располагает теми средствами, какими
располагает действительная жизнь. При переложении оперы для фортепиано теряется
большая и лучшая часть подробностей и эффектов; многое решительно не может быть
с человеческого голоса или с полного оркестра переведено на жалкий, бедный,
мертвый инструмент, который должен по мере возможности воспроизвести оперу;
потому при аранжировке многое должно быть переделываемо, многое дополняемо – не
с тою надеждою, что в аранжировке опера выйдет лучше, нежели в первоначальном
своем виде, а для того, чтобы сколько-нибудь вознаградить необходимую порчу
оперы при аранжировке; не потому, чтобы аранжировщик исправлял ошибки
композитора, а просто потому, что он не располагает теми средствами, какими
владеет композитор. Еще больше различия в средствах действительной жизни и
поэта. Переводчик поэтического произведения с одного языка на другой должен до
некоторой степени переделывать переводимое произведение; как же не являться
необходимости переделки при переводе события с языка жизни на скучный, бледный,
мертвый язык поэзии?

Апология действительности сравнительно с фантазией, стремление доказать, что
произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живой
действительностью, вот сущность этого рассуждения. Говорить об искусстве так,
как говорит автор, не значит ли унижать искусство? – да, если показывать, что
искусство ниже действительной жизни по художественному совершенству своих
произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не
значит еще быть хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не
стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это
не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее – понять и
объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения;
пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения
человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого
действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность
и ко благу человека объяснить ее.

Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае
отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека
учебником жизни.

Действительность выше мечты, и существенное значение выше фантастических
притязаний.

Задачу автора было исследовать вопрос об эстетических отношениях произведений
искусства к явлениям жизни, рассмотреть справедливость господствующего мнения,
будто бы истинно прекрасное, которое принимается существенным содержанием
произведений искусства, не существует в объективной действительности и
осуществляется только искусством. С этим вопросом неразрывно связаны вопросы о
сущности прекрасного и о содержании искусства. Исследование вопроса о сущности
прекрасного привело автора к убеждению, что прекрасное есть – жизнь. После
такого решения надобно было исследовать понятия возвышенного и трагического,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
которые, по обыкновенному определению прекрасного, подходят под него, как
моменты, и надобно было признать, что возвышенное и прекрасное – не подчиненные
друг другу предметы искусства. Это уже было важным пособием для решения вопроса
о содержании искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то сам собою решается
вопрос об эстетическом отношении прекрасного в искусстве к прекрасному в
действительности. Пришедши к выводу, что искусство не может быть обязано своим
происхождением недовольству человека прекрасным в действительности, мы должны
были отыскивать, вследствие каких потребностей возникает искусство, и
исследовать его истинное значение. Вот главнейшие из выводов, к которым привело
это исследование:

- 1) Определение прекрасного: «прекрасное есть полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении» – не выдерживает критики; оно слишком широко, будучи определением формального стремления всякой человеческой деятельности.
- 2) Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное есть жизнь»; прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором си видит жизнь, как он ее понимает; прекрасный предмет – тот предмет, который напоминает ему о жизни.
- 3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличать от совершенства формы, которое состоит в единстве идеи и формы, или в том, что предмет вполне удовлетворяет своему назначению.
- 4) Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает идею абсолютного; оно почти никогда не пробуждает ее.
- 5) Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком.
- 6) Трагическое не имеет существенной связи с идею судьбы или необходимости. В действительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма необходимости, в которую облачается оно искусством, – следствие обыкновенного принципа произведений искусства: «развязка должна вытекать из завязки», или неуместное подчинение поэта понятиям о судьбе.
- 7) Трагическое по понятиям нового европейского образования есть «ужасное в жизни человека».
- 8) Возвышенное (и момент его, трагическое) не есть видоизменение прекрасного; идеи возвышенного и прекрасного совершенно различны между собою; между ними нет ни внутренней связи, ни внутренней противоположности.
- 9) Действительность не только живет, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии – только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности.
- 10) Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно.
- 11) Прекрасное в объективной действительности совершенно удовлетворяет человека.
- 12) Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки прекрасного в действительности.
- 13) Создания искусства ниже прекрасного в действительности не только потому, что впечатление, производимое действительностью, живет впечатления, производимого созданиями искусства: создания искусства ниже прекрасного (точно так же, как ниже возвышенного, трагического, комического) в действительности и с эстетической точки зрения.
- 14) Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова, прекрасного по живой сущности своей, а не только по совершенству формы: искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни.
- 15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет характеристической черты искусства в эстетическом смысле слова (изящных искусств); прекрасное как единство идеи и образа, или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем смысле слова или «уменья», цель всякой практической деятельности человека.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe

16) Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности.

17) Воспроизведение жизни – общий, характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение – объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни.

Эстетические отношения искусства к действительности
(авторрецензия)

Соч. Н. Чернышевского, СПб. 1855

Системы понятий, из которых развились господствующие доселе эстетические идеи, уступили ныне место другим воззрениям на мир и человеческую жизнь, быть может, менее заманчивым для фантазии, но более сообразным с выводами, которые дает строгое, непредубежденное исследование фактов при настоящем развитии естественных, исторических и нравственных наук. Автор рассматриваемой нами книги думает, что при тесной зависимости эстетики от общих наших понятий о природе и человеке, с изменением этих понятий должна подвергнуться преобразованию и теория искусства. Мы не беремся решить, до какой степени справедлива его собственная теория, предлагаемая в замену прежней, – это решит время, и сам г. Чернышевский признается, что «в его изложении может найтись неполнота, недостаточность или односторонность»; но действительно, надобно согласиться, что господствующие эстетические убеждения, лишенные современным анализом метафизических оснований, на которых так самоуверенно возвысились в конце предыдущего и начале нынешнего века, должны искать себе других опор или уступить место другим понятиям, если не будут вновь подтверждены строгим анализом. Автор положительно уверен, что теория искусства должна получить новый вид, – мы готовы предположить, что это так и должно быть, потому что трудно устоять отдельной части общего философского здания, когда оно все перестраивается. В каком же духе должна измениться теория искусства? «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам – вот характер направления, господствующего ныне в науке», говорит он, и ему кажется, что «необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения». Чтобы достичь этой цели, сначала он подвергает анализу прежние понятия о сущности прекрасного, возвышенного, трагического, об отношении фантазии к действительности, о превосходстве искусства над действительностью, о содержании и существенном значении искусства, или о потребности, из которой происходит стремление человека к созданию произведений искусства. Обнаружив, как ему кажется, что эти понятия не выдерживают критики, он из анализа фактов старается извлечь новые понятия, по его мнению, более соответствующие общему характеру идей, принимаемых наукою в наше время. Мы сказали уже, что не беремся решать, до какой степени справедливы или несправедливы мнения автора, и ограничимся только изложением их, замечая недостатки, особенно поразившие нас. Литература и поэзия имеют для нас, русских, такое огромное значение, какого, можно сказать наверное, не имеют нигде, и потому вопросы, которых касается автор, заслуживают, кажется нам, внимания читателей.

Но действительно ли заслуживают? – в этом очень позволительно усомниться, потому что и сам автор, повидимому, не совершенно в том уверен. Он считает нужным оправдываться в выборе предмета для своего исследования:

«Ныне век монографий, – говорит он в предисловии, – и мое сочинение может подвергаться упреку в несовременности. Зачем автор избрал такой общий, такой обширный вопрос, как эстетические отношения искусства к действительности, предметом своего исследования? Почему не избрал он какого-нибудь специального вопроса, как это ныне большею частью делается?» «Автору кажется, – отвечает он в свое оправдание, – что бесполезно толковать об основных вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них ничего нового и основательного. Но когда выработаны материалы для нового воззрения на основные вопросы нашей специальной науки, и можно, и должно высказать эти основные идеи, если еще стоит говорить об

ний в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe «Эстетике».

А нам кажется, что автор или не совершенно ясно понимает положение дела, или очень скрытен. Нам кажется, что напрасно не подражал он одному писателю, который к своим сочинениям сочинил следующего рода предисловие:

«Мои сочинения – обветшалый хлам, потому что ныне вовсе не следует толковать о предметах, сущность которых разоблачается мною; но так как многие не находят для своего ума более живого занятия, то для них будет бесполезно предпринимаемое мною издание»

Если бы г. Чернышевский решился последовать этой примерной откровенности, то он мог бы сказать в предисловии так: «Признаюсь, что нет особенной необходимости распространяться об эстетических вопросах в наше время, когда они стоят в науке на втором плане; но так как многие пишут о предметах, имеющих еще гораздо менее внутреннего содержания, то и я имел полное право писать об эстетике, неоспоримо представляющей для мысли хотя некоторый интерес». Он мог бы также сказать: «Конечно, есть науки, интересные более эстетики; но мне о них не удалось написать ничего; не пишут о них и другие; а так как «за недостатком лучшего человек довольствуется и худшим» («Эстетические отношения искусства к действительности», стр. 86), то и вы, любезные читатели, удовольствуйтесь «Эстетическими отношениями искусства к действительности». Такое предисловие было бы откровенно и прекрасно.

Действительно, эстетика может представить некоторый интерес для мысли, потому что решение задач ее зависит от решения других, более интересных вопросов, и мы надеемся, что с этим согласится каждый, знакомый с хорошими сочинениями по этой науке. Но г. Чернышевский слишком бегло проходит пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системою понятий о природе и жизни. Излагая господствующую теорию искусства, он почти не говорит о том, на каких общих основаниях она построена, и разбирает по листочку только ту ветвь «мысленного дерева» (следуя примеру некоторых доморощенных мыслителей, употребим выражение «Слова о полку Игореве»), которая специально его занимает, не объясняя нам, что это за дерево, породившее такую ветвь, хотя известно, что подобные умолчания нимало не выгодны для ясности. Точно так же, излагая собственные эстетические понятия, он подтверждает их только фактами, заимствованными из области эстетики, не излагая общих начал, из приложений которых к эстетическим вопросам образовалась его теория искусства, хотя, по собственному выражению, только «приводит эстетические вопросы к тому знаменателю, который дается современными понятиями науки о жизни и мире». Это, по нашему мнению, важный недостаток, и он причиною того, что внутренний смысл теории, принимаемой автором, может для многих показаться темным, а мысли, развиваемые автором, – принадлежащими лично автору, – на что он, по нашему мнению, не может иметь ни малейшего притязания: он сам говорит, что если прежняя теория искусства, им отвергаемая, сохраняется доселе в курсах эстетики, то «взгляд, им принимаемый, постоянно высказывается в литературе и в жизни» (стр. 92). Он сам говорит: «Воззрение на искусство, нами принимаемое, происходит из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками (и опровергаемых автором), и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки. Итак, непосредственным образом связано оно с двумя системами идей – начала нынешнего века, с одной стороны, последних (двух, – прибавим от себя) десятилетий – с другой» (стр. 90). Как же после этого, спрашиваем мы, не изложить, насколько то нужно, этих двух систем общего воззрения на мир? Ошибка, совершенно непонятная для каждого, кроме, быть может, самого автора, и во всяком случае чрезвычайно ощутительная.

Приняв на себя роль простого излагателя теории, предлагаемой автором, рецензент должен исполнить то, что должен был бы сделать, но не сделал он сам для объяснения своих мыслей.

В последнее время довольно часто различаются «действительные, серьезные, истинные» желания, стремления, потребности человека от «мнимых, фантастических, праздных, не имеющих действительного значения в глазах самого человека, их высказывающего или воображающего иметь их». В пример человека, у которого очень развиты мнимые, фантастические стремления, на самом деле совершенно ему чуждые, можно указать превосходное лицо Грушницкого в «Герое нашего времени». Этот забавный Грушницкий из всех сил хлопочет, чтобы чувствовать то, чего вовсе не чувствует, достичь того, чего ему в сущности вовсе не нужно. Он хочет быть

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
ранен, он хочет быть простым солдатом, хочет быть несчастлив в любви, приходит в отчаяние и т. д., – он не может жить, не обладая этими обольстительными для него качествами и благами. Но какую горестью поразила б его судьба, если б вздумала исполнить его желания! Он отказался бы навсегда от любви, если б думал, что какая бы то ни было девушка может не влюбиться в него. Он втайне мучится тем, что он еще не офицер, не помнит себя от восторга, когда получает известие о желанном производстве, и с презрением бросает свой прежний, костюм, которым на словах так гордился. В каждом человеке есть частица Грушницкого. Вообще, у человека при фальшивой обстановке бывает много фальшивых желаний. Прежде не обращали внимания на это важное обстоятельство, и как скоро замечали, что человек имеет склонность мечтать о чем бы то ни было, тотчас же провозглашали всякую прихоть болезненного или праздного воображения коренною и неотъемлемою потребностью человеческой природы, необходимо требующею себе удовлетворения. И каких неотъемлемых потребностей не находили в человеке! Все желания и стремления человека объявлены были безграничными, ненасытными. Теперь это делается с большею осмотрительностью. Теперь рассматривают, при каких обстоятельствах развиваются известные желания, при каких обстоятельствах они затихают. В результате оказался очень скромный, но с тем вместе и очень утешительный факт: в сущности, потребности человеческой природы очень умеренны; они достигают фантастически громадного развития только вследствие крайности, только при болезненном раздражении человека неблагоприятными обстоятельствами, при совершенном отсутствии сколько-нибудь порядочного удовлетворения. Даже самые страсти человека «кипят бурным потоком» только тогда, когда встречаются слишком много препятствий; а когда человек поставлен в благоприятные обстоятельства, страсти его перестают клокотать и, сохраняя свою силу, теряют беспорядочность, всепожирающую жадность и разрушительность. Здоровый человек вовсе не прихотлив. У г. Чернышевского приведено – случайно и в разных местах его исследования – несколько подобных примеров. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», говорит он, ложно в том смысле, в каком обыкновенно понимается, в смысле, что «никакая действительность не может удовлетворить их»; напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что может быть в действительности», но и довольно посредственною действительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самом деле, от того, что только говорится. Желания раздражаются мечтательным образом до горячего напряжения только при совершенном отсутствии здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это факт, доказываемый всею историею человечества и испытанный на себе каждым, кто жил и наблюдал себя. Он составляет частный случай общего закона человеческой жизни, что страсти достигают неумеренного развития только вследствие ненормального положения предающегося им человека и только в том случае, когда естественная и в сущности довольно спокойная потребность, из которой возникает та или другая страсть, слишком долго не находила себе соответственного удовлетворения, спокойного и далеко не титанического. Несомненно то, что организм человека не требует и не может выносить слишком бурных и слишком напряженных удовлетворений; несомненно и то, что в здоровом человеке стремления соразмерны с силами организма. Надобно только заметить, что под «здоровьем» человека здесь понимается и нравственное здоровье. Горячка, жар бывает вследствие простуды; страсть, нравственная горячка, такая же болезнь и так же овладевает человеком, когда он подвергся разрушительному влиянию неблагоприятных обстоятельств. За примерами ходить не далеко: страсть, по преимуществу «любовь», какая описывается в сотнях трескучих романов, теряет свою романтическую бурливость, как скоро препятствия отстранены и любящаяся чета соединилась браком; значит ли это, что муж и жена любят друг друга менее сильно, нежели любили в бурный период, когда их соединению мешали препятствия? Во все нет; каждому известно, что если муж и жена живут согласно и счастливо, то взаимная привязанность их усиливается с каждым годом и, наконец, достигает такого развития, что они буквально «не могут жить друг без друга», и если одному из них случится умереть, то для другого жизнь навеки теряет свою прелесть, теряет в буквальном смысле слова, а не только на словах. А между тем эта чрезвычайно сильная любовь действительно не представляет ничего бурного. Почему? Потому только, что ей не мешают препятствия. Фантастически неумеренные мечты овладевают нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человек может мечтать о пуховике из гагачьего пуха (продолжает г. Чернышевский); здоровый человек, у которого есть хотя не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель, не находит ни повода, ни влечения мечтать о гагачьих пуховиках. Если человеку пришлось жить среди сибирских тундр, он может мечтать о волшебных садах с невиданными на земле деревьями, у которых коралловые ветви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но, переселившись не далее как в Курскую или Киевскую губернию, получив полную возможность гулять досыта по небогатому, но порядочному саду с

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
яблонями, вишнями, грушами, мечтатель наверное забудет не только о садах «Тысячи и одной ночи», но и лимонных рощах Испании. Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства: отсутствие удовлетворительной обстановки в действительности – источник жизни в фантазии. Но едва делается действительность сносною, скучны и бледны кажутся нам перед нею все мечты воображения. Этот неоспоримый факт, что самые роскошные и блестящие, по-видимому, мечты забываются и покидаются нами, как неудовлетворительные, как скоро окружают нас явления действительной жизни, служит несомненным свидетельством того, что мечты воображения далеко уступают своею красотой и привлекательностью тому, что представляет нам действительность. В этом понятии состоит одно из существеннейших различий между устаревшим мирозерцанием, под влиянием которого возникали трансцендентальные системы науки, и нынешним воззрением науки на природу и жизнь. Ныне наука признает высокое превосходство действительности перед мечтою, узнав бледность и неудовлетворительность жизни, погруженной в мечты фантазии; прежде, без строгого исследования, принимали, что мечты воображения в самом деле выше и привлекательнее явлений действительной жизни. В литературной области это прежнее предпочтение мечтательной жизни выразилось романтизмом.

Но, как мы говорили, прежде не обращали внимания на различие между фантастическими мечтами и истинными стремлениями человеческой природы, между потребностями, удовлетворения которых действительно требуют ум и сердце человека, и воздушными замками, в которых человек не захотел бы жить, если бы они существовали, потому что в них нашел бы он только пустоту, холод и голод. Мечты праздной фантазии очень, по-видимому, блестящи; желания здоровой головы и здорового сердца очень умеренны; потому, пока анализ не показал, как бледны и жалки мечты фантазии, разгулявшейся на пустом просторе, мыслители обманывались их мнимо блестящими красками и ставили их выше действительных предметов и явлений, какие встречает человек в жизни. Но действительно ли силы нашей фантазии так слабы, что не могут вознестись выше предметов и явлений, которые мы знаем из опыта? В этом очень легко убедиться. Пусть каждый попробует вообразить себе, например, красавицу, черты лица которой были бы лучше, нежели черты прекрасных лиц, виденных им в действительности, – каждый, если только внимательно будет рассматривать образы, создать которые силится его воображение, заметит, что эти образы нисколько не лучше лиц, которые мог он видеть своими глазами, что можно только думать: «я хочу вообразить себе человеческое лицо прекраснее живых лиц, которые я видел», но в самом деле представить себе в воображении что-либо прекраснее этих лиц он не может. Воображение, если захочет возвыситься над действительностью, будет рисовать только чрезвычайно неясные, смутные очерки, в которых мы ничего определенного и действительно привлекательного не можем уловить. То же самое повторяется и во всех других случаях. Я не могу ясно и определенно вообразить себе, например, кушанье, которое было бы вкуснее тех блюд, которые мне случалось есть в действительности; света ярче того, какой видел я в действительности (так мы, жители Севера, по общему отзыву всех путешественников, не можем иметь ни малейшего понятия об ослепительном свете, проникающем атмосферу тропических стран); не можем вообразить ничего лучше той красоты, которую видели, ничего выше тех наслаждений, какие испытали в действительной жизни. У г. Чернышевского мы находим и эту мысль, но она опять высказана только случайно и вскользь, без надлежащего развития: силы творческой фантазии, говорит он, очень ограничены; она может только составлять предметы из разнородных частей (напр., вообразить лошадь с птичьими крыльями) или увеличить предмет в объеме (напр., представить орла величиною с слона); но интенсивнее (т. е. прекраснее по красоте, ярче, живее, прелестнее и т. д.) того, что мы видели или испытали в действительной жизни, мы ничего не можем вообразить. Я могу представить себе солнце гораздо большим по величине, нежели каково оно кажется в действительности, но ярче того, как оно являлось мне в действительности, я не могу его вообразить. Точно так же я могу представить себе человека выше ростом, толще и т. д., нежели те люди, которых я видел; но лица прекраснее тех лиц, которые случалось мне видеть в действительности, я не могу вообразить. Между тем говорить можно все, что захочется; можно сказать: железное золото, теплый лед, сахарная горечь и т. д. – правда, воображение наше не может себе представить теплого льда, железного золота, и потому фразы эти остаются для нас совершенно пустыми, не представляющими для фантазии никакого смысла; но если не вникнуть в то обстоятельство, что подобные праздные фразы остаются непостижимы для фантазии, напрасно усиливающейся представить предметы, о которых они говорят, то, смешав пустые слова с доступными для фантазии представлениями, можно подумывать, будто бы

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe «мечты фантазии гораздо богаче, полнее, роскошнее действительности».

По этой-то ошибке доходили до мнения, что фантастические (нелепые, и потому темные для самой фантазии) мечты должны быть считаемы истинными потребностями человека. Все высокопарные, но в сущности не имеющие смысла, сочетания слов, какие придумываются праздным воображением, были объявлены в высочайшей степени привлекательными для человека, хотя на самом деле он просто забавляется ими от нечего делать и не воображает себе под ними ничего, имеющего ясный смысл. Было даже объявлено, что действительность пуста и ничтожна пред этими мечтами. В самом деле, какая жалкая вещь – действительное яблоко в сравнении с алмазными и рубиновыми плодами аладдиновых садов, какие жалкие вещи действительное золото и действительное железо в сравнении с золотым железом, этим дивным металлом, который блестящ и не подвержен ржавчине, как золото, дешев и тверд, как железо! Как жалка красота живых людей, наших родных и знакомых, в сравнении с красотой дивных существ воздушного мира, этих невыразимо, невообразимо прекрасных серпид, гурий, пери и им подобных! Как же не сказать, что действительность ничтожна перед тем, к чему стремится фантазия? Но при этом упущено из виду одно: мы решительно не можем себе представить этих гурий, пери и серпид иначе, как с очень обыкновенными чертами действительных людей, и сколько бы мы ни твердили своему воображению: «представь мне нечто прекраснее человека!» – оно все-таки представляет нам человека, и только человека, хотя и говорит хвастливо, что воображает не человека, а какое-то более прекрасное существо; или, если порывается создать что-нибудь самостоятельное, не имеющее себе соответствия в действительности, в бессилии падает, давая нам такой туманный, бледный и неопределенный фантом, в котором ровно ничего нельзя рассмотреть. Это заметила наука в последнее время и признала основным фактом и в науке и во всех остальных областях человеческой деятельности, что человек не может вообразить себе ничего выше и лучше того, что встречается ему в действительности. А чего не знаешь, о чем не имеешь ни малейшего понятия, того нельзя и желать.

Пока не был признан этот важный факт, фантастическим мечтам верили, в буквальном смысле, «на-слово», не исследуя, представляют ли эти слова какой-нибудь смысл, дают ли они что-нибудь похожее на определенный образ, или остаются пустыми словами. Их высокопарность почитали ручательством за превосходство этих пустых фраз над действительностью и все человеческие потребности и стремления объясняли стремлением к туманным и лишенным всякого существенного значения фантомам. То была пора идеализма в обширнейшем смысле слова.

К числу призраков, внесенных в науку таким образом, принадлежал призрак фантастического совершенства: «человек удовлетворяется только абсолютным, он требует безусловного совершенства». У г. Чернышевского опять встречаем в нескольких местах краткие и беглые замечания об этом. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», – говорит он (стр. 39), – мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать (как и понимают) такой вид предмета, который бы совмещал все возможные достоинства и был чужд всех недостатков, каких от нечего делать может искать в нем праздная фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. Нет, – продолжает он в другом месте (стр. 48), – практическая жизнь человека убеждает нас, что он ищет только приблизительного совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенством. Человек ищет только «хорошего», а не «совершенного». Совершенства требует только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными вычислениями. Требовать совершенства в какой бы то ни было сфере жизни – дело отвлеченной, болезненной или праздной фантазии. Мы хотим дышать чистым воздухом; но замечаем ли мы, что абсолютно чист воздух не бывает нигде и никогда? Ведь в нем всегда есть примесь ядовитой углекислоты и других вредных газов; но их так мало, что они не действуют на наш организм, и потому они нисколько не мешают нам. Мы хотим пить чистую воду; но в воде рек, ручьев, ключей всегда есть минеральные примеси, – если их мало (как всегда и бывает в хорошей воде), они вовсе не мешают нашему наслаждению при утолении жажды водою. А совершенно чистая (дистиллированная) вода даже неприятна для вкуса. Эти примеры слишком материальны? Приведем другие. Разве кому приходила мысль называть не ученым, невеждою человека, которому не все в мире известно? Нет, мы и не ищем человека, которому было бы известно все; мы требуем от ученого только, чтобы ему было известно все существенное и, кроме того, многие (хотя далеко не все) подробности. Разве мы недовольны, напр., историческою книгою, в которой не все решительно вопросы объяснены, не все решительно подробности приведены, не все до одного взгляды и слова автора абсолютно справедливы? Нет, мы довольны, и чрезвычайно довольны книгою, когда в ней разрешены главные вопросы, приведены

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe самонужнейшие подробности, когда главные мнения автора справедливы и в книге его очень мало неверных или неудачных объяснений. Одним словом, потребностями человеческой природы удовлетворяет «порядочное», а фантастического совершенства ищет только праздная фантазия. Чувства наши, наш ум и сердце ничего о нем не знают, да и фантазия только твердит о нем пустые фразы, а живого, определенного представления о нем также не имеет.

Итак, наука в последнее время дошла до необходимости строго различать истинные потребности человеческой природы, которые ищут и имеют право находить себе удовлетворение в действительной жизни, от мнимых, воображаемых потребностей, которые остаются и должны оставаться праздными мечтами. У г. Чернышевского несколько раз встречаем беглые намеки на эту необходимость, а однажды он дает этой мысли даже некоторое развитие. «Искусственно развитый человек (т. е. испорченный своим противоестественным положением среди других людей) имеет много искусственных, исказившихся до лживости, до фантастичности требований, которым нельзя вполне удовлетворять, потому что они в сущности не требования природы его, а мечты испорченного воображения, которым почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмешке и презрению от самого того человека, которому стараемся угождать, потому что он сам инстинктивно чувствует, что его требование не стоит удовлетворения» (стр. 82).

Но если так важно различать мнимые, воображаемые стремления, участь которых – оставаться смутными грезами праздной или болезненно раздраженной фантазии, от действительных и законных потребностей человеческой природы, которые необходимо требуют удовлетворения, то где же признак, по которому безошибочно могли бы мы делать это различение? Кто будет судьей в этом, столь важном случае? – Приговор дает сам человек своею жизнью; «практика», этот непреложный пробный камень всякой теории, должна быть руководительницею нашею и здесь. Мы видим, что одни из наших желаний радостно стремятся навстречу удовлетворению, напрягают все силы человека, чтобы осуществиться в действительной жизни, – это истинные потребности нашей природы. Другие желания, напротив, боятся соприкосновения с действительною жизнью, робко стараются укрываться от нее в отвлеченном царстве мечтаний – это мнимые, фальшивые желания, которым не нужно исполнение, которые и обольстительны только под тем условием, чтоб не встречать удовлетворения себе, потому что, выходя на «белый свет» жизни, они обнаружили бы свою пустоту и непригодность для того, чтобы на самом деле соответствовать потребностям человеческой природы и условиям его наслаждения жизнью. «Дело есть истина мысли». Так, например, на деле узнается, справедливо ли человек думает и говорит о себе, что он храбр, благороден, правдив. Жизнь человека решает, какова его натура, она же решает, каковы его стремления и желания. Вы говорите, что проголодались? – Посмотрим, будете ли вы прихотничать за столом. Если вы откажетесь от простых блюд и будете ждать, пока приготовят индейку с трюфелями, у вас голод не в желудке, а только на языке. Вы говорите, что вы любите науку, – это решается тем, занимаетесь ли вы ею. Вы думаете, что вы любите искусство? Это решается тем, часто ли вы читаете Пушкина, или его сочинения лежат на вашем столе только для виду; часто ли вы бываете в своей картинной галерее, – бываете наедине, сам с собою, а не только вместе с гостями, – или вы собрали ее только для хвастовства перед другими и самим собою любовью к искусству. Практика – великая разоблачительница обманов и самообольщений не только в практических делах, но также в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критерием всех спорных пунктов. «Что подлежит спору в теории, на чистоту решается практикою действительной жизни».

Но понятия эти остались бы для многих неопределенны, если бы мы не упомянули здесь о том, какой смысл имеют в современной науке слова «действительность» и «практика». Действительность обнимает собою не только мертвую природу, но и человеческую жизнь, не только настоящее, но и прошедшее, насколько оно выразилось делом, и будущее, насколько, оно готовится настоящим. Дела Петра Великого принадлежат действительности; оды Ломоносова принадлежат ей не менее, нежели его мозаичные картины. Не принадлежат ей только праздные слова людей, которые говорят: «я хочу быть живописцем» – и не изучают живописи, «я хочу быть поэтом» – и не изучают человека и природу. Не мысль противоположна действительности, – потому что мысль порождается действительностью и стремится к осуществлению, потому составляет неотъемлемую часть действительности, – а праздная мечта, которая родилась от безделья и остается забавою человеку, любящему сидеть, сложа руки и зажмурив глаза. Точно так же и «практическая жизнь» обнимает собою не одну материальную, но и умственную и нравственную деятельность человека.

Теперь может быть ясно различие между прежними, трансцендентальными системами, которые, доверяя фантастическим мечтам, говорили, что человек ищет повсюду абсолютного и, не находя его в действительной жизни, отвергает ее как неудовлетворительную, которые ценили действительность на основании туманных грез фантазии, и между новыми воззрениями, которые, признав бессилие фантазии, отвлекающейся от действительности, в своих приговорах о существенной ценности для человека различных его желаний руководятся фактами, которые представляет действительная жизнь и деятельность человека.

Г. Чернышевский совершенно принимает справедливость современного направления науки и, видя, с одной стороны, несостоятельность прежних метафизических систем, с другой стороны, неразрывную связь их с господствующей теорией эстетики, выводит из этого, что господствующая теория искусства должна быть заменена другою, более сообразною с новыми воззрениями науки на природу и человеческую жизнь. Но прежде, нежели займемся изложением его понятий, составляющих только применение общих воззрений нового времени к эстетическим вопросам, мы должны объяснить отношения, связывающие новые воззрения со старыми в науке вообще. Часто мы видим, что продолжатели ученого труда встают против своих предшественников, труды которых служили исходною точкою для их собственных трудов. Так Аристотель враждебно смотрел на Платона, так Сократ безгранично унижал софистов, продолжателем которых был. В новое время этому также найдется много примеров. Но бывают иногда отрадные случаи, что основатели новой системы понимают ясно связь своих мнений с мыслями, которые находятся у их предшественников, и скромно называют себя их учениками; что, обнаруживая недостаточность понятий предшественников, они с тем вместе ясно высказывают, как много содействовали эти понятия развитию их собственной мысли. Таково было, например, отношение Спинозы к Декарту. К чести основателей современной науки должно сказать, что они с уважением и почти сыновнею любовью смотрят на своих предшественников, вполне признают величие их гения и благородный характер их учения, в котором показывают зародыши собственных воззрений. Г. Чернышевский понимает это и следует примеру людей, мысли которых применяет к эстетическим вопросам. Его отношение к эстетической системе, недостаточность которой он старается доказать, вовсе не враждебно; он признает, что в ней заключаются зародыши и той теории, которую старается построить он сам, что он только развивает существенно важные моменты, которые находили место и в прежней теории, но в противоречии с другими понятиями, которым она приписывала более важности и которые кажутся ему не выдерживающими критики. Он постоянно старается показать тесное родство своей системы с прежнею системою, хотя не скрывает, что есть между ними и существенное различие. Это положительно высказывает он в нескольких местах, из которых приведем одно: «Принимаемое мною понятие возвышенного (говорит он на стр. 21) точно так же относится к прежнему понятию, мною отвергаемому, как предлагаемое мною определение прекрасного к прежнему взгляду, мною опровергаемому: в обоих случаях возводится на степень общего и существенного начала то, что прежде считалось частным и второстепенным признаком, было закрываемо от внимания другими понятиями, которые мною отвергаются, как побочные».

Излагая эстетическую теорию г. Чернышевского, рецензент не будет произносить окончательного суждения о справедливости или несправедливости мыслей автора в чисто эстетическом отношении. Рецензент занимался эстетикою только как частью философии, потому предоставляет суждение о частных мыслях г. Чернышевского людям, которые могут основательно судить о них с точки зрения специально эстетической, чуждой рецензенту. Но ему кажется, что существенное значение эстетическая теория автора имеет именно как приложение общих воззрений к вопросам частной науки, потому он думает, что будет стоять именно в средоточии дела, рассматривая, до какой степени верно сделано автором это приложение. И для читателей, по мнению рецензента, будет интереснее эта критика с общей точки зрения, потому что самая эстетика имеет для неспециалистов интерес только как часть общей системы воззрений на природу и жизнь. Быть может, некоторым читателям вся статья кажется слишком отвлеченною, но рецензент просит их не судить по одной наружности. Отвлеченность бывает различна: иногда она суха и бесплодна, иногда, напротив того, стоит только обратить внимание на мысли, изложенные в отвлеченной форме, чтоб они получили множество живых приложений; и рецензент положительно уверен, что мысли, им изложенные выше, относятся к последнему роду, — он говорит это прямо, потому что они принадлежат науке, а не в частности рецензенту, который только усвоил их, следовательно, может превозносить их, как последователь известной школы может хвалить принятую им

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe систему, не замешивая в это дело своего личного самолюбия.

Но излагая теорию г. Чернышевского, мы должны будем изменить порядок, которому следовал автор; он, по примеру эстетических курсов опровергаемой им школы, рассматривает сначала идею прекрасного, потом идеи возвышенного и трагического, потом занимается критикой отношений искусства к действительности, затем говорит о существенном содержании искусства и, наконец, о потребности, из которой оно возникает, или о целях, которые осуществляет художник своими произведениями. В господствующей эстетической теории такой порядок совершенно натурален, потому что понятие о сущности прекрасного – основное понятие всей теории. Не так в теории г. Чернышевского. Основное понятие его теории – отношения искусства к действительности, потому с него и следовало начинать автору. Следуя порядку, принятому у других и чуждому его системе, он сделал, по нашему мнению, важную ошибку и разрушил логическую стройность своего изложения: ему пришлось сначала говорить о нескольких частных элементах из числа многих элементов, составляющих, по его мнению, содержание искусства, потом об отношении искусства к действительности и затем опять о содержании искусства вообще, потом о существенном значении искусства, которое вытекает из его отношений к действительности, – таким образом однородные вопросы разрознены другими, посторонними для их решения вопросами. Мы позволяем себе поправить эту ошибку и будем излагать мысли автора в том порядке, который более соответствует требованиям систематической стройности.

Господствующая теория, поставляя целью человеческих желаний абсолютное и ставя желания человека, не находящие себе удовлетворения в действительности, выше тех скромных желаний, которые могут удовлетворяться предметами и явлениями действительного мира, прилагает это общее воззрение, которым объясняется в ней происхождение всех умственных и нравственных деятельностей человека, и к происхождению искусства, содержанием которого она почитает «прекрасное». Прекрасное, встречаемое человеком в действительности, говорит она, имеет важные недостатки, уничтожающие красоту его; а наше эстетическое чувство ищет совершенства; потому для удовлетворения требованию эстетического чувства, не удовлетворяющегося действительностью, фантазия наша возбуждается к созданию нового прекрасного, которое не имело бы недостатков, искажающих красоту прекрасного в природе и жизни. Эти создания творческой фантазии осуществляются произведениями искусства, которые свободны от недостатков, губящих красоту действительности, и потому, собственно говоря, только произведения искусства истинно прекрасны, между тем как явления природы и действительной жизни имеют только призрак красоты. Итак, прекрасное, создаваемое искусством, гораздо выше того, что кажется (только кажется) прекрасным в действительности.

Это положение подтверждается резкою критикой прекрасного, представляемого действительностью, и критика эта старается обнаружить в нем множество недостатков, искажающих его красоту.

Г. Чернышевский, как поставляющий действительность выше грез фантазии, не может разделять мнения, будто бы прекрасное, создаваемое фантазией, выше по красоте своей, нежели явления действительности. В этом случае он, прилагая к данному вопросу свои основные убеждения, будет иметь на своей стороне всех, разделяющих эти убеждения, и против себя всех, которые держатся прежних мнений о том, что фантазия может возноситься выше действительности. Рецензент, соглашаясь в общих научных убеждениях с г. Чернышевским, должен также признать справедливость его частного вывода, что действительность по красоте своей выше созданий фантазии, осуществляемых искусством.

Но должно доказать это, – и г. Чернышевский для исполнения этой обязанности сначала пересматривает упреки, делаемые прекрасному живой действительности, и старается доказать, что недостатки, поставляемые ему в вину господствующей теорией, не всегда в нем находятся, а если и находятся, то вовсе не в такой искажающей громадности, как полагает эта теория. Потом он рассматривает, свободны ли от этих недостатков произведения искусства, и старается показать, что все упреки, делаемые прекрасному живой действительности, прилагаются также к созданиям искусства, и почти все эти недостатки бывают в них более грубы и сильны, нежели каковы они в прекрасном, которое дается нам живою действительностью. От критики искусства вообще он переходит к анализу отдельных искусств и также доказывает, что ни одно искусство – ни скульптура, ни живопись, ни музыка, ни поэзия, не могут давать нам произведений, которые представляли бы нечто такое прекрасное, которому не нашлось бы в действительности

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
соответствующих прекрасных явлений, и ни одно искусство не может создать
произведений, равных по красоте этим соответствующим явлениям действительности.
Но мы должны и здесь заметить, что автор опять делает очень важный недосмотр,
перечисляя и опровергая упреки прекрасному в действительности только в том виде,
как изложены они Фишером, и не пополняя этих упреков теми, которые высказаны
Гегелем. Правда, у Фишера критика прекрасного живой действительности гораздо
полнее и подробнее, нежели у Гегеля; но у Гегеля, при всей его краткости, мы
встречаем два упрека, которые забыты Фишером и которые чрезвычайно глубоки, –
Ungeistigkeit и Unfreiheit (недуховность, несознательность, или бессмысленность,
и несвобода) всего прекрасного в природе. Надобно прибавить, однако, что эта
неполнота в изложении, составляя вину автора, не вредит сущности защищаемых им
воззрений, потому что забытые автором упреки могут быть легко отстранены от
прекрасного в действительности и обращены на прекрасное в искусстве тем же самым
способом и почти теми же фактами, которые находим у г. Чернышевского по поводу
упреков в непреднамеренности. Столь же важно другое упущение: в обзоре отдельных
искусств автор забыл мимику, танцы и сценическое искусство – он должен был
рассмотреть их, хотя бы и считал, подобно другим эстетикам, отраслью
пластического искусства (die bildnerkunst), потому что создания этих искусств
совершенно отличны по характеру от статуй.

Но если произведения искусства ниже действительности, то из каких же оснований
возникло мнение о высоком превосходстве искусства над явлениями природы и жизни?
Автор отыскивает эти основания в том, что предмет ценится человеком не только по
его внутреннему достоинству, а также по редкости и трудности его получения.
Прекрасное в природе и жизни является без особенных забот с нашей стороны и его
очень много; прекрасных произведений искусства очень мало и они производятся не
без труда, иногда чрезвычайно напряженного; кроме того, человек ими гордится,
как делом подобного себе человека, – как для француза французская поэзия (в
сущности очень слабая) кажется лучшею в мире, так для человека искусство вообще
приобретает особенную любовь потому, что оно – дело человека, в его пользу
говорит пристрастие к своему, родному; кроме того, искусство, подчиняясь, вместе
с художниками, мелочным прихотям человека, на которые не обращают внимания
природа и жизнь, и тем самым унижаясь, искажаясь, приобретает, как всякий
льстец, любовь очень многих; наконец, произведениями искусства мы наслаждаемся,
когда хотим, т. е. когда расположены вникать в их красоты и наслаждаться ими, а
прекрасные явления природы и жизни очень часто проходят мимо нас в такое время,
когда наше внимание и симпатия обращены на другие предметы; кроме того, автор
исчисляет еще несколько оснований слишком высокого мнения о достоинстве
искусства. Эти объяснения не совершенно полны, – автор забыл очень важное
обстоятельство: мнение о превосходстве искусства над действительностью – мнение
ученых, мнение философской школы, а не суждение человека вообще, чуждого
систематических убеждений; масса людей, правда, ставит искусство очень высоко,
быть может, выше, нежели давало бы ему на то право одно внутреннее достоинство,
и это пристрастие удовлетворительно объясняется указаниями автора; но масса
людей вовсе не ставит искусство выше действительности, напротив, она и не думает
сравнивать их по достоинству, а если должна будет дать ясный ответ, то скажет,
что природа и жизнь прекраснее искусства. Одни только эстетика, да и то не всех
школ, ставят искусство выше действительности, и такое мнение, составившееся
вследствие особенных, им только принадлежащих воззрений, должно быть объясняемо
этими воззрениями. Именно, эстетика псевдоклассической школы предпочитали
искусство действительности потому, что вообще страдали болезнью своего века и
кружка – искусственностью всех привычек и понятий: они не в одном искусстве, но
и во всех сферах жизни боялись и дичились природы, как она есть, любили только
прикрашенную, «умытую» природу. А мыслители господствующей ныне школы ставят
искусство, как нечто идеальное, выше природы и жизни, которые реальны, потому
что вообще не успели еще освободиться от идеализма, несмотря на гениальные
порывы к реализму, и идеальную жизнь ставят вообще выше реальной. Возвращаемся к
теории г. Чернышевского. Если искусство не может сравниться с действительностью
по красоте своих произведений, то оно не может быть обязано своим происхождением
недовольству нашему красотой действительности и стремлению создать нечто лучшее,
– в таком случае человек давно бросил бы искусство, как нечто совершенно не
достигающее своей цели и бесплодное, – говорит он. Потому потребность,
вызывающая искусство, должна быть не та, как полагает господствующая теория. До
сих пор все, разделяющие с г. Чернышевским основные понятия о человеческой жизни
и природе, вероятно, скажут, что выводы его последовательны. Но мы не хотим
решать, совершенно ли верно приисканное им объяснение потребности, рождающей
искусство; представляем его собственными словами этот вывод, чтобы дать
читателям полную возможность судить о его несправедливости или справедливости.

«Море вполне прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им недовольны в эстетическом отношении. Но не все люди живут близ моря; многим не удастся ни разу в жизни взглянуть на него, а им также хотелось бы полюбоваться на море, – и для них являются картины, изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение; но за недостатком лучшего, человек довольствуется и худшим, за недостатком вещи – ее суррогатом. И тем людям, которые могут любоваться морем в действительности, не всегда, когда хочется, можно смотреть на море, – они вспоминают о нем; но фантазия слаба, ей нужна поддержка, напоминание, – и, чтоб оживить свои воспоминания о море, чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значение очень многих (большой части) произведений искусства: дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем. (Оставляем пока выражение: «прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследствии мы подставим вместо термина «прекрасное» другой, которым содержание искусства определяется, по нашему мнению, точнее и полнее.) Итак, первое значение искусства, принадлежащее всем без изъятия произведениям его, – воспроизведение природы и жизни. Отношение их к соответствующим сторонам и явлениям действительной жизни таково же, как отношение гравюры к той картине, с которой она снята, как отношение портрета к лицу, им изображаемому. Гравюра снимается с картины не потому, чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень хороша; так действительность воспроизводится искусством не для сглаживания недостатков ее, не потому, что сама по себе действительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думает быть лучше картины, – она гораздо хуже ее в художественном отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходуется в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так и предмет, прекрасный в действительности, доступен не всякому и не всегда; воспроизведенный (слабо, грубо, бледно – это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен всегда и всякому. Портрет человека делается не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что нам за дело до этих недостатков? они для нас незаметны или милы), но для того, чтобы доставить нам возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда оно на самом деле не перед нашими глазами; такова же цель и значение произведений искусства вообще: они не поправляют действительность, не украшают ее, а воспроизводят, служат ей суррогатом».

Автор признает, что теория воспроизведения, им предлагаемая, не есть нечто новое: подобный взгляд на искусство господствовал в греческом мире; но с тем вместе он утверждает, что его теория существенно различна от псевдоклассической теории подражания природе, и доказывает это различие, приводя критику псевдоклассических понятий из гегелевой эстетики: ни одно из возражений Гегеля, совершенно справедливых относительно теории подражания природе не прилагается к теории воспроизведения; потому и дух этих двух воззрений, очевидно, существенно различен. В самом деле, воспроизведение имеет целью помочь воображению, а не обманывать чувства, как того хочет подражание, и не есть пустая забава, как подражание, а дело, имеющее реальную цель.

Нет сомнения, что теория воспроизведения, если заслужит внимание, возбудит сильные выходки со стороны приверженцев теории творчества. Будут говорить, что она ведет к дагерротипичной копировке действительности, против которой так часто вооружаются; предупреждая мысль о рабской копировке, г. Чернышевский показывает, что и в искусстве человек не может отказаться от своего – не говорим, права, это мало, – от своей обязанности пользоваться всеми своими нравственными и умственными силами, в том числе и воображением, если хочет даже не более, как верно скопировать предмет. Вместо того чтобы восставать против «дагерротипного копирования», – прибавляет он, – не лучше ли было бы говорить только, что и копировка, как и всякое другое человеческое дело, требует понимания, требует способности отличать существенные черты от неважных? «Мертвая копировка» – говорят обыкновенно; но человек не может скопировать верно, если механизм его руки не направляется живым смыслом: нельзя сделать даже верного facsimile, не понимая значения копируемых букв.

Но словами: «искусство есть воспроизведение явлений природы и жизни», определяется только способ, каким создаются произведения искусства; остается еще вопрос о том, какие же явления воспроизводятся искусством; определив формальное начало искусства, нужно, для полноты понятия, определить и реальное начало или содержание искусства. Обыкновенно говорят, что содержанием искусства служат только прекрасное и его соподчиненные понятия – возвышенное и комическое. Автор находит такое понятие слишком узким и утверждает, что область искусства – все интересное для человека в жизни и природе. Доказательство этого положения мало развито и составляет самую неудовлетворительную часть в изложении г. Чернышевского, который, кажется, считал этот пункт слишком ясным и почти не нуждающимся в доказательствах. Мы не оспариваем самого вывода, который принимается автором, а недовольны только его изложением. Он должен был привести гораздо более примеров, которые подтверждали бы его мысль, что «содержание искусства не ограничивается тесными рамками прекрасного, возвышенного и комического», – легко было найти тысячи фактов, доказывающих эту справедливую мысль, и тем более виноват автор, что мало позаботился о том.

Но если очень многие произведения искусства имеют только один смысл – воспроизведение интересных для человека явлений жизни, то очень многие приобретают, кроме этого основного значения, другое, высшее – служить объяснением воспроизводимых явлений; особенно должно сказать это о поэзии, которая не в силах объять всех подробностей, потому, по необходимости выпуская из своих картин очень многие мелочи, тем самым сосредоточивает наше внимание на немногих удержанных чертах, – если удержаны, как и следует, черты существенные, то этим самым для неопытного глаза облегчается обзор сущности предмета. В этом иные видят превосходство поэтических картин перед действительностью, но выпущение всех несущественных подробностей и передача одних главных черт – не особенное качество поэзии, а общее свойство разумной речи: и в прозаическом рассказе бывает то же самое.

Наконец, если художник – человек мыслящий, то он не может не иметь своего суждения о воспроизводимых явлениях, оно, волею или неволею, явно или тайно, сознательно или бессознательно, отразится на произведении, которое, таким образом, получает еще третье значение – приговора мысли о воспроизводимых явлениях. Это значение чаще, нежели в других искусствах, мы находим в поэзии.

Соединяя все сказанное, – заключает г. Чернышевский, – мы получим следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства – воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в поэзии, выступает на первый план также объяснение жизни, приговор о явлениях ее. Искусство относится к действительности совершенно так же, как история; различие по содержанию только в том, что история говорит о жизни общественной, искусство – о жизни индивидуальной, история – о жизни человечества, искусство – о жизни человека (картины природы имеют только значение обстановки для явлений человеческой жизни или намека, предчувствия об этих явлениях. Что касается различия по форме, автор определяет его так: история, как и всякая наука, заботится только о ясности, понятности своих картин; искусство – о жизненной полноте подробностей). Первая задача истории – передать прошедшее; вторая, – исполняемая не всеми историками, – объяснить его, произнести о нем приговор; не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение только материал для истинного историка или чтение для удовлетворения любопытства; исполняя вторую задачу, историк становится мыслителем, и его творение приобретает научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать об искусстве. Ограничиваясь воспроизведением явлений жизни, художник удовлетворяет нашему любопытству или дает пособие нашим воспоминаниям о жизни. Но если он притом объясняет и судит воспроизводимые явления, он становится мыслителем, и его произведение к художественному своему достоинству присоединяет еще высшее значение – значение научное. От общего определения содержания искусства натурален переход к частным элементам, входящим в состав этого содержания, и мы здесь изложим взгляды автора на прекрасное и возвышенное, в определении сущности которых он не согласен с господствующей теорией, потому что она в этих случаях перестала соответствовать настоящему развитию науки. Анализировать эти понятия он должен был потому, что в обыкновенном их определении находится непосредственный источник мысли о превосходстве искусства над действительностью: они служат в господствующей теории связью между общими идеалистическими началами и частными эстетическими мыслями. Автор должен был очистить эти важные понятия от трансцендентальной примеси, чтобы привести их в согласие с духом своей теории.

Господствующая теория имеет две формулы для выражения своего понятия о прекрасном: «прекрасное есть единство идеи и образа» и «прекрасное есть полное проявление идеи в отдельном предмете»; автор находит, что последняя формула говорит о существенном признаке не идеи прекрасного, а того, что называется мастерским произведением искусства или всякой вообще человеческой деятельности, а первая формула слишком широка: она говорит, что прекрасные предметы те, которые лучше других в своем роде; но есть многие роды предметов, не достигающие красоты. Потому он признает оба господствующие выражения не совершенно удовлетворительными и принужден искать более точного определения, которое, как ему кажется, находит в формуле: «прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такую, какова она должна быть по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни». Представим здесь существенную часть анализа, на котором опирается этот вывод, – разбор принадлежностей человеческой красоты, как ее понимают различные классы народа.

«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку – первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна – это также необходимое условие сельской красоты: светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает толстоту недостатком. У сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает – об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки – они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, – жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь – и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу, нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего расслабления в организме, неизбежное следствие всего этого – продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве, и в роскоши плохо жить без здоровья, – вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство [красоты], как скоро кажутся следствием роскошно бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она много жила?

□□ Мила живая свежесть цвета,
 Знак юных дней;
 □□ Но бледный цвет, тоски примета,
 Еще милей.

Но если увлечение бледною, болезненною красотою – признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь – жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах – потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза... Взглянем на противоположную сторону предмета, рассмотрим, отчего человек бывает некрасив. Причину некрасивости общей фигуры человека всякий укажет в том, что человек, имеющий дурную фигуру, – «дурно сложен». Уродливость – следствие болезни или пагубных случаев, от которых особенно легко уродуется человек в первое время развития. Если жизнь и ее проявление – красота, очень естественно, что болезнь и ее следствия – безобразие. Но человек, дурно сложенный, – также урод, только в меньшей степени, и причины «дурного сложения» те же самые, которые производят уродливость, только слабее их. Горбатость – следствие несчастных обстоятельств, при которых совершалось развитие человека; но сутуловатость – та же горбатость, только в меньшей степени, и должна происходить от тех же самых причин. Вообще, худо сложенный человек – до некоторой степени искаженный человек: его фигура говорит нам не о жизни, не о счастливом развитии, а о тяжелых сторонах развития, о неблагоприятных обстоятельствах. От общего очерка фигуры переходим к лицу. Черты его бывают нехороши или сами по себе, или по своему выражению. В лице не нравится нам «злое», «неприятное» выражение, потому что злость – яд, отравляющий нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выражению, а по самым чертам; они бывают некрасивы в том случае, когда лицевые кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы в своем развитии более или менее носят отпечаток уродливости, т. е. когда первое развитие человека совершалось в неблагоприятных обстоятельствах».

Господствующая теория признает, что красота в царстве природы – то, что напоминает нам о человеке и его красоте; потому ясно, что если в человеке красота есть жизнь, то и о красоте природы должно сказать то же самое. Анализ, которым г. Чернышевский подтверждает свое понятие о существенном значении прекрасного, мы упрем в том, что выражения, употребляемые автором, могут ввести в недоумение, – инстинктивно или сознательно человек замечает связь красоты с жизнью? Само собою разумеется, что большею частью это бывает инстинктивно. Напрасно автор не позаботился указать это важное обстоятельство.

Различие между принимаемым и отвергаемым у автора воззрениями на прекрасное очень важно. Если прекрасное есть «полное проявление идеи в отдельном существе», то прекрасного в действительных предметах нет, потому что идея вполне проявляется только целым мирозданием, а в отдельном предмете вполне осуществиться, не может; из этого будет следовать, что прекрасное в действительности вносится только нашею фантазиею, что поэтому истинная область прекрасного – область фантазии, а потому искусство, осуществляющее идеалы фантазии, стоит выше действительности и имеет своим источником стремление человека создать прекрасное, которого не находит он в действительности. Напротив, из понятия, предлагаемого автором: «прекрасное есть жизнь», следует, что истинная красота есть красота действительности, что искусство (как и полагает автор) не может создавать ничего равного по красоте явлениям действительного мира, и происхождение искусства легко тогда объясняется по теории автора, которую мы изложили выше.

Подвергая критике выражения, которыми определяется в господствующей эстетической системе понятие возвышенного, – «возвышенное есть перевес идеи над формой» и «возвышенное есть то, что пробуждает в нас идею бесконечного», – автор приходит к заключению, что и эти определения неверны, – он находит, что предмет производит впечатление возвышенного, вовсе не возбуждая идеи бесконечного. Потому автор опять должен искать другого определения, и ему кажется, что все явления, относящиеся к области возвышенного, обнимаются и объясняются следующей формулой: «Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». Так, например, говорит он, Казбек – величественная гора (хотя вовсе не представляется чем-то безграничным или бесконечным), потому что гораздо выше пригорков, которые мы привыкли видеть; так, Волга – величественная река, потому что гораздо шире маленьких рек; любовь – возвышенная страсть, потому что гораздо сильнее ежедневных мелочных расчетов и интриг; Юлий Цезарь, Отелло, Дездемона – возвышенные личности, потому что Юлий Цезарь гораздо гениальнее обыкновенных людей, Отелло любит и ревнует, Дездемона любит гораздо сильнее обыкновенных людей.

Из господствующих определений, отвергаемых г. Чернышевским, следует, что прекрасное и возвышенное в строгом смысле не встречаются в действительности и вносятся в нее только нашею фантазией; из понятий, предлагаемых г. Чернышевским, следует, напротив, что прекрасное и возвышенное действительно существуют в природе и человеческой жизни. Но с тем вместе следует, что наслаждение теми или другими предметами, имеющими в себе эти качества, непосредственно зависит от понятий наслаждающегося человека: прекрасно то, в чем мы видим жизнь, сообразную с нашими понятиями о жизни, возвышенно то, что гораздо больше предметов, с которыми сравниваем его мы. Таким образом, объективное существование прекрасного и возвышенного в действительности примиряется с субъективными воззрениями человека.

Понятию трагического, которое составляет важнейшую отрасль возвышенного, автор также дает новое определение, чтобы очистить его от трансцендентальной примеси, которою опутано оно в господствующей теории, связывающей его с понятием судьбы, внутренняя пустота которого доказана теперь наукою. Удаляя, сообразно требованию науки, из определения трагического всякую мысль о судьбе или необходимости, неизбежности, автор понимает трагическое просто как «ужасное в жизни человека».

Понятие комического (пустота, бессмысленность формы, лишенной содержания или имеющей претензию на содержание, несоразмерное ее ничтожеству) господствующей теориею развито так, что соответствует характеру современной науки, потому автор не имеет нужды изменять его, – оно уже и в обыкновенном своем выражении совершенно гармонирует с духом его теории. Таким образом, задача, которую предложил себе автор, – привести основные эстетические понятия в соответствие с настоящим развитием науки, исполнена, насколько то было доступно силам автора, и он заключает свое исследование так:

Апология действительности сравнительно с фантазией, стремление доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живою действительностью, – вот сущность моего трактата. Говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли унижать искусство? – Да, если показывать, что искусство ниже действительной жизни по художественному совершенству своих произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее – понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее».

Заключение, по нашему мнению, не довольно развитое. Оно оставляет еще для многих повод предполагать, будто бы значение искусства на самом деле уменьшается, когда отвергаются безграничные панегирики безусловному достоинству его произведений и когда, вместо неизмеримо высоких трансцендентальных источников и целей, источником и целью искусства поставляются потребности человека. Напротив, именно этим и возвышается реальное значение искусства, потому что таким объяснением дается ему неоспоримое и почетное место в числе деятельностей, служащих на благо человеку, а быть во благо человеку – значит иметь полное право на высокое уважение со стороны человека. Человек преклоняется пред тем, что служит ему во благо. Он называет хлеб – «хлеб-батюшка» за то, что питается им; он называет землю – «матушка-земля» за то, что она кормит его. Отец и мать! Все панегирики ничто пред этими священными именами, все высокопарные похвалы – пустота и ничтожность пред чувством сыновней любви и благодарности. Так и наука достойна этого чувства, потому что служит на благо человеку, так и искусство достойно его, когда служит на благо человеку. А оно много, много блага приносит ему; потому что произведение художника, особенно поэта, достойного этого имени, – «учебник жизни», по справедливому выражению автора, и такой учебник, которым с наслаждением пользуются все люди, даже и те, которые не знают или не любят других учебников. Этим высоким, прекрасным, благодетельным значением своим для человека должно гордиться искусство.

Г. Чернышевский сделал, по нашему мнению, очень прискорбную ошибку, не развив подробнее мысль о практическом значении искусства, о его благодетельном влиянии на жизнь и образованность. Конечно, он этим эпизодом переступал бы границы

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
своего предмета; но иногда такие нарушения систематически необходимы для
объяснения предмета. Теперь, несмотря на то, что сочинение г. Чернышевского все
проникнуто уважением к искусству за его великое значение для жизни, могут
найти люди, которые не захотят видеть этого чувства, потому что нигде не
посвящено ему нескольких отдельных страниц; могут подумать, что он не ценит по
достоинству благодетельного влияния искусства на жизнь или преклоняется перед
всем, что представляет действительность. Как думает об этом г. Чернышевский, или
как будут в этом случае думать о нем другие, для нас все равно: он оставил
недосказанными свои мысли и должен отвечать за такое упущение. Но мы должны
объяснить то, что забыл объяснить он, чтобы характеризовать отношения
современной науки к действительности.

Действительность, нас окружающая, не есть нечто однородное и однохарактерное по
отношениям своих бесчисленных явлений к потребностям человека. Понятие это мы
встречаем и у г. Чернышевского: «Природа, – говорит он, – не знает о человеке и
его делах, о его счастье и гибели; она бесстрашна к человеку, она не друг и
не враг ему» (стр. 28); «часто человек страдает и погибает без всякой вины с
своей стороны» (стр. 30); природа не всегда соответствует его потребностям;
потому человек для спокойствия и счастья своей жизни должен во многом изменять
объективную действительность (стр. 99), чтобы приспособить ее к потребностям
своей практической жизни (стр. 59). Действительно, в числе явлений, которыми
окружен человек, очень много таких, которые неприятны или вредны ему; отчасти
инстинкт, еще более наука (знание, размышление, опытность) дают ему средства
понять, какие явления действительности хороши и благоприятны для него, потому
должны быть поддерживаемы и развиваемы его содействием, какие явления
действительности, напротив, тяжелы и вредны для него, потому должны быть
уничтожены или по крайней мере ослаблены для счастья человеческой жизни; наука
же дает ему и средства для исполнения этой цели. Чрезвычайно могущественное
пособие в этом оказывает науке искусство, необыкновенно способное распространять
в огромной массе людей понятия, добытые наукою, потому что знакомиться с
произведениями искусства гораздо легче и привлекательнее для человека, нежели с
формулами и суровым анализом науки. В этом отношении значение искусства для
человеческой жизни неизмеримо огромно. Не говорим о наслаждении, доставляемом
человеку его произведениями, потому что толковать о высокой цене эстетического
наслаждения для человека – дело совершенно излишнее: об этом значении искусства
и без того говорят уже слишком много, забывая другое, более существенное
значение искусства, которое занимает теперь нас.

Наконец, г. Чернышевский, нам кажется, сделал также очень важную ошибку, не
объяснив отношения современного положительного или практического мирозерцания
к так называемым «идеальным» стремлениям человека, – и здесь также часто
случается необходимость восставать против недоразумений. Положительность,
принимаемая наукою, не имеет ничего общего с тою пошлою положительностью,
которая господствует в сухих людях и которая противоположна идеальным, но
здоровым стремлениям. Мы видели, что современное мирозерцание считает науку и
искусство такими же насущными потребностями человека, как пищу и дыхание. Точно
так же оно благоприятно всем другим высшим стремлениям человека, которые имеют
основание в голове или сердце человека. Голова и сердце так же необходимы для
истинно человеческой жизни, как желудок. Если голова не может жить без желудка,
то и желудок умрет с голоду, когда голова не будет приискивать ему питания.
Этого мало. Человек – не улитка, он не может жить исключительно только для
наполнения желудка. Жизнь умственная и нравственная (развивающаяся надлежащим
образом тогда, когда здоров организм, т. е. материальная сторона человеческой
жизни идет удовлетворительно) – вот истинно приличная человеку и наиболее
привлекательная для него жизнь. Современная наука не разрывает человека по
частям, не искажает его прекрасного организма хирургическими ампутациями,
признает равно нелепыми и пагубными устарелые стремления ограничивать
человеческую жизнь одною головою или одним желудком. Оба эти органа равно
необходимо принадлежат человеку, и равно существенна для человека жизнь и того и
другого органа. Потому-то благородные стремления ко всему высокому и прекрасному
признает наука в человеке столь же существенными, как потребность есть и пить.
Она так же любит, – потому что наука не отвлеченна и не холодна: она любит и
негодует, преследует и покровительствует, – она так же любит благородных людей,
которые заботятся о нравственных потребностях человека или скорбят, видя, как
часто они не удовлетворяются, как любит и тех людей, которые заботятся о
материальных потребностях своих собратий.

Мы изложили мысли, высказанные автором, выставляя на вид и поправляя замеченные

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
нами ошибки его. Теперь остается нам произнести свое мнение о его книге. Мы
должны сказать, что автор обнаруживает некоторую способность понимать эти общие
начала и некоторое умение прилагать их к данным вопросам; у него также заметна
способность различать в данных понятиях элементы, согласные с общими воззрениями
современной науки, и другие элементы, несогласные с ними. Потому его теория
имеет внутреннее единство характера. До какой степени она справедлива, это решит
время. Но, охотно признавая, что мысли, изложенные автором, заслуживают
внимания, мы с тем вместе должны сказать, что ему почти всегда принадлежит
только изложение и применение этих мыслей, которые уже даны ему наукою. Перейдем
же к оценке его изложения. Многочисленные ошибки и опущения, нами замеченные,
доказывают, что г. Чернышевский писал свое исследование в то время, когда в нем
самом еще совершался процесс развития выводимых им мыслей, когда они еще не
достигли полной, всесторонней, установившейся систематичности. Если б он
повременил издавать свое сочинение, оно могло бы иметь более научного
достоинства, если не в сущности, то по крайней мере в изложении. Он сам,
кажется, чувствовал это, говоря: «Если эстетические понятия, выводимые мною из
господствующих ныне воззрений на отношения человеческой мысли к живой
действительности, еще остались в моем изложении неполны, односторонни или шатки,
то это, я надеюсь, недостатки не самых понятий, а только моего изложения» (стр.
8). Надобно сказать что-нибудь и о форме сочинения. Мы ею решительно недовольны,
потому что она кажется нам не соответствующею цели автора – возбудить внимание к
мыслям, на которых он старается построить теорию искусства. Достичь этой цели он
мог, придав своим общим мыслям живой интерес приложением их к текущим вопросам
нашей литературы. Он мог показать многочисленными примерами живую связь общих
начал науки с интересами дня, которые занимают столь многих.

1855 г.

Возвышенное и комическое

Прекрасным называется тот отдельный предмет, в котором видим мы осуществление
родовой идеи. Потому в прекрасном, как мы уже видели, две стороны или два
момента: отдельный предмет, служащий, так сказать, рамкою, в которой проявляется
нам идея, и проявляющаяся посредством этого предмета идея. Если обе эти стороны
представляются нам в равновесии, так что, созерцая предмет, мы замечаем только
единство, полное соединение идеи с образом, мы видим то, что называется
собственно прекрасным. Но если этого равновесия не существует, если нам
бросается в глаза не единство идеи с образом, а только преимущественно одна
идея, не удовлетворяющаяся своим выражением в отдельном предмете, или образ, не
удовлетворяющий нашему стремлению видеть в нем идею, то мы получаем особенные
видоизменения прекрасного вообще – прекрасное возвышенное или прекрасное
комическое. Я вхожу к моему знакомцу, с которым не видался несколько лет; он
женат уже, а за чайным столиком я знакомлюсь с его молодою, хорошенькою женою;
она мила, предупредительна со мною, как с давнишним приятелем ее мужа; она мне
кажется женщиной без претензий, обходится со мною просто, без жеманства и без
кокетства. Я радуюсь счастью моего приятеля и говорю ему, оставшись наедине с
ним: «У тебя жена очень милая и, можно без лести сказать, красавица». Я вижу в
ней прекрасное в собственном смысле. Но вот я встречаю свою красавицу на
блестящем бале; она, бедняжка, выросла в глуши провинции, а хочет играть из себя
светскую красавицу; она ослеплена, увлечена балом, это видно по ее глазам,
слышно в каждом ее слове, – да и как не увлечься, – она всего еще во второй раз
на таком чудном бале! А между тем она говорит, что бал утомляет ее, что ей уже
надоел «этот большой, но пустой свет», – и я не магу не улыбнуться над моей
красавицей; ее красота почти позабыта мной, я вижу только, что она смешна со
своими претензиями: «какою милою могла бы она быть на этом бале с своею свежою
радостью, и как забавна она теперь», думается мне, и моя красавица только
напоминает мне о том, чего недостает ей для того, чтобы быть в самом деле
светской дамой, которой балы не в диковинку. «Отдельный предмет выказывает то,
что идея, о которой напоминает он, мало или дурно выражается в нем» – это
называется комическим. Но через месяц я опять являюсь к моему знакомцу вестником
несчастья: его завод, единственное состояние его, сгорел. Он поражен, он потерял
голову. «Не унывай, мой друг, – говорит моя смешная красавица мужу, – продадим
наши вещи, продадим мое серебро и уборы: этого достанет на расплату с долгами. Я
могу ходить пешком, могу, если понадобится, сама готовить кушанье – этому
недолго выучиться; ты молод; не теряй только энергии, все со временем
поправится». – «А ты? разве не убьет меня мысль, что ты, не привыкшая к нужде,
терпишь нужду?» – «Мой друг, только люби меня по-прежнему, я буду счастлива
по-прежнему». Нет, красавица моя не просто красавица, она женщина в полном,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
благороднейшем смысле слова; и я почти забываю о красоте ее: так много, так
сильно выражается в ней идея благородной, твердой привязанности, что заставляет
забывать обо всем остальном. Это называется возвышенным.

Обыкновенные понятия о возвышенном
(Das Erhabene)

и критика их

Возвышенным называется та форма прекрасного, в которой идея кажется переходящею за пределы отдельного предмета, в котором выражается, говорит о себе, прямо, отдельно от предмета, служащего ей выражением. Таким образом, в возвышенном идея нам является в своей всеобщности, безграничности, перед которой; как ничтожные, исчезают отдельные предметы и их жизнь. Но тем не менее проявляется нам такую она только через посредство отдельного предмета. Потому отдельный предмет является необходимым для идеи и с тем вместе исчезающим перед идеею. В этом противоречии сущность возвышенного.. Муций Сцевола спокойно жжет свою руку, чтобы спасти Рим; о, как велика сила патриотизма! Что перед нею любовь человека к жизни, страх физического страдания! Что перед нею сам человек! Он сам жертвует собою для отечества, сознавая, что отечество – все, он – ничто: в возвышенном отдельное существо является ничтожным. Но безграничная сила патриотизма выказывается в этом отдельном ничтожном перед нею человеке; нет Муция Сцевола, нет и патриотизма: отдельный предмет, уничтожаясь перед идеей, необходим для нее, как средство для ее проявления.

Для того, чтобы идея представлялась нам безгранично проявляющеюся посредством предмета, необходимо сравнение этого предмета с другими однородными или близкими; потому что только из сравнения можно видеть, что идея слишком полно проявляется в каком-нибудь предмете. Чтобы оценить величие Муция Сцевола, надобно помнить, что он один из всех римлян пошел на верную смерть, что никто другой не мог бы хладнокровно держать руку на огне. Таким образом, все близкие предметы, все подобные существа кажутся ничтожными перед предметом, в котором является нам возвышенное, подавляются, уничтожаются им. Что все остальные граждане Рима перед Муцием Сцеволою? Но может быть, наконец, что величие, проявляющееся в предмете идеи, подавит и самый предмет, в котором она проявляется, заслонит его, уничтожит его, – что же, наконец, и самый подвиг Муция Сцевола? Нет пределов силе патриотизма, нет предела и жертвам для отечества – и мы, погружаясь в мысль об отечестве, о самоотвержении патриотизма, забываем и о Муции Сцеволе, вызвавшей в нас мысль эту. Такая полнейшая, высшая ступень возвышенного называется отрицательным возвышенным, потому что в ней уничтожается а самый тот предмет, который служит слабым орудием для ее проявления. По противоположности можно назвать положительным возвышенным то, когда отдельный предмет сам еще не уничтожается от величия проявляющейся в нем идеи, а уничтожаются только перед <ним> предметы, с которыми он сравнивается.

В том и другом случае сущность возвышенного одна – превозможение идеи над образом или формой предмета. Превозможение это выражается двояко: или уклонением предмета от обыкновенной, строго правильной формы; так, например, гора с неправильными очертаниями, представляющаяся грудой гор, наваленных одна на другую, более пробуждает мысль о беспредельности сил природы, взгромоздивших такую массу гор, нежели гора с правильным, спокойным очертанием; или тем, что форма предмета, оставаясь правильной, расширяется до того, что в ней пропадают отдельные части предмета, что мы уже не видим ясно его очертаний, его границ. Потому туманность, неясность (Dunkel) от неопределенности или громадности формы – существенный, постоянный признак возвышенного. Микроскопическая точность, микроскопическое рассматривание противны возвышенному: «для камердинера герой не герой».

Просмотрим различные роды возвышенного. Возвышенное в пространстве может быть положительное и отрицательное. Положительное рождается тогда, когда предмет превосходит все окружающие предметы своею величиною до такой степени, что они кажутся пред ним ничтожными. Величественною кажется гора, перед которой мелко все, что окружает ее. Потому на этом предмете не должно быть слишком резких разрезов, слишком резких переходов цвета; иначе нам будет казаться, что с каждым разрезом, с каждым резким переходом цвета начинается новый предмет, и подавляющее единство громадности будет потеряно. Так, например, здание, крылья которого резко отличаются по архитектуре своей от центральной части, покажется нам не одним зданием, а тремя рядом стоящими зданиями, из которых ни одно не может подавить огромностью двух остальных, и впечатление будет ослаблено. Множество одинаковых предметов, наполняющих пространство, также производит

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
впечатление возвышенного; например, звездное небо, лес, войско; нет числа
бесконечному множеству этих звезд, этих деревьев – и взгляд на них, естественно,
пробуждает идею бесконечности, безграничности. Это уже переход к отрицательному
возвышенному в пространстве; но собственно является нам оно в пустоте (Leere);
пустота, отсутствие предметов, действует грозно, возбуждая ожидание, что явится
в ней что-нибудь столь же громадное, как она сама; она грозит нам чем-то
страшным, неведомым; или она пробуждает в нас страшную мысль о том, что все,
наполнявшее это пространство, погибло, уничтожилось, – таково действие,
производимое опустевшими зданиями древнего Египта.

Возвышенное во времени, во-первых, то, что остается цело, неизменно среди гибели
и изменения всего окружающего: где его начало, когда его конец? Они так далеко,
что исчезают для нашего взора (положительное возвышенное). Таково впечатление,
производимое старинными зданиями. Но если и такой предмет является нам не
вечным, гибнущим, то в нас рождается мысль о беспредельном потоке времени, этой
всепоглощающей бездне – отрицательная форма возвышенного во времени.

Возвышенное сил природы проявляется в предмете, когда он до того превосходит
силою все окружающее, что оно не может и быть сравниваемо с ним в этом
отношении. Степень силы измеряется тем, какие препятствия, какое сопротивление
она побеждает. Силы природы действуют слепо, сокрушая все, встречаемое ими на
пути. Так действует разлив реки, ураган; а сам зритель видит себя в кругу этого
сокрушаемого, и должен также ждать гибели, если его коснется эта сила; потому
возвышенное сил природы вообще является страшным (furchtbar). Сила в природе
проявляется различно: в низших царствах природы, особенно в природе
неорганической, сила видна только в действительном движении, в толчке; тут ее
необходимое условие – массивность движущегося предмета. Водопад, обвал действуют
на нас огромностью массы низвергающегося снега или воды. На более высоких
ступенях жизни сила выказывается в самом предмете, а не только в толчке,
сообщаемом этим предметом; но она остается еще дикою, слепую, страшную силою;
такова сила льва, тигра, слона; массивность, громадность уже начинает здесь
терять свое значение: тигр страшнее слона. Здесь важнее интенсивность,
сосредоточенность силы, нежели огромность предмета. Когда сила выражает в
известном животном, я ля некоторых органах его, свой перевес над формой,
следствием бывает нарушение гармонии формы; так что в некоторых членах животного
является непропорциональность с формой остальных членов: они более развиты,
нежели требовалось бы для строгой пропорциональности; это будет безобразие;
безобразие (das hässliche) допускается прекрасным, если оно страшно. Так,
например, челюсти и лапы у льва развиты чрезвычайно сильно, до того, что
выступают из пропорциональности с другими частями тела; у человека особенно
сильного руки бывают толще и плечи шире, нежели требует тип обыкновенной
человеческой красоты. Но особенно видно это в безобразных животных, например, в
крокодиле, у которого пасть развита до такой степени, что весь крокодил кажется
движущейся пастью; он потому чрезвычайно безобразен; но пасть его страшна, сам
он под своею крепкою броней невредим, непреодолим; безобразие его страшно и
потому эстетично. Иногда формы сохраняют свою гармонию, но выказывают
чрезвычайную силу своей крепостью, интенсивностью. Есть люди не очень широкие в
плечах, не с толстыми руками, но очень сильные – у них в руках и в плечах
все-таки видна сила по твердости и упругости очертаний этих форм. Все это
положительная форма возвышенного сил природы. Но когда предмет, в котором
выказывался нам страшный перевес силы, сам разрушается, гибнет, встретившись с
новой, еще большею силою, мы видим отрицательное возвышенное сил природы. Такое
действие производят на нас картины всеобщего разрушения: мор, поле битвы; как
сильны, крепки были эти люди, и никто из них не устоял! Что могло быть крепче
их?.. И сила, сокрушившая эту великую силу, кажется нам безграничною. Когда
подробности разрушения благородного живого существа непосредственно действуют на
чувства, безобразное превращается в отвратительное. Таковы раны, гниение, вид и
запах трупа. Эти подробности действуют прямо на чувство и действуют
отталкивающим образом. Отвратительное в этом смысле опаснейший враг прекрасного;
так что, например, истинно-прекрасный предмет, если только он будет случайно в
отвратительной обстановке, возбуждает отвращение. Но если отвратительное
страшно, то и оно может быть моментом в прекрасном. Таковы, например, многие
подробности в картине «Воздвижение медного змия в пустыне».

Но возвышенное в природе мы видим только потому, что влагаем сами в природу то,
чего в ней нет; возвышенный предмет представляется нам бесконечно, безгранично
великим; а в природе нет предметов бесконечно великих: только наша фантазия
расширяет, возвышает их до бесконечности; и Монблан, и Казбек не бесконечно

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
высоки, а море имеет берега – только наша фантазия представляет нам море
безбрежным, вершину Казбека уходящую в небо. Нет в природе и неизмеримых сил:
все в ней взвешено, и каждая сила имеет свои пределы, встречает препятствия,
которых не победить ей; лишь наша фантазия одевает ее торжественным покрывалом
бесконечности. Не природа возвышенна, возвышенна фантазия наша, и от нее
заимствует в глазах наших свою возвышенность природа.

Итак, истинная возвышенность – в самом человеке, в его внутренней жизни. В
человеке есть воля, есть различные стремления. И в некоторых людях воля так
сильно направлена к известной цели, стремления так сильны, что все другие люди
кажутся перед ними в этом отношении слабыми, бессильными, и они – бесконечно
сильными в сравнении с людьми, их окружающими. И такие люди, такие стремления –
возвышенны.

Когда мы обращаем внимание только на силу стремления, не рассматривая предмета
этого стремления, нравственности или безнравственности его, мы видим то, что
называется страстью (die Leidenschaft), когда стремление так сильно, что
поглощает в себе всю жизнь человека. Страсть страшна, как силы природы, потому
что, подобно им, слепо низвергает все, что становится на пути ее. Подобно силам
природы, сила страсти выказывается тем, как велики сокрушаемые ею препятствия,
на которые гневно обращается она. Потому главная форма слепой страсти – гнев
(der Zorn). Даже слепая любовь является сокрушающим гневом, уничтожая все, что
препятствует, что хочет связать ее.

Когда человек стремится со слепую страстью, не обращая внимания на нравственный
закон, и стремление его не мгновенно, а сделалось постоянною пружиной его
действий, в нас пробуждается мысль, что его свободная воля подчинилась его
страсти по самоволию: «я делаю так, потому что хочу так, и ничего, кроме себя,
знать не хочу»; вот основание действий такого человека, и такого человека,
ставящего <выше всего> свое личное стремление, мы называем злодеем, в нем
проявляется злое (das Böse). Злое возвышенно, когда оно так сильно, что всякое
сопротивление окружающих людей такому человеку ничтожно, падает перед
могуществом его волн и ума. Потому, чтобы злое являлось нам, как возвышенное,
оно должно сопровождаться необыкновенною силою страсти, пронизательностью,
гибкостью высокого ума и способностью злодея жертвовать второстепенными своими
стремлениями и наслаждениями для достижения главной цели. Злое есть безобразие в
настоящем смысле слова, безобразие, какого нет в природе.

Когда вся личность, вся жизнь человека посвящается какому-нибудь нравственному
стремлению, и с такою силою, что все другие люди в <этом> отношении кажутся
ничтожными перед этим человеком, мы получим возвышенное добра в человеке. Но в
области прекрасного все должно являться живым и действительным. А без
разнообразия в стремлениях нет живого человека. Потому возвышенно добрый человек
в искусстве должен являться со всем разнообразием стремлений, какое бывает в
живом человеке: герой драмы, у которого только одно чувство, который не видит,
не слышит и не чувствует ничего, кроме голоса своего нравственного стремления,
будет мертвым, сухим скелетом, а не человеком. Но все эти разнообразные
стремления, увлекающие человека с возвышенным нравственным характером, он
побеждает, подчиняет своему главному стремлению; правда, ему часто бывает нужна
для этого борьба с собой; но чем тяжелее борьба, тем лучше, сильнее выкажется
могущество, возвышенность его нравственного стремления.

Страстная преданность нравственному стремлению называется пафосом. Напрасно
называли «страстью» только низкие, грубые, эгоистические, злые страсти. Любовь к
отечеству, дружба, любознательность также могут доходить до степени страсти,
поглощающей всего человека, со всеми его остальными привязанностями, как и
любовь к вину, к игре и т. п. И никогда еще не совершал ничего великого человек,
не одушевленный страстной преданностью.

Отдельные формы возвышенного, о которых мы говорили до сих пор, соединяются; в
одном предмете проявляется и возвышенное в природе, и возвышенное в человеке:
такое соединение называется трагическим (das Tragische). Чтобы понять
трагическое, как оно понимается у новейших эстетиков, нам должно начать свое
объяснение довольно издалика.

Весь мир составляет одно целое, я, действуя на известную часть природы, мы до
некоторой степени имеем дело со всею природою, потому что все части вселенной
связаны между собою так, что изменение одной влечет за собой некоторое изменение

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshevo всех. Не так легко доказать эту связь на высших степенях жизни; но очень ясна она в природе неорганической. Приведем старинный пример. Я бросаю в реку камень; вода взволновывается, и во все стороны катятся по воде круги; они все расширяются и делаются слабее, незаметнее для глаза, расширяясь. Но где же круги эти прекращаются на самом деле? Математика доказывает нам, что нигде; незаметные для нашего глаза, они пробегают всю реку. Потому Лейбниц, если не ошибаемся, говорит: песчинка, брошенная в Атлантический океан, производит волнение во всех океанах, и волны, произведенные ею, ударятся о берега Англии и Америки, Китая и Новой Голландии. Таким образом, весь мир, как одно целое, стоит под законом, необходимо связывающим все части его. Но точно так же господствует неизбежный закон и в нравственном мире, и нравственный закон властвует надо всею человеческою жизнью. Действуя в силу нравственного закона, человек необходимо вступает в борьбу с законом необходимости, обнимающим всю природу, он нарушает однообразное действие сил ее, стараясь изменить природу по своим потребностям. Так борется с природою земледелец, заставляя природу производить то, чего не произвела бы она сама; так борется с природою горожанин, создавая себе удобства жизни, которых не доставляет ему сама природа, не переделанная руками человека. Подобным образом всякая человеческая деятельность есть до некоторой степени борьба с природою, нарушение естественной деятельности природы. Но природа не отказывается от своих законов, и дело человека вдруг или мало-помалу сокрушается, по-видимому, природою, сокрушается природою и сам человек. Она заглушает человеческую ниву своими травами, она разрушает своими непогодами дом и все труды горожанина. Законы природы побеждаются на время человеком, но природа борется против дел человека и самого человека; борьба эта имеет следствием для человека страдание (das Leiden). Этот закон тяжелой борьбы человека с внешним законом необходимости, господствующим в природе и в деятельности других людей, есть трагическое.

Низшая форма трагического – борьба и гибель человека, в котором отразилось простое могущество, чуждое нравственной идее: могущество красоты, могущество силы, богатства и т. п. Таково трагическое судьбы Креза и Поликрата, о которых рассказывает Геродот. У древних было господствующим мнение, что судьба завистлива и любит низвергать высокое.

Вторая форма трагического то, когда человек погибает или страдает, потому что совершил преступление или ошибку, или, наконец, просто обнаружил слабую сторону своей сильной, глубокой природы и через это стал в противоречие с законами, правящими судьбою людей, которые подавляют его своею силою, несмотря на все его величие! Так Дездемона погибает от своей доверчивости, непредусмотрительности, наивности, возмущившей спокойствие мужа; так Офелия погибает от легковерия своей любви к Гамлету, которая заставляла ее во всем слушать Гамлета, вполне отдаться ему. Здесь проступок так мал, что его должно назвать простой ошибкой; но, тем не менее, Дездемона и Офелия через ошибку свою вызвали против себя силу, под бременем которой падают. Ужасно и возвышенно в их положении то, что следствие ошибки неизбежно необходимо: такая простодушно неосторожная женщина, как Дездемона, должна непременно вызвать не тем, так другим ревность мужа; такая доверчивая девушка, как Офелия, должна непременно и потерять свою честь, и потерять своего милого, потому что не понимает, как может ее милый не любить ее так же безгранично, как она любит его. Необходимо, с другой стороны, и впасть им в эти ошибки: если бы не была Дездемона так простодушно и неосторожно невинна, не могла бы так любить Отелло, как любит, а Офелия не была бы Офелиею, не была бы существом, которое способно чувствовать безграничную любовь, если б могла угадывать, чем кончится ее любовь к Гамлету. Виною столкновения с грозною судьбою у Дездемоны и Офелии только ошибка; но точно так же бывает причиною такого столкновения преступление или преступная страсть, источник целого ряда преступлений; примеры этого – Отелло и Макбет. И в их участи опять двойная необходимость: характер их таков, что они не могли иначе действовать; гибель их неизбежное, необходимое следствие самого их преступления. Возвышенность трагического заключается здесь, во-первых, в непобедимой неизбежности рокового события при данном характере действующего лица и при данной обстановке, во-вторых, в неизбежном падении его от самого того дела, в котором выказывается сила его характера: велика сила его мощного характера, все преодолевает она; но со всей этою силою сокрушается он, как слабое, ничтожное существо, тою непреклонною силою законов, правящих миром, которые вызвал он на борьбу с собою, – и вот в этом-то падении такого сильного человека и открывается нам все беспредельное могущество силы, правящей миром. Это называется трагическим проступком или преступлением. Но есть еще высшая форма трагического – трагическое нравственного столкновения.

Поступок и следствие поступка в судьбе Офелии и Дездемоны, Отелло и Макбета связаны неизбежно; тем не менее связь их, по-видимому, зависит от случайных обстоятельств: не будь Яго с его ненавистью к Родриго – и ревность Отелло не пробудилась бы; не будь у Дункана детей – и Макбет не имел бы себе соперников. Но борьба и падение могут не иметь и по внешности этого случайного характера. Общий нравственный закон дробится на частные требования, которые часто находятся в противоположности между собою, так что, удовлетворяя одному, человек необходимо оскорбляет другое. Борьба эта, не приводимая никакими случайными внешними обстоятельствами, истекает из самого нравственного требования, ищущего себе удовлетворения в противность другим нравственным требованиям. Она может оставаться внутренней борьбой в сердце одного человека. Такова борьба в сердце Антигоны у Софокла; она сама чувствует, что похоронить проклятого брата – преступление, но она чувствует, что не может изменить и братской любви, требующей от нее похоронить брата. Но так как искусство все олицетворяет в отдельных образах, в отдельных лицах, то обыкновенно борьба двух требований нравственного закона представляется борьбой двух лиц. Так Фауст изображает борьбу духовных стремлений к бесконечному и склонности человека привязываться к мимолетному, ограниченному наслаждению; борьба эта происходит в сердце Фауста; но, тем не менее, сам Фауст является, по преимуществу, представителем духовных высших стремлений, а страсть к мимолетным, чувственным наслаждениям выражается Мефистофелем. В истории <есть> две противоположные нравственные идеи, из которых каждая имеет на своей стороне справедливость, и борьба их выразилась, например, в борьбе эвпатридов и демоса в Афинах, потом в борьбе Афин и Спарты, в борьбе патрициев и плебеев, потом римских граждан и итальянских союзников (*bellum sociale*), наконец, в борьбе Мария и Суллы, Помпея и Цезаря, Брута и Октавия; в средних веках мы находим такую же борьбу между немецкими императорами и папами, гвельфами и гибеллинами; и, вообще, все великие эпохи и все великие события истории состоят в борьбе двух идей, из которых каждая имеет на своей стороне право. Но одно из этих двух противоречащих стремлений справедливее и потому сильнее другого; оно сначала побеждает, уничтожает все противоположное ему, и тем самым становится уже несправедливо, подавляя законное и справедливое право противоположного стремления. Теперь справедливость на стороне противоположной, и стремление, бывшее в сущности более справедливо, погибает под тяжестью собственной несправедливости, под ударами противоположного стремления, которое, будучи оскорблено им в своем праве, имеет за себя всю силу истины и необходимости, и само, в свою очередь, точно таким же образом впадает в несправедливость, которая влечет за собою гибель или страдание. Прекрасно все это развивается в «Юлии Цезаре» Шекспира: Рим стремится к монархической форме правления; республиканская обветшала, сделалась негодной для римского государства, и представителем этого направления является Юлий Цезарь. Оно справедливее, потому сильнее, нежели противоположное направление, стремящееся сохранить настоящее, издавна установившееся устройство Рима, и Юлий Цезарь сильнее Помпея, представителя, последнего принципа. Юлий Цезарь быстро кончает борьбу победою над своим противником. Но существующее также имеет право существовать; оно разрушено Юлием Цезарем, и законность, этим оскорбленная, восстает против Цезаря в лице Брута; Цезарь погибает, но заговорщики сами мучаются сознанием того, что Цезарь, погибающий от них, выше их, и, наконец, погибают и сами от той силы, против которой восстали и которая воскресает в триумвирах. Но на гробе Брута Антоний и Октавий высказывают свое сожаление о Бруте и признают справедливость его стремления. Так совершается, наконец, примирение противоположных стремлений, из которых каждое и справедливо, и несправедливо в своей односторонности; односторонность эта постепенно сглаживается падением и страданием каждого из них, и из борьбы и гибели возникают единство и новая жизнь. Впечатление, производимое на нас возвышенным в природе, – страх и благоговение; возвышенное страсти действует, с одной стороны, как страх, с другой стороны, оно пробуждает нашу гордость, или, лучше сказать, чувство собственного достоинства, возвышает нас мыслью о том, как силен человек. Так же действует и трагическое, но к этому прибавляется в нем еще благоговение перед силою закона нравственной необходимости. Погибель и страдание великого лица, которое является нам в возвышенном страсти и в трагическом, возбуждает сострадание к нему.

Очень естественно читателю, который не позабыл еще нашу первую статью и наш взгляд на сущность прекрасного, ожидать, что мы не согласимся и с определением возвышенного, которое представляет нам возвышенное, как «превозможение идеи над формой». Мы не будем, впрочем, останавливаться над этим определением, потому что оно только самообольщение; самый беглый взгляд на обыкновенные понятия о

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
возвышенном, изложенные нами, может убедить, что, определяя возвышенное, как
перевес идеи над формой, только удовлетворяют своему желанию подвести под одно
начало прекрасное, возвышенное и комическое: сочетание идеи с формой общее у
всех этих понятий; в прекрасном – равновесие идеи и формы, в комическом идея не
наполняет формы, в возвышенном идея переполняет форму. Но так только говорится,
чтобы поддержать систематичность науки; в самом же деле под возвышенным понимают
то, что возбуждает в нас идею бесконечного; такое понятие о возвышенном
проглядывает постоянно в нашем изложении, представляющем верный, по возможности,
очерк господствующего теперь взгляда: если мы не могли изложить всего так ясно,
как нам хотелось бы, то, по крайней мере, не внесли ничего от себя в это
изложение.

Итак, вместо мнимого понятия о возвышенном, рассмотрим настоящее понятие о
возвышенном, теперь господствующее. Оно выразится так: возвышенное есть тот род
прекрасного, в котором видим мы идею бесконечного.

Во-первых, справедливо ли, что возвышенный предмет наводит нас на идею
бесконечного и кажется возвышенным только потому, что наводит нас на эту идею,
пробуждает ее в нас? Не будем входить в рассмотрение того, в самом ли деле мы
имеем идею бесконечного, или она не вмещается нашим разумом, а тем более нашею
фантазию; это завело бы нас слишком далеко; ограничимся только тем, что скажем:
беспристрастное наблюдение над своими понятиями (или даже идеями, если угодно)
показывает нам, что мы в этом случае обольщаем сами себя, а что идея
бесконечного – ложное понятие, которое мы, ободряемые наукой, толкующей нам о
бесконечном, усиливаемся составить себе, но никак не можем составить; потому что
оно – понятие, противоречащее само себе, вроде понятий: холодный огонь, сладкое
безвкусие, беззвучная трескотня, или, как выражается Гоголь, «сапоги всмятку».
Мы имеем понятие только о чрезвычайно большом, можем даже говорить себе в своем
воображении: «пусть этот предмет, эта поверхность растягивается в моем
воображении до беспредельности», – но в самом деле не можем вообразить себе
этого. Как все противоречащее само себе (например: холодный огонь или мягкий
лед), идея бесконечного чрезвычайно туманна или, выражаясь ученым языком,
«непостижима». Потому она прекрасный ключ ко всему, что не может быть объяснено
при настоящем положении нравственных наук. Но она темна, а пронизательность ума
в том и состоит, чтобы понимать темное, и вот великие умы напрягают все свои
усилия, чтобы прояснить эту идею, и начинают нам толковать об «абсолюте». Когда
слишком напряжено зрение, перед нашими глазами начинают носиться призраки, или,
попросту говоря, у нас начинает рябить в глазах. Так и великим (истинно великим)
умам Шеллинга и Гегеля (особенно Гегель обладал действительно страшную силою
ума), погруженным в напряженное созерцание темной пустоты слова «абсолют»,
явился, наконец, фантом, одному один, другому другой. Они поняли «абсолют» и
начали объяснять его. С одной стороны, увлекающая сила гениального ума, с другой
– стыд перед самим собою сказать: «я не в силах понять того, что понимает, по
его словам, очень ясно гений», были причиною, что почти всем показалось, будто
бы «теперь абсолют объяснен, идея абсолютного стала ясна», и пустое слово стало
краеугольным камнем всех философских мнений.

Но если, наконец, и оставить без оспаривания «идею абсолютного», то все же
нельзя согласиться с тем, что «возвышенный предмет – тот предмет, который
пробуждает в нас идею бесконечного». Строго и без всякого предубеждения замечая,
что происходит в нас, когда мы созерцаем возвышенное, мы убедимся, что нам
представляется возвышенным сам предмет, который производит на нас впечатление
возвышенного, и что в то же самое время он несколько не кажется нам
беспредельным или неизмеримым. Величественный пейзаж, например, горы Швейцарии
или Кавказа, – но неужели, в самом деле, какой-нибудь Казбек или Монблан кажется
нашим глазам или нашей фантазии неизмеримо высоким? Нет, он просто кажется нам
очень высоким, и в самом деле очень высок. Неужели нам кажется бесконечно высоким
«величественный лес»? Нет, он только очень высок. «Возвышенным» предметом все
согласно называют море; но если виден берег, нечего и говорить о безграничности
моря; если же берега и не видно, то море ограничивается пределами горизонта и
представляет простую поверхность, лежащую под нами и далеко не занимающую всего
поля зрения, большая часть которой занята небом. «В природе нет бесконечных
предметов», это всякому давно известно, и предметы в природе, кажущиеся нам
возвышенными, продолжают в то же время оставаться для нас предметами
ограниченной, но только очень большой величины. Силы природы гораздо скорее
могут навести на понятие бесконечности; но строгое рассмотрение возбуждаемых ими
в нас чувств и мыслей также показывает, что и они не представляют нам
бесконечными. Гром и молния или общая картина грозы чрезвычайно возвышенное

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
явление. Но простой человек, живущий в маленькой избушке, очень хорошо помнит, что гроза не несет, не «разломает» его избушки, если она держится «не на куриных ножках»; а наши каменные дома и подавно не уступят грозе. Молния убьет человека, зажжет сильный пожар, – но более ничего сделать она не в силах. Разлив, наводнение страшнее, но мы очень хорошо знаем, что первый пригорок преграда ему. Еще страшнее сила землетрясения; перед нею, в самом деле, кажется нам, не устоит ничто... так, но припомните, что о землетрясениях, подобных Лиссабонскому, и землетрясениях Южной Америки мы знаем только по слухам, и уже, конечно, не по землетрясениям составила идея о возвышенности сил природы у немцев, англичан, французов, у русских: о землетрясениях, бывающих у нас, например, в Киеве, наши летописи выражаются так: «В лето 6630 Анфилофий, епископ Володимирский, умре; и земля потрясется мало; и Володаря яша Ляхове лестью». «Но истинно возвышенное в человеке, а не в природе», – отвечают нам эстетики. Правда, вы говорите это; но, по вашему мнению, и в природе есть истинно возвышенное; кроме того, мы хотели только показать, что предметы и силы природы (все равно, сами ли они возвышенны или наша фантазия одевает их возвышенностью) вовсе не возбуждают идеи бесконечного, производя впечатление возвышенного. Возвышенность силы в человеке очень велика; но сила человека далеко не кажется нам непреодолимой: всякий всегда очень хорошо помнит, что «какую бы страшную силу» ни проявлял человек, он не перервет хорошей веревки, толщиною в полтора пальца; и разве крайняя трусость заставит четверых бежать от одного, как бы «могуч» ни был он. «Сила страсти» гораздо непреодолимее; но разве мы не знаем, что страсть всеильна только над той грудью, в которой кипит, что другие люди очень легко могут устоять перед притязаниями человека, пожираемого страстью, и что на природу наши страсти, со всем их пламенем, не могут произвести никакого действия. А от владычества над отдельным человеком до возбуждения идеи бесконечности еще очень далеко. Уже скорее, нежели непобедимая потребность любить или порыв всесокрушающего гнева, которые испытывать на себе и видеть в других достается нам так редко (и большею частью в жалком виде), могла бы назваться «непреодолимою силою» потребность есть и пить: она всегда и надо всеми людьми господствует, и из-за этой потребности совершается гораздо больше гораздо труднейших подвигов и преступлений, нежели от любви или от гнева. Проявления страстной любви, самоотверженной дружбы и т. д. действительно увлекательны, очаровательно или страшно возвышенны, но вовсе не потому, чтобы они пробуждали идею «бесконечной силы», а просто потому, что они – важнейшие, интереснейшие моменты жизни, что они – все равно, ядовитый или благоуханный цвет, но цвет жизни человеческой.

Мы просмотрели «возвышенное объективное», или возвышенное в природе, «возвышенное субъективное», или возвышенное в человеке, и не нашли, чтобы эти роды возвышенного пробуждали в нас идею бесконечности. Нам остается рассмотреть «возвышенное объективно-субъективное», или трагическое. И в нем не найдется этого. Но трагическое рассмотрено будет нами отдельно, в конце наших замечаний о возвышенном, и мы надеемся, что мыслящий читатель очень легко может приложить наш взгляд и к трагическому, если согласился с нами во взгляде на то, пробуждается в нас или нет идея бесконечности возвышенным в природе и в человеке?

В чем же состоит сущность возвышенного по нашим понятиям?

Было бы утомительно для читателя, если бы мы начали приводить примеры того, какие предметы и какие явления представляются нам возвышенными. Стоит читателю припомнить примеры, которых так много было уже приведено в нашем изложении и в нашей критике, чтобы увидеть, что «возвышенный предмет – тот предмет, который много превосходит своим размером те предметы, с которыми сравнивается; возвышенное явление то явление, которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается». Монблан выше других гор, Волга шире какой-нибудь Тверцы или Клязьмы, «величественный лес» выше в двадцать раз ничтожного кустарника; Юлий Цезарь гораздо выше всех окружающих его людей по уму и по характеру и выше всех полководцев своего времени; Дездемона любит сильнее, Отелло любит и ревнует сильней тех господ и господ, которых мы дюжинами встречаем «а каждом шагу; Дездемона страдает с такою преданностью любви, какой не встретишь на каждом шагу. Давши такое определение возвышенного, мы должны сделать два замечания.

Во-первых, вместо общеупотребительного термина «возвышенное» (das Erhabene), нам кажется гораздо более соответствующим нашему определению термин «великое» (das Grosse). О словах нечего спорить, но «великое» гораздо проще, нежели «возвышенное»; das Erhabene по-немецки и «возвышенное» по-русски одинаково

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
напыщенные, риторические слова; и слово «великое» по-русски не совсем свободно
от этого упрека, но гораздо менее отзывается схоластикой, нежели «возвышенное».
Для нас оно кажется очень удобным потому, что очень хорошо выражает сущность
понятия, как мы ее определяем: «велико» то, что «гораздо больше» всего
остального, с чем сравнивается.

Во-вторых, мы должны высказать, до какой степени оригинальна мысль наша о
сущности возвышенного, или, как мы будем впредь называть его, великого. Ту же
самую мысль, какая развита нами, встречаем у многих эстетиков; они говорят: «мы
сравниваем возвышенный в пространстве предмет с окружающими его предметами; для
этого на нем должны быть какие-нибудь подразделения, дающие возможность считать,
сколько раз, положим, высота дерева, растущего на горе, заключается в высоте
горы; этот счет до того длинен, что, не дошедши до конца, мы уже теряемся,
сбиваемся со счету, и должны, дошедши до конца, опять считать с начала, и опять
теряемся в счете; таким образом, гора кажется нам, наконец, так велика в
сравнении с деревом, что мы не в силах и определить, во сколько раз она больше
его, и говорим: «гора бесконечно выше дерева». «Сравнение с окружающими
предметами необходимо для того, чтобы предмет представился возвышенным».
Следовательно, в нашей мысли нет оригинальности; оригинальность только в том,
что мы возводим ее в основную мысль, между тем как в обыкновенной эстетике она
занимает второстепенное место; кроме того, мы прилагаем ее в равной степени ко
всем видам великого, между тем как обыкновенно приложение ее ограничивают одним
великим в пространстве. Мы говорим: «превосходство великого над мелким и
дюжинным состоит в гораздо большей величине (великое в пространстве и во
времени) или в гораздо большей силе (великое сил природы и великое в человеке)»;
обыкновенно говорят: «великое состоит в превозможении идеи над формой, и это
превозможение на низших степенях возвышенного узнается сравнением предмета по
величине с окружающими предметами». Нам кажется, что наша не оригинальная мысль
дает оригинальность нашему взгляду, потому что из второстепенного признака
некоторых родов великого становится у нас сущностью всякого высокого.

Когда мы будем говорить об отношении искусства к природе, вся важность различия
между нашим взглядом и обыкновенным взглядом на великое выкажется сама собой.
Теперь заметим кратко, что по нашим понятиям великое в природе существует
действительно, а не вносится в нее нашею фантазиею, как думают обыкновенно
(точно так же, как, по нашему мнению, прекрасное действительно существует в
природе, а не вносится в нее нашею фантазиею). Заметим еще, что если, с одной
стороны, мы придаем самостоятельную независимость от человеческой фантазии
прекрасному и великому, то, с другой стороны, мы выставляем на первый план
отношение к самому человеку и к его понятиям того, что находит человек
прекрасным и великим: прекрасное то, в чем видим мы жизнь так, как мы понимаем и
желаем ее, как она радует нас; великое то, что гораздо выше предметов, с
которыми сравниваем его мы. Обыкновенные понятия говорят совершенно противное:
прекрасное остается вне всякой связи с нашим взглядом на вещи; великое не имеет
никакой связи с нашими понятиями о том, что велико, что мало.

Теперь посмотрим, что именно великого находит человек в мире и в самом человеке,
почему и как действует на него это величие.

В природе неорганической «ас поражает громадность предметов, мы видели это в
изложении обыкновенных понятий, с которыми в этом случае мы, конечно, вполне
согласны; почему же это? просто потому, что не может не поражать предмет,
который гораздо больше других. Нам говорят, что громадная гора возбуждает в нас
мысль о безграничности сил природы, ее воздвигнувших, – но очень немногие, даже
теперь, имеют понятие о том, что горы подняты из недр земли силою подземного
огня; а прежде и никто не знал этого; да и теперь кому из людей, имеющих понятие
о геологии, приходит в голову, что Казбек поднят из недр земли, когда эти люди
восхищаются Казбеком? Они думают о том, как стоит Казбек, а не о том, как
поднялся он и как велика должна быть сила, поднявшая такую громаду. Какое
чувство производит громадная гора в человеке? Чувство удивления – и больше
ничего. Приятно или не приятно это чувство? Так себе, ни то, ни се. Но, конечно,
интересно глядеть на Казбек, потому что интересно глядеть на всякую диковинку.
Другое дело, если обратим внимание на стремнины, пропасти, которыми испещрена
всякая большая гора, пропасть всегда страшна, потому что всегда пробуждает мысль
о том, как нам приводилось ехать мимо какой-нибудь пропасти, или хоть, по
крайней мере, по крутому кособогу: того и смотри, обрушишься! Сердце невольно
замирает от страха у человека, стоящего на краю пропасти; но отчего этот ужас?
От личной опасности – и только. Совершенно другое впечатление производит река:

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
если она спокойна, она своей широкою поверхностью говорит нам о приволье, раздолье жизни – и у нас рождается какое-то радостное, раздольное разгульное чувство; кроме того, эта река поит целую страну, без нее на сотни верст была бы мертвая пустыня, – и в человеке еще сильнее бьется сердце при мысли о жизни, расцветающей вдоль реки. Но если река взволновалась, она ужасна, потому что поглотит все, что на ней. О том, что силы природы страшны потому, что не щадят человека и человек бессилён перед ними, говорят и обыкновенные эстетические понятия.

Сила характера, сила ума, сила страсти производит на нас совершенно другое впечатление: с одной стороны, мы чувствуем себя мелкими перед человеком, в котором видим чрезвычайную силу страсти, ума и т. п., нами овладевает что-то вроде зависти или стыда; но гораздо сильнее и слышнее другое, противоположное чувство: он человек и я человек; как велик и могуществен человек! Следовательно (в скобках): как велик и могуществен я! И взгляд на великого человека заставляет нас гордиться тем, что мы – люди, возвышает чувство человеческого достоинства. Видя великого человека, я испытываю то же самое, что испытываю при мысли, что у меня, мелкого и бедного человека, есть брат, знатный и богатый человек. С одной стороны, легкая досада и зависть: зачем я не такой же? С другой – гораздо сильнейшее чувство самодовольства: блеск знатности и богатства моего брата отражается и на мне; из-за него почитают и меня другие, через него я возвышаюсь и в собственных глазах.

Прекрасное то, что проявляет в себе жизнь или напоминает о жизни; великое или возвышенное то, что гораздо больше предметов или явлений, с которыми сравнивается: ясно, что понятие прекрасного и понятие возвышенного или великого – совершенно различные понятия, не имеющие между собой никакой внутренней связи; великое в природе и в человеке может быть прекрасно, может быть гнусно или отвратительно (например, аллигатор; подлый, трусливый, лживый себялюбца), так же точно, как, например, истинное, доброе может быть прекрасно и не прекрасно. Нам потому кажется ошибкою, что возвышенное считают видоизменением прекрасного. И потому, если эстетика – наука о прекрасном, в нее не может входить трактат о возвышенном или великом; но она должна говорить о великом, если смотреть на нее, как на науку об искусстве; потому что искусство изображает, между прочим, и великое, как изображает комическое, доброе, как изображает все, что может быть интересно для нас в жизни. Нам должно будет развить это понятие об искусстве впоследствии, когда мы будем говорить собственно об искусстве и о том, какая потребность нашего духа создает искусство. Великий предмет, великое явление отличны от прекрасного предмета, прекрасного явления по своей сущности; точно так же различно и чувство великого от чувства прекрасного: главная черта в чувстве прекрасного – какая-то нежная радость; мы видели, что характер ощущения, производимого в нас великим, совершенно не таков: мы чувствуем, созерцая великое, или страх, или удивление, или гордое сознание собственной силы и человеческого достоинства, или падаем перед ним в сознании собственной нашей мелочности, слабости.

Переходим теперь к понятию трагического, которое, может быть, и справедливо считают высшим родом великого.

Уже и самое наше изложение обыкновенных понятий о трагическом достаточно показывает, что понятие трагического обыкновенно соединяют с понятием судьбы; так что «трагическая участь человека» представляется обыкновенно, как «столкновение человека с судьбою», как «следствие вмешательства судьбы». А между тем мы старались в изложении своем очистить обыкновенные понятия о трагическом ото всех посторонних понятий, которые почти все эстетики примешивают к ним, и в большей части трактатов о возвышенном понятие судьбы, как причины трагической участи человека и человеческих дел, высказывается гораздо яснее и сильнее, нежели в нашем изложении. Понятие судьбы очень часто искажается в новых европейских книгах, переделывающих его по нашему обыкновенному образу мыслей; и потому нам кажется необходимо представить его во всей его чистоте и наготы; оно через это избавится от нелепого смещения с понятиями, совершенно отличными от него, и вместе с тем выкажет всю свою неосновательность, которая прячется при новейших переделках его на наши нравы.

Живое и неподдельное понятие о судьбе было у старинных греков и до сих пор живет у арабов, персиян и турок; посмотрим же, как понимают они судьбу. Для этого рассмотрим из круга их сказаний два-три примера действия судьбы.

В «Тысяча и одна ночь» есть прекрасная сказка о Календере, вся участь которого была делом судьбы. У царя родится сын; отец, в восторге, гадает о том, какова будет участь его сына; он хочет узнать, какие несчастья грозят ему, чтобы иметь возможность предотвратить их. Астрологи отвечают ему, что на двадцатом году жизни сыну его будет грозить страшное несчастье; но что если этот год пройдет благополучно, то царевич будет жить долго и счастливо; отец хочет укрыть сына от всякой опасности, и перед началом его двадцатого года посылает его за море к своему брату, где он проживает опасный год инкогнито, следовательно, вне всякой опасности; но корабль разбивается, и царевич выкинут один на необитаемый остров – первое несчастье, первое действие судьбы, и от чего произошло оно? Именно от старания избежать опасности и несчастья; не будь отцу царевича сказано, что должно опасаться несчастья, не вздумай он укрывать сына от несчастья – он не подвергся бы никакой опасности, никакому несчастью. Во сне является царевичу старик, велит ему повалить статую железного всадника, а потом перевозит царевича на другой остров, также необитаемый; но царевичу тут хорошо, потому что на нем растут прекрасные плоды. Скоро замечает он приближающийся к берегу корабль и, чтобы избежать всякой опасности от экипажа, влезает на густое дерево, на котором его нельзя заметить. Из корабля выходит старик-купец с сыном, прячет сына в подземелье и уезжает. Царевич входит в подземелье и дружит с оставленным там молодым человеком; молодой человек рассказывает ему, что отец его, богатый купец, получил предсказание, что в течение сорока дней по низвержении железной статуи сын его будет убит царевичем, низвергшим эту статую, и, чтобы скрыть сына от царевича, приготовил для него это подземелье на острове, к которому никогда не пристают корабли. Через сорок дней он приедет за сыном. На сороковой день царевич хочет разрезать дыню; нож висит над диваном, на котором лежит молодой человек. Царевич становится на диван, снимает нож, запутывается ногою в платье молодого человека, падает, – и нож вонзается прямо в сердце молодому человеку – опять несчастье случилось именно потому, что предвидели его и хотели его избежать. История царевича продолжается в этом же духе. Припомним еще историю Эдипа, знаменитейшее из греческих сказаний о судьбе. Фиванский царь Лаий получил предсказание, что сын его убьет его; он велит «забросить» младенца, грозящего ему смертью. Но брошенный младенец найден пастухами и представлен коринфскому царю, который воспитывает его как собственного сына; выросши, Эдип спрашивает оракула о своей судьбе; оракул отвечает ему, чтобы он не возвращался в отечество, потому что, если встретится он с отцом своим, то убьет его; считая Коринф отечеством своим, Эдип бежит из Коринфа; на дороге через узкое ущелье встречается он со стариком, нечаянно завязывается ссора, и Эдип убивает старика – этот старик и есть отец его, Лаий. Если б Лаий не знал о том, что сын убьет его и не старался бы избежать этого, он не был бы убит сыном; если бы Эдип не избегал своего отца, он не встретился бы с ним; если бы не знал он, что убьет отца и не старался бы избегнуть этого, он не убил бы отца.

Вот что называется судьбою. Это какая-то непобедимая сила, которая хочет губить людей; но, чтобы резче выказать их бессилие перед собою, она нарочно предостерегает их; предуведомленный о грозящем ему ударе, человек старается избежать удара; но именно этого-то и хочет судьба: на самой безопаснейшей дороге она и настигает бегущего. Она не просто губит человека – она хочет посмеяться над его умом, над его предосторожностями, она непременно губит его тем самым, чем он думает спастись.

Мы надеемся, что в настоящее время не найдется ни одного образованного человека, который бы не признал такого понятия о судьбе детским и несообразным с нашим образом мыслей. Образ мыслей старинных греков (старинными греками называем мы греков до появления у них философии) и полудиких азиатцев неприличен европейцу нашего времени. Я хочу купить сукна; мой знакомый говорит мне: «не покупайте в лавке NN, там дадут вам дурного, гнилого сукна; берите сукно в магазине DD, под таким-то номером». – Что выйдет из этого совета по нашим понятиям? То, что я действительно куплю сукно в магазине DD, я мне дадут прекрасного сукна по сходной цене; по мнению старинных греков, напротив: если бы я не посоветовался с опытным человеком, если бы я не взял предосторожности против того, чтобы получить за дорогую цену плохое сукно, может быть, моя покупка и была бы удачна; но теперь я непременно куплю втридорога и куплю дурного, гнилого сукна, именно потому, что остерегаюсь этого; я действительно беру сукно в магазине под тем номером, который рекомендован мне; но что же? Под этим номером магазин, от которого предостерегал меня мой приятель; он занял лавку, оставленную магазином DD, который переведен уже на другое место. Я отправляюсь в дорогу; меня предупреждают: когда будете проезжать через такое-то место, надобно будет вам вылезть из экипажа, потому что тут очень крутой спуск; я следую этому совету.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
что будет по нашим понятиям? То, что я избег всякой опасности и благополучно сошел вниз; по понятиям старинных греков, напротив: стараясь избежать опасности, я нашел погибель: экипаж мой благополучно проехал по крутому спуску, я шел пешком – на меня напали разбойники и убили меня.

Подобные идеи так мало клеятся с нашими понятиями о вещах, что могут иметь для нас только интерес фантастического; и трагедия, которая основана на идее греческой судьбы, для нас будет иметь одно достоинство – достоинство народной сказки, обезображенной переделкою. Может показаться смешно наше ратование против идеи греческой судьбы; но мыслящий читатель без большого труда увидит, что эта идея, изменяясь и прикрашиваясь, проникает во многие из наших обыкновенных эстетических понятий.

Каким же образом возникла она? Мы уже имели случай говорить о том, что природа и сила ее представляются полудикому человеку каким-то похожим на человека существом; полудикий человек олицетворяет, очеловечивает, если так можно выразиться, природу и все ее силы. Море для него – Нептун, солнце – Аполлон, соловей – превращенная в птицу красавица, содрогание Сицилии от подземных сил огня – содрогание великана, заваленного этой грудой земли, которая образует остров Сицилию, подсолнечник для него – девушка, влюбленная в солнце (Аполлона), потому-то она и поворачивает свое лицо туда, где солнце. Олицетворяя, очеловечивая все, полудикий человек олицетворяет и силу случая.

Всякий из нас очень хорошо знает из опыта, что вперед рассчитывать наверное нельзя, что всегда между нашим намерением и приведением его в исполнение стоит множество случайностей, непредвидимых и неотвратимых. Если десять человек уговорились сойтись на другой день в шесть часов, то можно быть уверену, что одному или двоим обстоятельства помешают явиться, что другие явятся раньше или позже шести часов, потому что одних задержат обстоятельства, у других обстоятельства расположатся так, что им придется явиться раньше назначенного времени. Это пример мелочной; но чем важнее событие, тем реже оно совершается именно так, как мы рассчитывали; потому что тем более нужно сил и условий, – а все они подвержены случайностям, – для того, чтобы наши расчёты осуществились. Этот мешающий, препятствующий случай кажется полудикому человеку делом человекоподобного существа; случай уничтожает наши расчеты – значит, это существо (судьба) любит уничтожать наши расчеты, любит смеяться над человеком; случай сильнее наших расчетов, значит, судьба всемогуща; случай капризен, значит, судьба капризна, делает так, а не иначе потому только, что ей так угодно; случай часто пагубен для нас – значит, судьба любит вредить человеку – и, в самом деле, у греков судьба человеконенавистница; капризный, очень могущественный человек любит выказать свое могущество, говоря наперед тому, кого хочет уничтожить: «я хочу сделать вот что; попробуй помешать мне». Так делает и судьба: она вперед объявляет свое решение, чтобы доказать нам наше бессилие бороться с ней, уйти от нее и иметь злую радость посмеяться над нашими слабыми, неловкими, безуспешными попытками бороться с ней. Так понимали судьбу старинные греки; такую она является в их мифах и в их трагедиях, из которых выводится до сих пор понятие трагического.

Нам кажется, что подобные понятия, как бы ни переодевались, как бы ни прикрашивались они, должны быть решительно оставлены. Странно было бы нам верить в «буку», так же странно толковать о судьбе. Религия, поклоняющаяся судьбе, низшая степень язычества; она ниже даже самого идолопоклонства. Но такова сила народных преданий, что греческие философы, отвергая не только идолопоклонство, но даже многобожие, не могли оторваться от идеи судьбы и только старались приладить ее к понятиям науки; и, действительно, силою своего гения они успели замаскировать ее так, что она успела под разными формами и названиями удержаться надолго в науке и отчасти отразиться даже там, где с первого раза нельзя и предполагать ее.

Но довольно толковать о идее судьбы. Посмотрим, как она отразилась в эстетических понятиях о трагическом.

Нам говорят: свободное действие человека возмущает естественный ход природы; природа и ее законы восстают против оскорбителя, нарушителя своих прав; следствием этого бывает страдание и погибель действующего лица, если действие было так могущественно, что противодействие было вызвано серьезно. Таковы основание и сущность трагического.

Не правда ли, что природа и ее силы здесь представляются каким-то живым и чрезвычайно раздражительным существом, которое очень щекожливо насчет своей неприкосновенности и ни за что не позволит безнаказанно наступить себе на йогу? Неужели в самом деле природа оскорбляется? Неужели она в самом деле мстит? Не странно ли представлять <ее> себе чем-то похожим на отдельного человека и человеческое общество в этом случае? Смотри на жизнь человеческую глазами рассудка, а не фантазии, мы должны сказать: «всякое важное дело человека требует сильной борьбы с природой или другими людьми; но будет ли эта борьба трагична или нет, зависит от случая». Земледелец, конечно, постоянно борется с природою; не спорим, случается, что засуха, град, поздний мороз, дожди во время уборки губят его труды, но все это «случается» только, необходимости нет в гибели трудов земледельца; и должно сказать, во-первых, что гораздо чаще труд его бывает удачен, нежели гибнет: на один неурожайный год приходится пять урожайных; а удачная, счастливая борьба – не страдание, а радость. Во-вторых, надобно сказать, что тем реже будут неурожаи, чем лучше, больше земледелец обработает и переработает землю; то есть чем сильнее, неослабнее будет он бороться, тем удачнее и радостнее борьба; и наука сельского хозяйства подает нам надежду, что, обрабатывая землю как должно и принимая все предосторожности против сил природы, мы совершенно избавим свой посев от опасности погибнуть: от засухи предохранит искусственная поливка, от чрезмерных дождей – канавки и водоспуски, от града – градоотводны. Природа не раздражительна; она только беззаботна и не обращает никакого внимания на человека, потому что не способна чувствовать. А общество? Если в людях есть склонность завидовать величию, то в них еще больше (склонности уважать величие, и общество будет благоговеть перед великим человеком, если не будет особенных случайных обстоятельств, которые заставляют общество считать великого человека вредным для себя: трагична или не трагична судьба великого человека, зависят от обстоятельств, и гораздо менее можно в истории встретить великих людей, которых судьба была трагична, нежели таких, в жизни которых было много драматизма, но не было трагичности. Крез, по рассказу Геродота, Помпеи, Юлий Цезарь имели трагическую судьбу; но Нума Помпилий, Марий, Сулла, Август окончили свое поприще очень счастливо; что можно найти трагического в судьбе Карла Великого, Генриха Восьмого, Петра Великого, Фридриха Второго? Борьбы в их жизни много; но, взглянув на нее вообще, мы должны признаться, что счастье и удача были на их стороне.

Как нам говорят о трагическом проступка или преступления? «В характере великого человека есть всегда слабая сторона; в действовании великого человека есть всегда что-нибудь ошибочное или преступное; эта слабость, проступок, преступление губят его, а между тем они необходимо лежат в глубине, в сущности его характера; так что великий человек гибнет от того же, в чем источник его величия». Не подвержено никакому сомнению, что, часто бывает в самом деле так; войны, бесконечные войны возвысили Наполеона, они же и низвергли его; Кромвель нашел источник мучения в том же самом, в чем был источник его величия. Но не всегда это бывает; очень часто великий человек погибает просто от недостатка предусмотрительности, которая составляет случайную черту в его характере; так погибли намерения Тюрго и Иосифа II; нам скажут: великий преобразователь всегда действует по гениальному и благородному порыву, чуждому расчету и осторожности; напротив, Ришелье и Петр Великий были люди очень предусмотрительные и расчетливые. Наконец, очень часто человек погибает безо всякой вины со своей стороны; не будем приводить примеров из истории, потому что нам легко могут отвечать: «в этих случаях нет ничего трагического»; но неужели Дездемона в самом деле сама была причиною своей гибели? Всякий видит, что одни только гнусные хитрости Яго погубили ее. Конечно, если мы захотим непременно в каждом гибнущем видеть виноватого, как велят нам обыкновенные эстетические понятия, то у нас все будут виноваты: и Дездемона виновата, зачем она была так невинна? и Ромео и Джульетта сами виноваты в своей гибели: зачем они любили друг друга? и Дон-Карлос виноват, и маркиз Поза виноват, зачем они были так некстати благородны? я, наконец, ягенок в басне, пьющий из одного ручья с волком, виноват: зачем шел к ручью, где мог встретить волка, а главное, зачем не запасся такими зубами, чтобы самому съесть волка? Нам кажется, что мысль видеть в каждом погибающем виноватого, мысль натянутая и жестокая до того, что возмущает человеческое чувство.

Наконец, о трагическом нравственного столкновения обыкновенные эстетические понятия говорят: «Два противоположных стремления, из которых каждое до некоторой степени справедливо, вступают в борьбу; более справедливое сначала побеждает; но, становясь несправедливым от подавления справедливости, находящейся также и на стороне противоположного стремления, гибнет под ударами его; другое

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe стремление остается, по-видимому, победоносным, но смерть и страдание овладевают им потому, что оно, наконец, сознает само справедливость того дела, которое разрушено им. Обыкновенно противоположность двух стремлений выражается в искусстве посредством борьбы двух лиц, служащих им представителями; одно из этих лиц погибает, сначала победивши; другое, пережив противника, само скорбит о нем, и жизнь становится ему мучением».

Мы видели одно понятие, служащее, по обыкновенному мнению, основанием величия трагической судьбы: каждое бедствие и – особенно величайшее из бедствий – гибель есть следствие преступления или проступка, и в каждом бедствии, постигающем человека, зритель видит грозную силу вознаграждения со стороны природы и общества равным за равное. Теперь эта же самая идея представляется нам с другой стороны, и, по нашему мнению, также не основательны ее притязания на всегдашнюю приложимость ко всякому отдельному случаю: «за преступлением всегда следует наказание преступника; преступник или погибает, или страдает внутренне».

Мы очень хорошо знаем, что преступления, которые может наказывать государство, в благоустроенном государстве всегда наказываются. Но, кроме преступлений против государственного благоустройства, есть преступления против нравственности, которых государство не может уследить и для которых нет наказаний в уголовных законах; они могут быть наказаны только течением обстоятельств, общественным мнением и совестью самого преступника. И в противность эстетическим понятиям о трагическом, утверждающим, что преступление всегда наказывается одним из этих путей, мы думаем, что часто преступления против нравственности остаются совершенно без наказаний. Давно мы уже подсмеиваемся над старинными повестями, в которых всегда под конец торжествовала добродетель и наказывался порок внешним образом; правда, мы подсмеиваемся, но и в наше время часто пишутся подобные романы, где с явную натяжкой порочные под конец терпят наказание, а гонимая добродетель выходит суха из воды; в пример укажем на большую часть диккенсовых романов. Как бы ни было, но мы уже знаем, что на земле порок внешним образом наказывается не всегда, добродетель внешним образом награждается не всегда, что порочный может умереть спокойно в богатстве, что добродетельный может всю жизнь страдать и умереть страдая. Но все-таки нам хочется, чтобы порок и преступление необходимо, непременно наказывались, – и вот явилась теория, следы которой находим в обыкновенном понятии о трагическом: порок и преступление необходимо подвергают порочного или преступника проклятию от общества и угрызениям собственной совести, которые тяжелее, несноснее всякого наказания. Но, увы, и это бывает не всегда, далеко не всегда. Что касается до общественного мнения, то оно преследует не все гнусности, не все преступления. Не будем исчислять гнусностей, которые не роняют человека в общественном мнении в нынешней Европе: так как преступная снисходительность к ним наша снисходительность, то многие из нас готовы защищать ее, готовы утверждать, что те пороки и преступления против нравственности, на которые указали бы мы, не пороки и не преступления. Мы не хотим вдаваться в излишние споры, а укажем лучше на те гнусности, которые терпело общественное мнение у греков и римлян, надеясь, что этих гнусностей уже никто не будет защищать. Честные спартанцы были честны только со своими; всех неспартанцев (даже греков, не говоря уже о варварах, которых считали греки не совсем животными, но и не совсем людьми) спартанец мог обманывать, не переставая быть «честным и почтенным» в глазах своего народа. Известно, что вся внешняя политика Спарты бесчестна и вероломна в высшей степени. Мало того: спартанец должен был «выкинуть» – технический термин – своего младенца, если он родился хилым: государству нужно здоровых, сильных граждан, хилые и слабые для него обременение. Преступление здесь вменяется в обязанность. И неужели вы думаете, что спартанец мучился упреками совести, «выкинув» свое дитя? А охота за илотами, когда людей травили и били, как зайцев? Афинская внешняя политика также была решительно бессовестна; гнуснее политики Рима относительно соседних народов ничего не может быть. Но посмотрим, каковы были «гуманные» афиняне дома. Они держали своих жен взаперти – по нашим понятиям, это бесчеловечно; а разве афинянина мучила совесть за это? Они открыто жили с гетерами – и это не было позором; хорошо было бы, если бы они ограничивали этим свой разврат... Римские законы уполномочивали отца убить сына или продать его; освободившись, сын опять мог быть продан отцом; только после третьей продажи прекращалось право отца снова продать его – вероятно, было время, когда общественное мнение не преследовало таких поступков, если они были освящены законом. Если общественное мнение прежде было так не строго противу многих пороков и гнусностей, то мы вправе думать, что и теперь оно не так строго, как требует чистый закон нравственности. А если общественное мнение не вооружается против какого-нибудь порока или преступления, не пробуждает своим проклятием совести виновного, то

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
редко, очень редко проснется она.

Нам кажется неоспоримую истину для всякого человека, успевшего понять, что судьбы нет, если под судьбою понимать то, что понимали полудикие греки, а иначе понимать ее значит нелепым образом смешивать истины науки со взглядами не понимающего ни природы, ни жизни невежества, – нам кажется неоспоримую истину для всякого человека, смотрящего на мир и жизнь глазами образованного человека, что в страдании и гибели великих людей нет ничего необходимого; нам кажется, и нравственное преступление не всегда наказывается своими последствиями, столкновением обстоятельств, общественным мнением, даже угрызениями совести; что поэтому не идея необходимости пробуждается в нас зрелищем трагической участи человека. Что же нас поражает в трагическом? Во-первых, трагическое всегда бывает великим в том смысле, какой мы придаем этому слову: трагическое событие, великое, т. е. очень важное событие в человеческой жизни, трагический герой – замечательный, великий человек. Но этого мало. Трагическое есть страдание или гибель человека – этого совершенно достаточно, чтобы взволновать, поразить нас, наполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой гибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость причина страдания и гибели – все равно, страдание и гибель ужасны. Нам говорят: «случайная гибель – нелепость в трагедии», – в трагедиях, писанных «сочинителями», так, в действительной жизни – не так. Об этом мы поговорим больше, когда будем говорить о мнимом превосходстве созданий искусства перед действительной жизнью. Там увидим, хорошо «ли не хорошо делают писатели, везде вводя «необходимую, вытекающую из самой сущности завязки» развязку. В жизни развязка часто бывает совершенно случайною, часто не теряя от этого своей трагичности. Мы согласны, что трагична участь Макбета и лэди Макбет, необходимо вытекающая из их положения, характеров и дел. Но неужели не трагична участь Густава Адольфа, который погиб совершенно случайно в битве под Люценом, на пути победы и торжества? Неужели не трагична участь герцога Орлеанского (старшего сына Людовика Филиппа), который – надежда всей Франции, – выходя из коляски, оступился, ударился виском о мостовую и умер через несколько часов? Где же была необходимость его смерти? Нам кажется, что трагическое можно и должно определить просто так:

«Трагическое есть великое страдание человека или гибель великого человека».

В первом случае сострадание и ужас возбуждаются тем, что страдание велико, во втором – тем, что гибнет великое. Объяснять, почему страшно, трагически действует на человека великое, ужасное страдание или гибель великого, того человека, которым гордится, на которого радуется всякий человек, – кажется нам совершенно излишним. Так определяется то трагическое, о котором обыкновенно говорится в эстетике. Но она забывает о третьем роде трагического, говоря только о трагическом страдании и трагическом гибели, – забывает о трагическом злодейства, преступления: порока, о трагическом злого. О нем действительно легко позабыть: от преступления обыкновенно страдают или погибают люди, и потому кажется, что трагический эффект производится собственно только страданием или гибелью людей, гибнущих от преступления. Но бывают злодейства и преступления милые, веселые, от которых терпит явным образом нравственное достоинство человека, терпит все общество, а не отдельные лица. Чтобы яснее была наша мысль, приведем пример. Представим себе какого-нибудь английского лорда, который эпикурейски проживает на удовлетворение своей страсти к чувственному наслаждению свои огромные доходы. Он человек, любящий комфорт во всех возможных отношениях, даже в отношении своей совести; потому не подумает он о «низких» или «преступных» средствах удовлетворения своей страсти; он не будет даже и соблазнителем, не говоря уже о том, что не прибегнет к насилию и тому подобным уголовным мерам. Он просто будет утопать в сладострастии с женщинами, которые не через него лишились чистоты своего сердца. От него не пострадала, не погибла ни одна из них. Он очень милый человек, я счастливы его милостями все те, кого он удостоивает своих милостей; не несчастны и те, которые уже надоели ему, потому что не с пустыми руками они оставляют его сераль. Он пагубен только для общества, заражаемого, оскверняемого им; он враг только одной «суровой» нравственности. Нам кажется он злодеем, преступником хуже всякого преступника, потому что он развратитель хуже всякого развратителя; его жизнь говорит: «не бойтесь порока, порок может, быть никому не вреден, порок может быть добр, кроток». Правда, что такой личности не изображало, сколько нам помнится, искусство; но, изображенный в настоящем своем виде, такой человек будет самым страшным, самым трагическим лицом, и картина его жизни трагичнее картины жизни Макбета или Яго. В нем выразится ужас порока, ужас самого зла, а не отдельных

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe злодейств, порождаемых злом. В истории много таких личностей; таков, например, Дюбуа.

Если мы обратим внимание и на этот род трагического и захотим определить трагическое так, чтобы одно выражение равно обнимало все роды трагического, из которых некоторые, может быть, и забыты нами, как другими забываемо было трагическое зло [3], то у нас получится такое определение: «трагическое есть ужасное в человеческой жизни».

Комическое

Так надписываем мы это отделение, потому что понятия о комическом, выражаемые обыкновенно в эстетиках, кажутся нам в сущности справедливыми. Если мы и будем во многом не согласны с ними, то в сущности мы с ними совершенно согласны.

Одна крайность вызывает другую крайность. Так и возвышенное, сущность которого состоит в перевесе идеи над формой, находит себе противоположность в комическом, сущность которого – перевес образа над идеею, подавляющий идею, как в возвышенном образ подавляется идеею. Но форма без идеи ничтожна, неуместна, нелепа, безобразна. Безобразие – начало, сущность комического. Правда, безобразия является и в возвышенном, но там является оно не собственно в качестве безобразного, а в качестве страшного, которое заставляет забывать о своем безобразии ужасом, возбуждаемым в нас громадностью или силою, проявляющеюся через безобразие. Но, когда безобразное не ужасно, оно пробуждает в нас совершенно другое чувство – насмешку нашего ума над своею нелепостью. Безобразное кажется нам нелепо только тогда, когда становится не на свое место, хочет казаться не безобразным, и только тогда оно возбуждает смех наш своими глупыми притязаниями, своими неудачными попытками. Собственно говоря, безобразно только то, что не на своем месте; иначе предмет будет некрасив, но он не будет безобразен. И потому безобразное становится комическим только тогда, когда усиливается казаться прекрасным; мы должны замечать это безуспешное притязание, чтобы найти некрасивое безобразным, иначе некрасивое, оставаясь просто некрасивым, не войдет в область эстетики.

В природе неорганической и растительной не может быть места комическому, потому что в предметах на этой ступени развития природы нет самостоятельности, нет воли и не может быть никаких притязаний. Пейзаж может быть очень некрасив; пожалуй, можно назвать его и безобразным; но смешным не будет он никогда. Есть очень некрасивые растения; кактусы решительно безобразны; но что же в них смешного? Мы и не требуем от кактуса ничего, потому что в нем нет желания казаться красивым; растение не щеголяет, не любит себя. Говоря строго, и животные мало представляют комического; но они уже несколько думают о себе, нежат себя, довольны собою, любят собою – по крайней мере, в них заметно что-то подобное, – и галка, которая охорашивает своего галчонка, как будто из него можно сделать что-нибудь хорошее, – так сказать, любующаяся на него, – уже смешна, смешна потому, что нам кажется, будто бы она находит своего галчонка красавцем. Но гораздо больше мы смеемся над животными потому, что они напоминают нам человека и его движения; и некрасивое животное с неграциозными движениями смешно потому, что напоминает нам урод и нелепые движения нескладного и неловкого человека. Например, очень смешна походка утки, потому что напоминает походку какого-нибудь толстяка, переваливающегося из стороны в сторону на своих коротеньких ножках. Наконец, животные смешны и потому, что бывают «глупы», как бывают и «умные» животные. Но самое умное животное при столкновении с человеком часто не может не казаться глупым. Все смеются над «глупою» овцою; но часто и собака забавляет нас своими соображениями. Но во всех этих случаях мы, смотря на животное, припоминаем о человеке, и только сближение с человеком делает для нас смешным животное.

Но истинная область комического – человек, человеческое общество, человеческая жизнь, потому что в человеке только развивается стремление быть не тем, чем он может быть, развиваются неуместные, безуспешные, нелепые претензии. Все, что выходит в человеке и в человеческой жизни неудачно, неуместно, становится комическим, если не бывает страшным или пагубным. Так, например, чрезвычайно смешна страсть, если она не величественна или не грозна: раздраженный человек необыкновенно смешон, если гнев его пробужден какими-нибудь пустяками и не приносит никому серьезного вреда, потому что человек, в этом случае гневается совершенно неуместно, и порывы страсти нелепы, если не обращены на сокрушение чего-нибудь важного. Точно так же смешна бывает и любовь, если возбуждается предметом, не заслуживающим серьезной любви, и не выказывается величественным

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
самопожертвованием; что может быть смешнее человека, влюбленного в нарумяненную и набеленную кокетку пожилых лет? Но он смешон только до тех пор, пока эта смешная привязанность не влечет за собою серьезного вреда ему или другим; иначе, губя себя, он становится жалок, и может быть жалок до того, что перестает быть смешным; вредя другим из-за своей глупой, смешной страсти, он делается презренным или отвратительным, и опять перестает быть смешон. Злое всегда так страшно, что перестает быть смешным, несмотря на все свое безобразие. Но в человеке часто бывает только претензия быть злым, между тем как слабость сил, ничтожность характера не дают ему возможности быть серьезно злым; и такой бессильный злодей, никому не страшный и не вредный, – комическое лицо; смешна бывает и гибель его, если он гибнет от собственной слабости и глупости; а это бывает очень часто, потому всякая злость, всякая безнравственность в сущности глупа, нерасчетлива, нелепа. Что может быть смешнее ярости Пирогова (в «Невском проспекте»), когда он собирается погубить Гофмана и Шиллера, и успокоивается, съевши несколько пирожков в кондитерской и попавши на вечер, где отличается в мазурке? Самое трагическое обращается в комическое тогда, когда остается пустою претензией; так, например, очень смешны будут приготовления к смерти и ужасы человека, идущего на дуэль, когда он предчувствует, что дуэль будет только чистою формальностью и много, много если кончится ничтожною царапиною; смешон ужас человека, опасяющегося нападения разбойников там, где их быть не может, и чрезвычайно комичны господа, которые, едучи из «Казани в Рязань», как выражается Гоголь, запасаются парю пистолетов, когда нужно запастись только парю тяжей, на случай, если тяжи порвутся. Область всего безвредно-нелепого – область комического; главный источник нелепого – глупость, слабоумие. Потому глупость – главный предмет наших насмешек, главный источник комического.

В частности, комическое называется фарсом, когда ограничивается одними внешними действиями и одним наружным безобразием. К этому роду комического относятся длинные носы, толстые животы, долговязые ноги и т. п.; к нему же относятся все неловкости, всякая неуклюжесть; например, нелепая, неловкая походка, смешные приемы и привычки, например, привычка беспрестанно моргать, беспрестанно утираться, привычка обдергиваться и охорашиваться и т. п.; к области фарса принадлежат, наконец, все глупые, нелепые приключения с человеком, например, когда он падает, когда его бьют, одним словом, когда он является игрушкой глупого, но безвредного случая или посмешищем других людей. Настоящее царство фарса – простонародные игры, например, наши балаганные представления. Но фарсом не пренебрегают и великие писатели; у Раблэон решительно господствует; чрезвычайно часто попадает он и у Сервантеса. Фарс должен ограничиваться внешними приключениями и внешним безобразием; потому чаще всего он нарушает приличия, самое внешнее в человеческом обществе, и в этом случае обращается он в цинизм. У Гоголя находят много цинизмов; но цинизма его еще очень благопристойны в сравнении с тем, что находим у Раблэ, Сервантеса, Шекспира и даже у Вольтера.

Второй вид комического – острота (der witz); ее можно разделить на остроту собственно и насмешку. Сущность ее в том и другом случае – неожиданное и быстрое сближение двух предметов, в сущности принадлежащих совершенно различным сферам понятий и сходных только по какому-нибудь особенному случаю, по какой-нибудь черте, правда, очень характеристической, но ускользающей от обыкновенного серьезно взгляда. Но простая острота только играет этим сходством, хочет только блеснуть, между тем как насмешка хочет кольнуть, уязвить; в простой остроте даже мало чисто-комического, в ней больше веселости и развязности ума, в ней нет гордого презрения; собственно комическое – принадлежность насмешки; приведем два примера насмешки, еще неизвестные у нас: Шиллер говорит о миннезингерах: «у них все мимолетно; вечно только одно – скука» – это насмешка, состоящая в игре словами; другой род насмешки играет образами, играет самыми вещами: какой-то поэт воспользовался смертью сестры, чтобы написать целый ряд элегических стихотворений; вместо всякой оценки его произведений один из его знакомцев рассказал ему следующий анекдот: «У рыбака пропала жена, три дня не было о ней ни слуху, ни духу. На четвертый день муж вытащил сетями ее бездыханный труп: несчастная утонула! Как велика была скорбь нежного супруга! Но в тело впились множество раков; он обобрал их и продал за хорошую цену». В самом деле, острая и язвительная насмешка над людьми, которые, по выражению Лермонтова, «влюбляются страстно в свою нарядную печаль», которые «напевом заученным» повествуют нам о своих мнимых страданиях. Но высшей степени своей резкости насмешка достигает в иронии.

Лица, которые выводятся в фарсе, смешны сами, но не знают о том, что они смешны; острота, напротив того, смеется над другими, но уважает и щадит сама себя: для

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
нее все глупо и смешно, но сама она не смешна и не глупа для себя. Юмор смеется
сам над собою. Говорить подробно о фарсе и остроте казалось нам совершенно
излишним, потому что они всякому очень хорошо известны; но довольно многим у нас
еще не так хорошо известно, что именно такое юмор и чем отличается он от простой
остроты, от простой шутливости или насмешливости; потому нам кажется нужным о
юморе сказать несколько подробнее.

К юмору расположены такие люди, которые понимают все величие и всю цену всего
возвышенного, благородного, нравственного, которые одушевлены страстной любовью
к нему. Они чувствуют в себе много благородства, много ума, истинно-человеческих
достоинств, и потому уважают и любят себя. Но этого мало для того, чтобы быть
наклонным к юмору. Люди, расположенные к нему, люди с деликатною,
раздражительною и вместе наблюдательною, беспристрастною натурою, от взгляда
которых не скроется ничто мелочное, жалкое, ничтожное, низкое. Очень много всего
этого замечают они и в себе. Сознывая свое внутреннее достоинство, человек,
расположенный к юмору, очень хорошо видит все, что есть мелкого, невыгодного,
смешного, низкого в его положении, в его наружности, в его характере. Все эти
слабости, мелочи, которых так много почти во всяком человеке, тем невыносимее
для него, чем возвышеннее характер и ум его, чем восприимчивее, раздражительнее,
нежнее его натура. Есть люди, для которых довольно ничтожного, глупого
недостатка, чтобы отравить их жизнь: как, например, мучило Байрона то, что он
хром! А между тем в глазах других его хромота вовсе не делала его уродом;
сколько есть людей, которые в отчаянии оттого, что у них «нет характера», между
тем другие вовсе не находят, чтобы они были слабого характера; сколько людей
считают себя презренными трусами, между тем как другие вовсе не считают их
трусами. И, однако же, такие люди отчасти правы: почти в каждом человеке
найдется своя доля трусости, бесхарактерности; есть она и в них; они только
«слишком живо принимают все к сердцу». Таким образом, человек, наклонный к
юмору, представляется сам себе смесью нравственного величия и нравственной
мелочности, слабости, представляется себе обезображенным всякого рода
недостатками. Но он понимает, что корень его слабостей в том же самом, в чем
корень всего возвышенного, благородного и прекрасного в нем, что его недостатки
необходимо связаны со всею его личностью. Он, предположим, недоволен своею
трусостью, но трусость необходимо связана с его предусмотрительностью (не думать
о беде может только тот, кто «е видит ее»), с его мнительностью, а мнительность
только следствие того, что у него не узкий, не односторонний взгляд; как не быть
мнительным, нерешительным, когда и с той и с другой стороны столько побуждений и
столько причин отказать? Предположим, что он недоволен своею вспыльчивостью,
опрямечивостью, но он видит, что вспыльчивость только следствие
впечатлительности и живости. Потому, оскорбляясь своими слабостями, смешными и
жалкими сторонами своего характера, своей наружности, своего положения в
обществе, он в то же время любит их. Юмористическое расположение духа составляет
смесь самоуважения и самоосмеяния, самопрезрения. Но почему же оскорбляется
юморист слабостями своего характера, невыгодными сторонами своего положения в
свете? Почему он осмеивает их? Только потому, что они мешают ему быть «настоящим
человеком», кажутся ему противоречащими достоинству человека вообще. Оттого
недовольство юмориста самим собою распространяется на целый мир, который повсюду
поражает его своею мелочностью и своими слабыми сторонами. Как уважает и вместе
презирает он себя, так уважает и вместе презирает он и всех людей; как он любит
и вместе осмеивает самого себя, так любит и вместе осмеивает он весь свет. Он
смеется над собою, но через это самое смеется он надо всеми людьми, потому что в
себе смеется он над тем, что больше или меньше есть в каждом человеке. И,
наконец, юмористическое расположение духа доводит человека до того, что все на
свете представляется ему жалким, достойным и насмешки и сострадания. Юморист
везде и во всем находит «и смех и горе».

Юмор, насмешка над собою и над людьми, выказывается фарсом и остротою; человек в
юморе позволяет себе фарс и шутовство, потому что считает себя и хочет выставить
себя смешным; остроты его бывают большею частью иронические, потому что он
оскорбляется, а ирония – острота оскорбленного, едкая острота. Гамлет позволяет
себе делать глупости и говорить смешные и грубые остроты в шутовском роде.
Юморист может до того теряться в остротах, шутках, фарсах, дурачествах, что для
не понимающих юмора может в самом деле казаться шутком или отчасти помешанным,
как и думают о Гамлете. Но его дурачества – насмешка мудреца над человеческою
слабостью и глупостью; его смех – горестная улыбка сострадания к себе и к людям.

В каждом юморе есть и смех и горе; но если расположенный к юмору человек, видя,
что все высокое в человеке сопровождается мелочным, слабым, жалким, находит это

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
смешение только нелепым, не понимая всей глубины замечаемого им нравственного противоречия, то в его юморе будет гораздо больше смеха, нежели горя. Такой юмор немецкие эстетики называют *Laune*; мы затрудняемся, как назвать его по-русски одним словом; скорее всего можно назвать его шутливостью; если же это слово не совсем хорошо отвечает понятию, то (можно будет назвать его весельем или простодушным юмором. Представителем его у Шекспира является шут; в русском простом народе много встречается шутливых юмористов, но почти всегда их юмор едок, несмотря на свою веселость; юмор малороссов простодушнее.

Такая шутливость, более подсмеивающаяся над слабостями и низостью в себе и в других, нежели скорбящая о ней, в человеке порочном может доходить до бесстыдства, до насмешливого самохвальства своими пороками. Такое лицо у Шекспира Фальстаф, который очень хорошо, понимает всю свою низость, порочность, гнусность, но до того погряз в ней, что думает уже быть правым, подсмеиваясь над нею, и через насмешку над своими и чужими пороками примиряется с ними.

Зато люди, одаренные нежною натурою и горячею любовью к нравственной чистоте, очень легко доходят до того, что во всем смешном, нелепом, мелочном видят одну только мрачную, тяжелую сторону противоречия с нравственностью и с высшим достоинством человека; недовольство собою и миром берет в них решительный перевес над тем, что в юморе может быть веселого. Их юмор печален, доходит до отчаяния, переходит в ипохондрию и меланхолию. Таков был юмор Байрона. И сам Шекспир под конец жизни сделался, кажется, мрачен, грустен в своем юморе.

Впечатление, производимое в человеке комическим, есть смесь приятного и неприятного ощущения, в которой, однако же, перевес обыкновенно на стороне приятного; иногда перевес этот так силен, что неприятное почти совершенно заглушается. Это ощущение выражается смехом; неприятно в комическом нам безобразие; приятно то, что мы так проникательны, что постигаем, что безобразное – безобразно. Смеясь над ним, мы становимся выше его. Так, смеясь над глупцом, – я чувствую, что понимаю его глупость, понимаю, почему он глуп, и понимаю, каким бы он должен был быть, чтобы не быть глупцом, – следовательно, я в это время кажусь себе много выше его. Комическое пробуждает в нас чувство собственного достоинства, как пьяные илоты напоминали спартанским детям о том, что «гражданин» не должен напиваться пьян.

Изложив понятие о прекрасном и о двух мнимых его видоизменениях – великом и комическом, теперь мы будем говорить о том, что есть прекрасного в мире или «о прекрасном в природе», понимая под природою весь мир действительности, в противоположность миру фантазии. Здесь мы уже не будем обыкновенно отделять своих собственных понятий от обыкновенных, потому что обыкновенные понятия почти всегда справедливы; а если не всегда достаточно полны, если не всегда замечают все прекрасное в предмете, то, дополняя их по мере наших сил, мы насколько им не противоречим. Мы только оставляем за собою право замечать неполноту или односторонность обыкновенных понятий там, где она слишком резка и где мы своими дополнениями существенно изменяем взгляд на эстетическую сторону какого-нибудь предмета.

Прекрасное в природе материальной, как вы видели в нашей первой статье, то, что напоминает нам человека. Человека напоминать прямым образом могут только живые существа. Потому, казалось бы, неорганическая природа, в которой, собственно говоря, нет жизни, которая только служит источником для поддержания жизни растений и животных, не может представлять ничего прекрасного человеческому взгляду. И действительно, главным образом, является она в мире прекрасного только как рамка для живых существ, дает только приличную обстановку для прекрасной картины. Но человеку, чтобы находить ее прекрасною, довольно и того, что он видит в ней общее лоно, из которого возникает и питается жизнь, и видит в ней игру сил, напоминающую о игре сил в его собственной жизни. (Превосходные, совершенно верные понятия. Видели, что в сущности и обыкновенная эстетика чувствует, что прекрасное – человек и его жизнь, и что только идеалистический взгляд туманит для нее эту истину.) По-видимому, вся неорганическая природа так далека от личной жизни человека, что он не может в ней находить напоминание о себе; и потому кажется, что в неорганической природе есть только предварительные условия, из которых составится прекрасное целое только тогда, когда к ним присоединится органическая жизнь; для прекрасной картины, кроме света, воздуха, воды, земли, нужно еще дерево, животное, человек, которые питаются ими, живут на них. Но и без живых существ явления и картины природы могут быть прекрасны; но не в отдельности своей, а тогда, когда несколько различных элементов

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
неорганической природы соединятся вместе: море при ясной и тихой погоде производит эстетическое впечатление отражением и переливами света; при хорошем освещении удовлетворяет глаз гора и не покрытая растительностью, особенно когда подле есть вода. Одним словом, ландшафты могут быть прекрасны и без всякой примеси растительности и животных фигур. Нам довольно и того, что мы представляем себе этот ландшафт частью природы, питающей животных и человека и родящей растительную жизнь.

Свет входит в прекрасную картину прежде всего тем, что, освещая предметы, очерчивая формы их, выставляя ярко освещенными их выпуклости, оставляя в тени углубления, он делает для нас видимыми предметы; и не просто делает видимыми, а выставляет их самостоятельными, резко отделяющимися от всего окружающего. Кроме того, свет солнца прекрасен потому, что он оживляет всю природу, источник всей жизни на земле; мы не только думаем об этом, мы сами чувствуем на себе эта, потому что днем, на свете солнца мы чувствуем себя живее, радостнее, сильнее, свежее, нежели в темноте, нежели в холодной ночи. Дневной свет, источник жизни в природе, благодатно оживляющий, согревающий и нашу жизнь, без него мрачно-унылую, восхитительно прекрасен. Потому так радостно-прекрасен восход солнца, когда со свежими, юношескими силами пробуждается природа, пробуждаемся и мы; потому задумчиво любимся мы заходящим солнцем, как будто прощаясь с жизнью, припоминая, воскрешая в «прощальный час» все радости, всю полноту дневной жизни. Все блестящее напоминает нам о солнце и заимствует от него часть его красоты.

Беспокойный, волнующийся свет огня производит в нас какое-то беспокойство; беглые, изменчивые очертания огня обольщают нас разнообразием своим. Свет молнии действует на нас как страшный внезапный удар своим страшным контрастом с темнотою, которую на миг перерывает он. Но главным образом различные роды освещения эстетически действуют на нас, смотря по тому отношению, какое они имеют к жизни. Багряное, раскаленное солнце производит в нас тяжелое чувство, какой-то глухой ужас, потому что оно предвестник бури; ужасно действует освещение заревом пожара, потому что оно говорит нам о погибели всего, что создано человеком, и часто самого человека. Полусвет, производимый луною, смотря по обстоятельствам, пробуждает или спокойное чувство какого-то томного раздумья, или опасение безызвестности, которая только увеличивается неверным светом луны.

Цвет производит на нас раздражающее или успокаивающее действие, во-первых, смотря по тому, раздражает или успокаивает он наши нервы; цвета яркие раздражают нервы, особенно красный цвет; голубой и зеленый цвет успокаивают нервы, на них отдыхает глаз, успокаивается и душа. В радуге семь цветов; но главных из них только четыре: красный, желтый, зеленый и голубой; оранжевый цвет – смесь красного с желтым, фиолетовый – смесь синего с красным; синий цвет только густой оттенок голубого цвета. Красный и желтый раздражают глаз, голубой и зеленый успокаивают его. Но эстетическое действие их зависит также и от того, какие предметы напоминают они. Красный цвет – цвет крови, цвет бешеной страсти, от которой вся кровь бросается в лицо; цвет гнева – он раздражителен и вместе страшен; зеленый цвет – цвет растительности, цвет роскошных лугов, цвет одетых листьями дерев: он напоминает нам о спокойной и цветущей жизни растительной природы. Светло-голубой цвет – цвет ясного неба, его действие спокойно-радостное. Но, главным образом, цвет нравится или не нравится нам потому, кажется ли он цветом здоровой, роскошной жизни или цветом болезни, внутреннего расстройства. Мы говорим не только о цвете различных частей человеческого лица, но и о тех цветах, которые нам нравятся в природе. Мы любим свежие, чистые оттенки цвета – потому что здоровый цвет лица – свежий, чистый цвет; тусклый цвет лица – болезненный цвет; потому нечистый, мутный цвет вообще неприятен. Нехорош желтый цвет увядающих листьев – потому что он признак их увядания; нехорош поблекший белый или розовый цвет розы – потому что он цвет поблекшей розы. Главная прелесть в цвете то, чтобы он был свежим.

Физика говорит нам о дополнительных цветах: они происходят оттого, что глаз, утомленный напряжением, которое производит в нем какой-нибудь цвет, ищет отдыха себе в противоположном ему цвете; так, если мы довольно долго и внимательно будем смотреть на яркий розовый цвет, а потом взглянем на белую бумагу, то она покажется зеленою; если на белый кружочек бумаги мы наклеим другой, красный, несколько поменьше, то узенькие поля белого кружка будут казаться зелеными. Ясно, что наш глаз требует подле красного цвета – зеленого; потому сочетание розового или красного с приличным оттенком зеленого очень приятно для глаз; точно так же сочетаются желтый с фиолетовым, синий или голубой с оранжевым. О сочетаний цветов должно сказать вообще, что хорошо сочетаются те цвета, которые

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
совершенно не похожи один на другой; если же соединяются два цвета, различные, но очень сходные, то впечатление будет вовсе не эстетично; так, например, желтый и зеленый, синий и зеленый, синий и фиолетовый, фиолетовый и красный и т. д. производят неприятное впечатление, как в музыке аккорд из тонов, очень близких друг к другу, производит диссонанс (например С и D; D и E; E и F и т. д.). Черный и белый цвет идут ко всем цветам одинаково, потому что Они, собственно говоря, не цвета; белый – соединение всех цветов; черный – отсутствие всякого цвета. Соединение черного и белого – серый цвет также идет ко всем цветам. Само собою разумеется, что впечатление, производимое соединением двух цветов, много зависит от густоты или оттенка каждого из них.

Общий гон (оттенок), в котором представляется нам пейзаж, много зависит от воздуха, который, смотря по отдаленности предметов, одевает их в светло-голубой, темно-голубой, совершенно темный цвет; так что, чем ближе к нам предметы, тем светлее они кажутся, тем яснее их собственные оттенки и очертания; чем дальше предмет, тем больше сливаются в один густой цвет все его оттенки. Когда воздух наполнен парами, он делается не так прозрачен, как обыкновенно, и придает пейзажу желтоватый или зеленоватый оттенок. Чистая, светлая атмосфера сообщает природе веселый, блестящий, праздничный вид; перед бурей она придает пейзажу зловещий, страшный оттенок. Некоторая туманность атмосферы дает пейзажу таинственно-величественный характер. Ясная погода радует природу и человека; мрачная – подавляет жизнь природы, делает и расположение нашего духа тоскливым, пасмурным.

Легкое движение, которое всегда есть в воздухе, придает новую жизнь природе для нашего слуха: шелестят листья на деревьях – а едва заметен ветерок: деревья как будто живут, как будто бы шепчутся; высокая трава, золотая нива, наш седой ковыль волнуется, расстилается, и ежеминутно играют на нем новые оттенки. И природа делается разнообразнее, живее: повсюду легкий шум, движение. Но ветер делается сильнее и сильнее; начинается буря; природа в самом деле живет страшною жизнью: мы слышим рев ее, мы видим, как силы ее потрясают, ломают все, что попадает им на пути. Эстетическое действие бури так часто и так великолепно было описываемо, так знакомо каждому из нас, что толковать о нем было бы вещь совершенно излишнею.

Наконец, в атмосфере мы встречаем отдельные, совершенно самостоятельные предметы; это облака. Но формы их, часто заманчивые, обворожительные своим сходством с горою, башнею, животным, человеком, еще так неопределенны, что большую часть своего эстетического интереса получают они от освещения, от своего серебристого или пурпурно-розового блеска, от своей грозной, седой или черной мрачности, от своего страшного багрового зарева; смотря по своему освещению, они прекрасны или величественно-ужасны.

Но самое ужасное из воздушных явлений – гроза, с черною темнотою своею и страшным сверканием молнии, с ревом и свистом ветра, с раскатами грома, с шумом дождя, со стуком все убивающего града. Мрачно, тоскливо состояние задыхающейся природы перед грозою, освежается, веселеет она после грозы. И простой дождь иногда бывает серебристо-прекрасен. Свежо и мило бриллиантами сверкает роса. Ослепительно прекрасен и сверкающий разноцветными искрами снег: он, как роса, усеивает природу драгоценными камнями. Прекрасен он и по своей ослепительной белизне.

Вода прекрасна бывает своими очертаниями. Огромная, совершенно ровная поверхность спокойной воды действует на нас величественным образом. Кипучий водопад поражает своею силою и привлекателен своими прихотливыми формами. Вода очаровательна своею светлою прозрачностью, своим голубовато-бесцветным блеском; она живописно отражает, игриво колебля все, что окружает ее, в ней мы видим первого живописца. Лед прекрасен своею блестящею прозрачностью; пена – своими беглыми формами на волнах и отражением в ней солнца, когда она летит, как пыль, от разбивающихся волн.

Вода вечно струится, вечно играет в реке и потоке; она бежит, извивается, как живая. Журчащий поток говорит и нашему слуху, как что-то живое. Игривы, шаловливы волны моря при легком ветерке, страшно-беспокойны в бурю.

В очертаниях земли прежде всего поражают свою громадность горы; они производят на нас впечатление величественного. Но их изрытые ущельями бока, их изло...

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
(Здесь рукопись обрывается.)

Антропологический принцип в философии
(«Очерки вопросов практической философии». Сочинение П.Л. Лаврова, I. Личность.
СПб. 1860)

I

Если бы брошюра г. Лаврова могла служить только предметом критического разбора, и если бы мы стали читать ее с мыслью написать потом разбор понятий, излагаемых в ней, мы с первых же страниц отказались бы от ее чтения, потому что – скажем откровенно – мы не читали большей части тех многочисленных книг, которые приняты в соображение автором, и даже думаем, что никогда не прочтем их; а без знакомства с ними нельзя с точностью оценить специального достоинства брошюры г. Лаврова. Но она не только прочтена нами, – она даже послужила причиной того, что мы написали довольно длинную статью, имеющую самые тесные отношения к ней.

Исследования г. Лаврова прямо начинаются ссылкой на писателя, из книг которого ни одна не прочтена нами, – цитатою из Жюль Симона, очень известного французского теоретика. Если бы мы не знали, к какому направлению принадлежит этот писатель, довольно бы было нам увидеть две строки, приводимые из него в самом начале брошюры, чтобы лишиться охоты знакомиться с ним: «сочинение, относящееся к политической теории и чуждое текущей политики, есть теперь почти новость», – говорит Жюль Симон, по свидетельству г. Лаврова, в начале своей книги «Свобода». Этого десятка слов, приведенных из него, достаточно, чтобы заметить в их авторе совершенное непонимание того порядка, по которому происходят все дела на свете и, между прочим, пишутся теоретические сочинения. Ныне политические теории создаются под влиянием текущих событий и ученые трактаты служат отголосками исторической борьбы, имеют целью задержать или ускорять ход событий. По мнению Жюль Симона, прежде было не так – иначе он не употребил бы слова «теперь». Этого мало: Жюлю Симону кажется также, что все люди нашей эпохи, а в том числе и ученые, поступают не совсем хорошо, являясь не простыми представителями или последователями абстрактных учений, не имеющими никакого родства с страстями своей страны в свое время, а истолкователями и защитниками стремлений каждой своей партии: если б он не порицал их за это, он не называл бы свою книгу сочинением, «чуждым текущей политики». Наконец он воображает, что может обмануть читателей, или чистосердечно полагает сам, что говорит правду, титулуя свою книгу сочинением «чуждым текущей политики». Под влиянием трех этих воззрений написаны слова, приведенные из Жюль Симона г. Лавровым, и все эти три воззрения ошибочны до такой очевидности, что свидетельствуют или о необыкновенной наивности и недалекости Жюль Симона, или о совершенном недостатке правдивости в его языке. Мы склоняемся к первому предположению, потому что человек хитрый умеет хитрить, а Жюль Симон говорит несообразности слишком явные, которые могут внушаться только крайнею наивностью.

Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, борющихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политической стороной жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббз был абсолютист, Локк был виг, Мильтон – республиканец, Монтескье – либерал в английском вкусе, Руссо – революционный демократ, Бентам – просто демократ, революционный или неревolutionный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг – представитель партии, запуганной революцией), искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был фихте, Гегель – умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди, – это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
Говорить, будто бы не было и прежде всего того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений, – это чрезвычайная наивность, а еще наивнее выражать такую мысль о тех мыслителях, которые занимались в особенности политическим отделом философской науки.

Но пусть себе будут похожи или непохожи на прежних мыслителей нынешние мыслители тем, что служат представителями политических партий; как бы там ни было в старину, а теперь мы видим, что каждый человек с развитою головою очень сильно интересуется политическими событиями: газету читают даже те люди, которые не в состоянии читать книг сколько-нибудь серьезных: чем же виноваты мыслители нашей эпохи, когда не отстают в умственном развитии от офицеров и чиновников, помещиков и фабрикантов, лавочных сидельцев и мастеровых? Разве мыслителю необходимо быть тупоумнее и слепее каждого грамотного человека? Всякий, достигший какой-нибудь умственной самостоятельности, имеет политические убеждения, судит обо всем по соображению с ними, – чем же виноват философ или политический теоретик, когда его образ мыслей не лишен смысла, какой есть в образе мыслей каждого из людей, просвещать которых он берется? Неужели учитель должен быть невежественнее ученика? Неужели человек, пишущий о предмете, должен интересоваться им меньше, чем интересуются люди, не принимающие на себя претензии печатать теорию этого предмета? Нужна баранья наивность, чтобы порицать ученого за то, что он не глупее и не тупее неученых людей.

Но забавнее всего простодушие, с каким Жюль Симон хочет убедить публику или успел убедить даже самого себя, будто бы его книга чужда текущей политики. Мы слыхивали о характере теоретических книг, писанных Жюлем Сином в разные годы. При июльской монархии его доктрина отличалась умеренным духом свободы и снисходительными полуодобрениями, полупорицаниями людям действительно прогрессивным. Во время республики элемент свободы припрятался у него под ожесточенною реакцией) против решительных прогрессистов, которые тогда едва не захватили власть в свои руки. Когда прочилась империя и решительные прогрессисты стали казаться бессильными, а реакция севершено восторжествовала, Жюль Симон стал писать в духе очень яростного свободолюбия. Из этого мы видим, что его теории отражали на себе не просто только убеждения его партии, а подчинялись даже каждому кратковременному состоянию чувства этой партии. Если бы мы и не читали об этом факте, мы наверное могли бы знать, что дело происходило таким образом: для нас довольно было бы знать, что Жюль Симон пользуется во Франции некоторою репутациею и, следовательно, не совершенно лишен ума: умный человек не может не замечать событий, происходящих около него, не принимать их в соображение, – стало быть, и его система не может не отражать на себе хода событий. Это понимает всякий, кроме немногих, слишком наивных людей. Г. Лавров прямо замечает, что цитруемый им автор не сдержал своего несбыточного обещания. А если так, к чему было Жюлю Симону взводить на себя неправдоподобную небывлицу уверением в изолированности своей системы от влияния текущей политики?

Человек, который говорит такие наивные несообразности, может быть добродетельным семьянином, хорошим гражданином, приятным болтуном; но мыслителем он быть не может, потому что у него в голове нет логики. Если он делается писателем, его произведения могут иметь достоинства беллетристические, археологические и всякие другие, но не могут иметь ровно никакого философского значения. Поэтому мы лишаем себя всякой надежды прочесть философские сочинения Жюля Симона. Если бы мы захотели фельетонных достоинств, мы прямо стали бы читать фельетоны Г-жи Эмиль Жирарден, Луи-Дюнойе, Теофиля Готье; если бы мы захотели наслаждаться поэзией, мы стали бы читать романы Жоржа Санда, песни Беранже; если бы, наконец, мы захотели просто читать пустую болтовню, мы взяли бы за романы Александра Дюма-старшего или, пожалуй, младшего, или даже маркиза Фудраса; но какая охота была бы нам читать философские книги Жюля Симона, в которых может быть много приятной болтовни, фельетонной соли или даже поэзии, но которые все-таки по самому своему предмету далеко отстают этими достоинствами от порядочных фельетонов, хороших и даже плохих романов, а не имеют того достоинства, из-за которого становится интересным философское сочинение, – не имеют логики?

Точно так же мы не думаем, чтобы нам удалось прочесть сочинения нынешнего Шихте, о котором известно нам то, что о нем всегда выражаются: «сын знаменитого Фихте». Такая рекомендация напоминает нам анекдот, случившийся в Петербурге лет пять или шесть тому назад встретились где-то на вечере два незнакомые господина и, потолковав между собой, почувствовали желание познакомиться. «С кем я имею удовольствие говорить?» – спросил один из них. Другой назвал свою фамилию и в

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe свою очередь спросил: «а с кем я имею удовольствие говорить?» – «Я муж г-жи Тедеско», отвечал его собеседник. Мы никогда не имели охоты слушать пение мужа г-жи Тедеско.

По тем же самым основаниям, которые отнимают у нас возможность познакомиться с сочинениями Жюль Симона и Фихте-сына, мы не читали и не прочтем философских произведений Шопенгауэра и Фрауэнштета. Они, по всей вероятности, прекрасные люди, но в философии они то же самое, что в поэзии г-жа К. Павлова, одно из произведений которой, «Разговор в Кремле», также цитруется г. Лавровым.

По недостатку знакомства с многими из источников, которыми пользовался г. Лавров, мы, конечно, не можем в точности оценить достоинство его произведения. Мы можем предполагать только одно: если бы он не имел большего философского дарования, чем Жюль Симон, Фихте-сын, то в его брошюре был бы тот же самый вовсе не философский дух, какой находится в их произведениях, и его «теория личности» была бы так же плоха, как их теории. Но его брошюра должна быть положительно признана хорошею. Из этого надобно заключать, что г. Лавров заметил многие ошибки тех посредственных философов, которых изучал, что он умел понять многие вещи гораздо лучше, нежели они, словом сказать, что недостатки его брошюры произошли из других книг, каковы книги Жюль Симона и Фихте-сына, а достоинствами своими брошюра обязана в очень значительной степени самому автору. Мы думаем, что это предположение верно, и потому желаем, чтобы г. Лавров продолжал писать статьи о философии.

Точно так же в большую заслугу ему надобно вменить и то, что он изучает философию не по одним мыслителям такого разряда, как Шопенгауэр и Жюль Симон. В нашем обществе, которое так мало знакомо с истинно великими нынешними мыслителями Западной Европы, которое считает лучшими руководствами к изучению философии или произведения людей нынешнего поколения, далеко отставших от современного развития мысли, или творения мыслителей великих, но уже слишком давних и переставших быть удовлетворительными при нынешнем развитии наук и общественных отношений, – в нашем обществе за великую заслугу надобно считать то, когда человек, кроме плохих или обветшалых руководств, рекомендуемых ему всеми встречными и особенно всеми специалистами, сам доискивается до лучших руководств, умеет найти их, умеет понять их. Г. Лавров большую часть пути ведет своих читателей по прямой и хорошей дороге вперед: это делает ему большую честь, потому что никто в нашем обществе не показывал ему этой дороги, а, вероятно, все, когда-нибудь служившие ему советниками, толкали его на разные кривые тропинки, ведущие по болоту и большею частью назад, а не вперед.

Мы высоко ценим обе эти заслуги: и ту, что г. Лавров имел силу додуматься до результатов гораздо лучших того, что давали ему какие-нибудь Фихте-сыновья и Жюли Симоны; и ту заслугу, что он умел найти для своих философских исследований руководства, гораздо лучшие посредственных и отсталых книг. Но соединение прекрасных мыслей, заимствованных из действительно великих и современных мыслителей или внушенных собственным умом, с понятиями или не совсем современными, или принадлежащими не тому образу мыслей, какого в сущности держится г. Лавров, или, наконец, принадлежащими особенному положению мыслителя среди публики, не похожей на нашу, и потому получающими неверный колорит при повторении у нас, – это соединение собственных достоинств с чужими недостатками, придает, если мы не ошибаемся, системе г. Лаврова характер эклектизма, который производит неудовлетворительное впечатление на читателя, знакомого с требованиями философского мышления. В брошюре г. Лаврова встречаются мысли, которые едва ли совместны между собою. Мы приведем один пример тому.

Г. Лавров – мыслитель прогрессивный, в этом нет никакого сомнения. По всему видно, что он проникнут искренним желанием содействовать своему обществу в приобретении тех нравственных и общежительных благ, которых мы до сих пор лишены по своему невежеству, мешающему нам сознать цели для своих стремлений и понять средства, необходимые для достижения этих целей. Между тем на первой же странице книжки мы встречаем фразу «общественный деспотизм Соединенных Штатов», и к этой фразе прибавлена для подтверждения цитата из книги Милля «On liberty» [4]: «Утверждают, что в Соединенных Штатах чувствования большинства, которому неприятно обнаружение более заметного или более богатого образа жизни, чем образ жизни, доступный этому большинству, действуют как довольно действительный закон против роскоши, и во многих местах Союза для лица, имеющего значительный доход, действительно трудно найти средства его тратить, не навлекая на себя народного неудовольствия». Миллю хорошо говорить это: английская публика знает, как

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
понимать его слова, а наша публика подумает бог знает что, услышав их без
объяснений. Г. Лавров приводит отрывок из Милля не для какой-нибудь важной цели,
а просто для того, чтобы увеличить четырьмя словами «общественный деспотизм
Соединенных Штатов» длинный список разных политических или общественных форм,
пережитых или переживаемых западным человечеством. Для такой неважной
надобности, как представление 27 указаний вместо 26, не стоило затрогивать
факта, требующего слишком длинных рассуждений. Напрасно г. Лавров привел его; но
еще хуже, по нашему мнению, вышло оттого, что он, указав на факт, не сказал
нашей публике о его смысле. Мы должны дополнить этот недостаток. Во-первых,
факт, называемый у г. Лаврова общественным деспотизмом, существует не во всех
Соединенных Штатах, а почти исключительно в одной части их, в так называемых
штатах Новой Англии и главным образом в городе Бостоне. Во-вторых, этот факт,
вовсе, как видим, не повсеместный, составляет не последствие северо-американских
учреждений, как думают поверхностные наблюдатели, а просто остаток пуританства,
ослабевающий с каждым годом; известно, что штаты Новой Англии были основаны
пуританами, которые считали роскошь грехом. В-третьих, даже и между потомками
пуритан стеснение существует вовсе не в такой значительной степени, как полагают
доверчивые люди, принимающие за чистую монету слова богатых скряг: скряги везде
ищут предлога для извинения своей чрезмерной скупости; обыкновенно они жалуются
на свое безденежье, на тяжелые времена, а в штатах Новой Англии приискали еще
новый предлог – мнимую стеснительность какого-то поверья, почти уже переставшего
существовать.

Если уже говорить об общественном деспотизме в Северной Америке, то следовало бы
указать не на эту ничтожную черту отживающей старины, а на другое явление,
которым производятся теперь такие сильные смуты в Соединенных Штатах: в той
части их, которая сохранила невольничество, общественное мнение, находясь под
властью плантаторов, не допускает ни одного слова, похожего на
аболиционизм; люди, говорящие против невольничества, подвергаются грабежу,
изгнанию и уголовным наказаниям. Но довольно сказать, что в этой половине Союза,
в южных или невольнических штатах, господствует аристократия: вся власть
фактически принадлежит нескольким десяткам тысяч богатых плантаторов, которые
держат в невежестве и нищете не только своих негров, но и массу белого населения
этих штатов. Известно, что вся земля в Виргинии и других старинных невольничьих
штатах принадлежит потомкам старинных вельмож, получивших ее по пожалованью при
Стюартах. Они постепенно расширяли свои владения и на те страны, в которых
основаны новые невольничьи штаты; они держат шайки бандитов, подобных
знаменитому Уокеру. Вообще, разница между Неаполем и Швейцарией) не так велика,
как разница между южною и северною половинами Соединенных Штатов. Северные
(свободные) штаты только в последнее время стали сознавать, что до сих пор
сохраняли над Союзом преобладание аристократы южных (невольничьих) штатов, и
коренной смысл нынешней борьбы между аболиционистами и плантаторами заключается
в том, что демократия, господствующая в северных штатах, хочет вырвать
политическую власть над Союзом из рук аристократов-плантаторов [5]

Западная Европа очень богата политическими опытами, политическими теориями,
говорит г. Лавров, но к чему же она пришла, так дорого заплатив за опыты,
употребив так много умственных сил на оценку их? Она пришла только к чувству
неудовлетворенности своим настоящим, к страху за свое будущее: «Везде критика и
критика; надежды, недавно кипевшие с такою силою, ослабели; будущее страшно для
всех». Этот вывод г. Лавров подтверждает выписками из Жюль Симона, Милля и из
автора книги «De la justice» [6]. О мнениях Жюль Симона мы не станем говорить, но
обратим внимание на взгляды двух других писателей, цитируемых г. Лавровым,
потому что они люди действительно очень умные и совершенно честные.

Милля мы очень уважаем; он один из самых сильных мыслителей нынешней эпохи и
сильнейший мыслитель между экономистами, которые остались верны учению Смита.
Впрочем, последняя рекомендация сама по себе еще не могла бы служить меркою ума,
потому что других сколько-нибудь сильных в логике людей это экономическое
направление решительно не имеет. Но, говоря не по сравнению с другими
экономистами смитовской школы, с которыми неприлично сравнивать людей большого
ума, а по сравнению вообще с учеными людьми по всем наукам, Милля можно назвать
принадлежащим к разряду тех второстепенных, но все-таки очень замечательных
мыслителей, силу мысли которых мы яснее всего определим, если скажем, что она
так же велика, как, например, сила поэтического таланта у лучших из нынешних
наших беллетристов. Г. Писемский, например, вовсе не Гоголь, но все-таки его
талант далеко не дюжинный. Точно так и Миллю далеко до таких людей, как Адам
Смит или Гегель, или Лавуазье – до людей, введших в науку новые основные идеи;

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
но довольно самостоятельно развивать идеи, уже получившие господство, пройти несколько шагов вперед по направлению, уже указанному другими, это дело таких людей, как Милль. Они заслуживают большого уважения. Посмотрим же, что говорит Милль и почему он так говорит. Его можно характеризовать одним недавним делом. Читателю известно, что в Англии стоит теперь на очереди вопрос о понижении избирательного ценза. Самые отсталые консерваторы согласны, что это – дело неизбежное. Они всячески стараются затянуть его, стараются уменьшить размер его, говорят о рискованности больших перемен, об опасностях, угрожающих конституции; но сознаются, что какую-нибудь уступку надобно сделать. В начале прошлого года, когда умы, еще мало развлеченные внешними делами, были сильно заняты понижением ценза, Милль издал брошюру и напечатал письмо, в которых объяснял, что прежде, нежели давать права людям какого-нибудь сословия, надобно сделать точные ученые исследования об умственных, нравственных и политических качествах людей этого сословия. Мы не знаем, говорил он, каковы политические убеждения разных разрядов работников, мелких лавочников и других людей, не пользующихся теперь политическими правами: кого они будут выбирать своими представителями, на какой путь повлекут их представители палаты общин? Но главным предметом его замечаний был вопрос о замене открытой подачи голосов на выборах тайною баллотировкою. Консерваторы говорят, что открытая подача голосов развивает в человеке гражданскую доблесть, прямоту и всевозможные другие добродетели, а тайная баллотировка нужна только трусам, которые лучше пусть и не участвуют в общественных делах, пока не приучатся быть доблестными гражданами, или людям двоедушным, которые на словах будут обещать свой голос одному кандидату, а подадут голос за другого. Все прогрессисты, напротив, требуют тайной баллотировки, говоря, что только ею ограждается независимость избирателя. Милль, хотя сам большой прогрессист в теории, не побоялся высказать, что не разделяет в этом случае мнения своих политических друзей. Это делает ему, как человеку, тем больше чести, что прежде он думал иначе и теперь с откровенным благородством прямо говорит, что принужден отказаться от своего прежнего мнения, как неосновательного. Значила ли эта брошюра, восхитившая собою всех консерваторов, что Милль перестал быть прогрессистом? Нет, в теории он по-прежнему защищает предоставление избирательного голоса всем взрослым людям; он идет тут гораздо далее самих хартистов, доказывая, что голос на выборах должен быть дан и женщинам, тогда как даже хартисты говорят только о мужчинах. Но дело в том, что к живому вопросу Милль приступает с идеальным желанием повести его путем действительно наилучшим, по научному взгляду: прежде чем сделать перемену, конечно, надобно собрать самые лучшие и полные данные о качествах предмета, к которому относится перемена, чтобы с математической точностью можно было предсказать ее результаты. Так и делают, например, в таможенных реформах: вычисляют до последней копейки, насколько уменьшится в первый год таможенный сбор от понижения пошлины, с какою быстротою начнет он потом возрастать, во сколько лет и до какой цифры возвысится. Милль хотел бы, чтобы и парламентская реформа была произведена таким же разумным и осмысленным порядком. Не собрано статистических данных о том, какое число людей честных и вовсе не трусливых поставлены своими житейскими обстоятельствами в такую зависимость, что при открытой подаче голосов принуждены или вовсе не являться на выборы, или подавать голос не за того кандидата, которого предпочитают в душе. Сведений этих не собрано, потому и Милль после многолетнего обдумывания решил наконец, что нет достаточных оснований предпочесть тайную баллотировку открытой подаче голосов. А если бы собрать доказательств, достаточные для возведения наклонности прогрессистов к тайной баллотировке в научную истину, Милль был бы очень рад разделять желания своих политических друзей. Словом сказать, он в своей брошюре явился человеком очень честным и таким же прогрессистом, как прежде, только выставил непрактичные требования. От чего же эта непрактичность? Просто от слишком сильного желания, чтобы развитие общественной жизни шло путем совершенно рассудительным. На деле этого не бывает в важных вещах ни в жизни отдельного человека, ни в народной жизни. Совершенно хладнокровно, спокойно, обдуманно, рассудительно делаются только вещи не слишком важные. Посмотрите на человека, с какой обдуманностью, как умно выбирает он, какую девицу ангажировать на кадрили или мазурку: как зорко оценивает он и красоту, и нарядность, и приятность в разговоре, и ловкость в танцах избираемой им дамы, прежде чем подойдет к ней с предложением. Но ведь это потому, что дело тут неважное для него. Так ли он поступит при выборе невесты? Дело известное, что почти все порядочные люди становятся женихами, сами не зная, как это случилось: кровь разгорячена, сорвалось с языка слово – и кончено. Правда, и при выборе невесты поступают обдуманно, благоразумно очень многие; но ведь это бывает лишь в тех случаях, когда женитьба представляется решающемуся на нее делом простого комфорта, то есть разве немногим поважнее, чем приискивание удобной квартиры или хорошего

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
повара. Даже из людей, женившихся просто с корыстными целями, слишком часто делают нерассудительный выбор те, у которых желание обогатиться доходит до страсти. Где замешана страсть, там обдуманность и хладнокровие невозможны: это истина, известная по прописям. Каждый важный общественный вопрос возбуждает страсти – это дело также известное. Если реформа касается только небольшой части общества или, затрогивая интересы всех, представляет для каждого риск лишь незначительного убытка или выигрыша, словом сказать, если реформа не очень важна, она может производиться хладнокровным путем. Так, например, понижение пошлины на чай или сахар произведено было в Англии очень спокойно и рационально: кому охота была волноваться из-за того, что уменьшится несколькими пенсами цена фунта чая или несколькими шиллингами цена центнера сахара? Каждому было приятно получить через это возможность сберечь десятка полтора или два шиллингов в год; но кому надобность горячиться из-за такой мелочи? Убытка не приносила реформа никому. Но большой убыток приносила английским судохозяевам другая реформа, также очень полезная: отмена навигационного акта, по которому английские суда пользовались в английских гаванях таможенными преимуществами перед иностранными. Сословие судохозяев доходило до ярости в то время и до сих пор кипит злостью, с неистовством требует, чтобы восстановили навигационный акт. Зато это сословие составляет лишь ничтожную часть в торговом классе, который за исключением судохозяев, весь выигрывал через реформу. Люди раздраженные были бессильны, и потому дело велось обществом очень холодно. Но так ли были отменены хлебные законы, когда теряли привилегию люди сильные в английском обществе? Читатель знает, что людям, хотевшим этого полезного дела, только тогда удалось побороть могущественную оппозицию, когда разыгрались страсти в большинстве общества, много выигрывавшего от важной реформы; а когда общество взволновалось страстью, холодное ведение дела невозможно. Разве у Роберта Пиля достало времени на многолетние статистические изыскания, когда подошла неизбежность перемены? Нет, какие сведения были, теми и воспользовались, медлить было нельзя. А ведь, это не совсем рационально: почему знать, если бы глубже вникнуть в дело, быть может, некоторые подробности закона обработались бы лучше? Быть может, представилась бы возможность вполне достичь цели, не, повредив выгодам многих противников реформы, действительно подвергнувшихся через нее убытку? Конечно, так, но очень важные для общества дела никогда так не делались. Посмотрите, каким путем уничтожался феодализм или обращалась в ничтожество инквизиция, или получались права средним сословием, вообще уничтожалось какое-нибудь важное зло или вводилось какое-нибудь важное благо. Милль очень хорошо понимает это как научную истину, как общий принцип исторического развития; но когда пришлось видеть на опыте приложение этого принципа, он смутился и стал говорить бог знает что. Отчего же смущение перед фактом у человека, ясно понимающего и отважно допускающего принцип, из которого родился этот факт? Просто от разницы впечатления, производимого отвлеченной мыслью и фактом, действующим на чувства. Осязаемый предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем. Человек, хладнокровно рассуждающий о том, что он делает в данном случае, редко имеет силу сохранить все спокойное присутствие духа при действительном появлении этого случая, если он сколько-нибудь действительно важен. Когда он приятен, при первых признаках его появления нами овладевает радостное волнение; когда он неприятен – тяжелый трепет, и ощущения эти возбуждаются так легко, что очень часто производятся даже простым обманом чувств; действительных признаков еще нет, но мы уже радуемся или тоскуем по наклонности отыскивать во всем следы занимающего нас предмета, принимая за признаки приближающегося факта такие явления, которые на самом деле нимало не относятся к нему. Оттого-то каждая политическая партия постоянно видит приближение своего идеала, истолковывая каждая по-своему одни и те же явления, как признаки совершенно противоположных одна другой перемен. Как бы то ни было, основательно или неосновательно бывает ожидание великих перемен, с радостью или тоскою ждут их заинтересованные люди, но дело в том, что их суждение, справедливое или несправедливое, никак не может быть хладнокровно. Мы видели, с какими чувствами принял Милль фактические признаки приближения парламентской реформы, необходимость которой он сам признает в теории. Отвлеченным образом он желает ее, но факт навел на него некоторую робость. Это значит, что в сущности лично для него перемена неприятна, что у него достало нравственного мужества побороть эту неприятность в теории, но недостало силы победить более сильное впечатление, производимое фактом. Теперь мы можем обратиться к тому общему суждению о положении дел в Западной Европе, которое берет из Милля г. Лавров. Вот слова Милля: «Современное направление общественного мнения представляет то же самое в неорганизованном виде, что мы видим организованным в китайской политической и педагогической системе; и если личности не будут способны успешно восстать против этого ярма, то в Европе, несмотря на ее благородное прошлое и на исповедуемое ею христианство,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
разовьется второй Китай». У нас многие с большим удовольствием схватились за эти слова, принимая их за чистую монету; другие сильно огорчились от них. Западная Европа идет к состоянию китаизма, она уже не в силах выработать новых форм жизни, она будет только заканчивать систематическую постройку прежних форм, уже оказывающихся неудовлетворительными; потребности настоящего, несовместные с ними, будут подавлены преданием, и на всем Западе водворяется однообразная методичность насильственной рутины, какую мы видим в Китае. Так говорят некоторые даже из самых лучших наших людей и указывают на грустный приговор Милля, как на подтверждение очень сильное. Но легко вообразить, какого доверия заслуживают в подобных вещах впечатления человека, смутившегося даже такую частною переменою, как парламентская реформа, и притом переменою, являющеюся в таком умеренном объеме, какой принадлежит требованиям даже радикальной партии парламента в лице ее представителя Брайта, который притом лишен надежды достичь осуществления даже своих предложений в самом смягченном и ослабленном их виде. Если Милль смутился от парламентской реформы, то можно ли ожидать, чтобы он хладнокровно рассудил о признаках перемены, которая стремится объять всю общественную и частную жизнь Западной Европы, изменить все учреждения и нравы, начиная с государственных форм и кончая семейными отношениями и экономическими постановлениями? Что мудреного, если от признаков такой громадной перемены затмится холодная ясность суждения у человека, который может без особенного трепета анализировать отвлеченные понятия, но которому лично неприятны факты, соответствующие этим понятиям? В приведенных г. Лавровым словах Милля мы видим не анализ сущности дела, а только впечатление, производимое этим делом на человека, имеющего благородный образ мыслей, но по своим личным обстоятельствам принадлежащего к сословиям, ожидающим себе потерь от перемены, выгодной для всего общества. Когда он говорит: Западная Европа находится в кризисе, исход которого сомнителен; отвратить этот кризис, остановить развитие вещей, вернуться к прошлому невозможно; но неизвестно, чем кончится кризис: приведет ли он Западную Европу к развитию более высоких форм жизни или к китаизму, к деспотизму под формою свободы, к застою под формою прогресса, к варварству под формою цивилизации, – когда он говорит это, нам припоминаются чувства и слова честной части английских лендлордов во время отмены хлебных законов. Те лендлорды, которые имели благородный образ мыслей, также говорили тогда: да, мы видим, что отменить хлебные законы необходимо; всякое сопротивление остается напрасно и может только увеличить размер окончательной победы Кобдена с его товарищами, но к чему приведет эта неизбежная перемена? Не убьет ли она английское земледелие? Не разорит ли она наше сословие? – это бы еще ничего: свою беду мы перенесли бы безропотно, – но не разорит ли она и фермеров, не пустит ли ПО миру голодными и миллионы деревенских рабочих, пашущих поля для наших фермеров? Эти люди говорили добросовестно; однако же факт показал неосновательность их мрачных сомнений, и постороннему зрителю с самого начала было видно, что подобные опасения за будущность внушались этим людям только невыгодностью перемены для сословия, к которому они принадлежали. Точно таково же происхождение боязни Милля за будущность Западной Европы: его сомнение о предстоящей судьбе цивилизованных стран не больше, как возведенное личным чувством в общую формулу предчувствие того, что дальнейшее развитие цивилизации будет уменьшать привилегии, присвоенные сословием, к которому сам он принадлежит. Постороннему человеку очень заметна неосновательность Силлогизма, обращающего в Опасность для всего общества потерю привилегий.

В Милле мы видим представителя чувств, с которыми благородные люди богатых сословий Западной Европы встречают предстоящую перемену общественных отношений. Не менее любопытен характер воззрений другого мыслителя, служащего представителем умственного положения простолюдинов Западной Европы. Автор книги «De la justice» был сын деревенского бочара, – не какого-нибудь хозяина большой мастерской, – нет, простого деревенского мужика, который сам и один, без всяких наемных работников, набивал обручи на мужицкие бочки и жил так же бедно, как все мужики той деревни. В детстве своем мыслитель отчасти служил пастухом, отчасти помогал отцу набивать обручи. Некоторые добрые люди зажиточного сословия, заметив ум мальчика, помогли отцу отдать его в безансонскую гимназию. Но Книг покупать ученику было не на что, и он учил уроки уже в классной комнате, в немногие минуты перед начатием класса, по книгам своих товарищей. Бедность семейства скоро заставила его бросить гимназию, чтобы снова стать работником; на 19-м году удалось ему поступить в одну из безансонских типографий наборщиком; через несколько лет сделался он корректором, а потом достиг должности фактора. Так прошло целых 15 лет; молодой наборщик читал книги, думал, пробовал сам писать кое-что, и за одно из своих сочинений получил трехлетнюю стипендию в 1 500 франков от безансонской академии (общества любителей словесности). Это

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe помогло ему в занятиях. Он продолжал писать, оставаясь типографским работником; но безансонская академия уже отвергала его новые труды, заметив, какой неблагоприятный характер обнаруживается в образе мыслей ее стипендиата, который сначала представился ей человеком самых консервативных понятий. Между тем автор, оказавшийся очень дельным человеком по управлению коммерческими делами, приискал себе место комиссионера, (управляющего) в конторе водяной и сухопутной транспортировки братьев Готье в Лионе. В этой конторе служил он до самого 1848 года, который доставил ему возможность жить уже одними литературными трудами. Управляя конторой Готье, он был дельцом очень распорядительным и практичным, так что привел в цветущее положение фирму, в которой служил.

Эта внешняя, сторона жизни автора книги «De la justice» служит верным отражением общих отношений западного простонародья в его трудовой жизни. Простонародье должно выбиваться из самого жалкого положения; благосостоятельным классам сначала бывает жалко видеть людей, умных, честных, трудолюбивых находящимися в безвыходной бедности и в унижении; сильные мира помогают по чистому человеческому чувству своим менее счастливым братьям; благодаря сострадательной заботливости зажиточных людей, сын бедного мастерового, пастух и ученик бочара поступает в школу, выводится на дорогу, по которой и придет к почету и выйдет из бедности. Но помощь эта, при всей своей похвальности, недостаточна, заботливость эта, при всей своей гуманности, не довольно внимательна: мальчик, прежде чем обратился в юношу, уже остается без хлеба, должен бросить путь к хорошему положению в обществе, чтобы кормить себя и свою семью черной работой. Много гибнет тут сил и времени в неблагоприятном труде поденщика, живущего со дня на день, работающего 14 часов в сутки, чтобы иметь неверную и скудную пищу. Но природные дарования велики у него; он еще ничему не выучился, зато узнал, по крайней мере, что спасение может быть дано ему только наукой: он уже не отстанет от умственного труда, как бы ни стесняли его обстоятельства. Притом же он хочет знать правду. Кроме материальной потребности знания, в нем уже развита любознательность. И вот, урывая время от сна, отказывая себе во всяком развлечении, даже в отдыхе, он посвящает час или полчаса позднего вечера чтению, как бы ни чрезмерна была черная работа, занимавшая его целый день. Таким образом учится он много; а мыслит он еще больше: голова его думает над общечеловеческими вопросами и над вопросами о положении целого его сословия, пока руки его исполняют черную работу. Тяжел и длинен этот путь: пятнадцать лет нужно ему на то, чтобы приобрести сведения, которые при лучших условиях приобрел бы он в два-три года. Зато было у него время глубоко обдумывать все, что узнает он, и мысль его получила великую проницательность. Вот он знает уже все, что знают ученые люди, а судит он яснее их; он может сообщить им нечто достойное их внимания: в его мыслях есть нечто новое, потому что порождены они жизнью, какой не испытывают классы, имеющие ученых людей. На первый раз это новое так же нравится ученым порядочного общества, как нравилась прежде даровитость деревенского мальчика: они одобряют труженика; он продолжает свой умственный труд, развивает свои мысли; но тут догадываются, наконец, его покровители, что есть какая-то вредная сторона в его мыслях, показавшихся сначала такими невинными. Препрежнее довольно гордое участие к нему заменяется в них подозрительностью, она усиливается, подтверждается, переходит в положительную нелюбовь, потом в ненависть к нему за его вредный образ мыслей, за его губительные стремления; он отвергнут всеми, кто имеет хорошее положение в обществе, подвергается гонениям; но уже поздно: он уже не нуждается в покровительстве, он уже сильнее преследователей, он знаменит, и все его трепещут, потому что он сокрушает каждого, на коте принужден поднять руку. Эта биография отдельного человека – история сословия, к которому он принадлежит.

Этот человек интересен, как полный представитель умственного положения, до которого возвышается на Западе простолюдин. Переходя к его теориям, мы также найдем, что история его развития отразилась в них всеми своими сторонами и в том числе своими недостатками. Он – самоучка; по каким книгам он учился? Знал ли он, какие книги выбирать, знал ли он, на какие учения обращать внимание, как на учения действительно современные? Нет, он учился по книгам, какие попадались ему в руки, а чаще всего попадают книги, написанные в духе теорий, уже получивших господство в обществе, то есть теорий уже довольно старых, и значительно устаревших. Такова судьба всякого самоучки. Если кто-нибудь из нас, не учившихся, например, химии, вздумает заняться этой наукой и не будет вовремя иметь хороших руководителей, он наверное возьмется или за школьные руководства, служащие вместилищем всякого хлама, или за книги химических знаменитостей, слава которых уже распространилась в обществе: за Либиха, может быть даже за старика Берцелиуса; а люди, знакомые с химией в нынешнем ее виде, говорят, что понятия

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe не только Берцелиуса, но Либиха уже устарели, уже не годятся в руководство человеку, который хотел бы узнать химию в нынешнем ее виде; что науку эту надобно теперь изучать по другим писателям, а книги Либиха могут служить с пользою только уже для справок, только уже человеку, усвоившему себе другой взгляд на дело.

Г. Лавров занят философскою стороною системы автора книги «De la justice», и мы обратим внимание здесь также на эту сторону, хотя для экономической науки его сочинения гораздо важнее, чем для философии. Автор книги «De la justice» далеко превосходит всех своих французских соперников тем, что знаком с немецкою философию. Ни о каком другом французском философе нельзя сказать, чтобы он владел этим знанием. Говорят, будто бы Кузен изучал Шеллинга и Гегеля; но они оба находили, что он решительно не понимает духа их учений, под именем их систем воображает себе какую-то нелепицу, составившуюся в его голове из смеси непонятных немецких выражений с принципами, противоречащими не только немецкой философии, но и духу всякого научного исследования. Следовавшие за Кузеном французские знаменитости по части философии точно так же, как он, оставались чужды духу великих немецких мыслителей или даже и вовсе незнакомы с ними. Об авторе книги «De la justice» надобно сказать не то: он глубоко проникнут принципами немецкой философии. Мы читали, будто бы он не знает по-немецки; если это правда, то все еще ничего не значит. Белинский также не знал по-немецки, а между тем знал немецкую философию так, что не наберется в самой Германии десяти человек, понимающих ее столь же глубоко и ясно. Мы слышали, что главный источник знакомства с этою наукою у автора книги «De la justice» и у Белинского был одинаков: разговоры с людьми, занимавшимися немецкою философию; говорят, что даже эти люди были одни и те же. Можно полагать, что такие известия справедливы. Но как бы то ни было, Прудон проникся духом немецкой философии. Это составляет одну из сильнейших его сторон. Надобно прибавить, что одна из причин неудовлетворительности или, по крайней мере, неясности его понятий также заключается в этом знакомстве, именно в том обстоятельстве, что он узнал немецкую философию под формою системы Гегеля и остановился на этой форме, как на окончательном выводе, между тем как в Германии наука развивалась дальше. Система Гегеля, проникнутая духом, господствовавшим над общественным мнением во время Реставрации и получившим свое начало во время Первой империи, сама по себе уже не соответствует нынешнему состоянию знаний. Надобно еще прибавить, что Гегель по своей натуре или, быть может, по расчету облекал свои принципы в одежду очень консервативную, когда говорил о политических и теологических предметах. Смелый французский простолюдин, усвоив себе его метод, не [мог] остаться доволен его выводами и стал приискивать для принципов Гегеля развитие, более сообразное с их собственным духом и с своим личным образом мыслей, чем какое получили они у самого Гегеля. Если бы он заблаговременно был познакомлен с последующим развитием науки в Германии, он нашел бы в нем то, чего искал. Но не имея этого пособия, он был предоставлен своим собственным силам; а история его умственного развития помешала этим силам сохранить или приобрести качества, нужные для построения связной и однородной философской системы. Он слишком много начитался новых французских философов, прежде чем стал учеником Гегеля. Когда он переделывал его систему, он слишком часто упал под влияние мыслей, какие прежде были привычны ему по французским книгам. Таким образом его собственная система составлялась из соединения гегелевской философии с понятиями* ми французских философов, часто не имеющими научного духа. Повсюду, видна у него чрезвычайная сила ума, но слишком часто заметно, что ум этот связывался воззрениями, не имеющими никакого научного основания. Результатом столь неблагоприятных условий была темнота; он сам заметил ее и хотел выйти из нее или страстными порывами ненависти к преданию, против его воли опутывавшему его, или усилиями придать ему разумный смысл.

Во всем этом мы опять видим общие черты того умственного положения, в котором находится теперь западноевропейский простолюдин. Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западноевропейский простолюдин в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые наиболее соответствуют его положению, наклонностям, потребностям и (как нам кажется, наиболее соответствуют истине, а во всяком случае) сообразны с нынешним положением знаний. При незнакомстве с этими понятиями он принужден учиться по книгам или положительно дурным, или устарелым, оставаться под влиянием ошибочных мнений, господствующих в так называемой образованной публике, в которой достигает господства только то, что уже отжило свое время в науке, принужден истощать свои силы на борьбу с предрассудками, уже разоблаченными истинно

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
современной наукой, еще не дошедшей до него, или подчиняться этим
(предрассудкам, переходить от гнева на них к покорности им, вместо того чтобы
холодно отстранить их, как разоблаченную ложь, которая стала бы для него
неопасна, как скоро он понял бы, что она чистейший вздор.

Вот почему мы думаем, что ни автор книги «De la justice», ни Милль не могут быть авторитетами в философии. Оба они чрезвычайно важны для человека, желающего узнать расположение мыслей в известных сословиях западноевропейского общества: из Милля он узнает, как благородная часть западноевропейских привилегированных классов смущается духом при виде осуществления тех идей, теоретическую справедливость которых сама она защищает, признавая их логически неотразимыми и ведущими к общему благу, но которые невыгодны для этих сословий. Автор книги «De la justice» показывает, как простолюдины, жаждущие перемен, затрудняются в их осуществлении тем, что воспитались в понятиях старины, не познакомились еще с воззрениями, соответствующими их потребностям. Но представителями этих воззрений, развитых современной наукой, ни Милль, ни Прудон не могут считаться[7]. Истинных представителей ее надобно и теперь, как прежде, искать в Германии. Быть может, мы ошибаемся, но нам кажется, что г. Лавров принужден был собственными силами доискиваться тех решений, которые уже найдены нынешнею немецкою философиею. Нам кажется, что изучение отживших форм немецкой философии и книг, написанных мыслителями английскими и французскими, предшествовало у него знакомству с новейшими немецкими мыслителями, и что будь иначе, прочти он несколькими годами позже те книги, которые прочтены им раньше, прочти он несколькими годами раньше те книги, которые прочтены им уже только по окончании внутренней его работы над построением своего образа мыслей, он писал бы несколько иначе. Мы не говорим, что он пришел бы к другим воззрениям, – нам кажется, что сущность его воззрений справедлива, – но они представлялись бы ему в виде более простом; быть может, мы выразились не так, и точнее было бы сказать: он решительнее находил бы, что отвергаемая им ложь – совершенно пустая ложь, могущая вызывать только улыбку сострадания, а не серьезное раздумье о том, можно ли безусловно отвергнуть ее. Очень может быть, что убеждение в простоте истины и в основательности совершенного разрыва современных воззрений с пустою софистикою, в которую одета древняя грубая ложь, отразилось бы и на его изложении большею доступностью для большинства публики; быть может, его статьи, которые теперь всеми уважаются, более читались бы тою частью публики, которая слишком склонна оставлять непрочтенными книги и статьи, внушающие ей слишком большое уважение. Не входя в критику воззрений г. Лаврова, мы попробуем изложить наши понятия о тех же предметах; нам кажется, что они в сущности сходны с образом мыслей г. Лаврова; разница будет почти только в изложении и в приемах постановки вопроса.

Основанием для той части философии, которая рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе. Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей природы, другую природу, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой природы в нем нет. [Это доказательство имеет совершенную несомненность.] Убедительность [его] равняется убедительности тех оснований, по которым, например, вы, читатель, уверены, что, например, в эту минуту, когда вы читаете эту книгу, в той комнате, где вы сидите, нет льва. Вы так думаете, во-первых, потому, что не видите его глазами, не слышите его рыкания; но это ли одно ручается вам за то, что льва нет в вашей комнате? Нет, есть у вас второе ручательство за то: ручательством служит тот самый факт, что вы живы; если бы в вашей комнате находился лев, он бросился бы на вас и растерзал бы вас. Нет последствий, которыми неизбежно сопровождалось бы присутствие льва, потому вы знаете, что нет тут и льва. Скажите также, почему вы убеждены, что собака не умеет говорить? Вы не слышали, чтобы она когда-нибудь говорила; само по себе это было бы еще недостаточно: вы видели многих людей, которые молчали в то время, как вы их видели: они просто не хотели, а не то чтобы не умели говорить: быть может, и собака только не хочет говорить, а не то что не умеет говорить? Так и думают люди с неразвитым умом, верящие сказкам, в которых разговаривают животные, и объясняющие свое предположение таким способом: собака очень умна и

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
хитра, она знает, что слова часто доводят до беды, оттого и молчит, расе читав,
что молчать гораздо безопаснее, чем говорить. Вы смеетесь над такими
замысловатыми объяснениями и понимаете дело проще: вы видели случаи, в которых
собака не могла бы не говорить, если бы имела эту способность; например, убивают
собаку; она визжит изо всех сил, ей, очевидно, невозможно удержаться от
выражения своей мысли о том, что ей больно, о том, что с нею поступают жестоко.
Она ищет всяких средств выразить это и находит одно средство – визг, а слов не
находит; значит, в ней нет дара слова; если б он был в ней, она действовала бы
иначе. Дано обстоятельство, в котором существование известного элемента в
известном предмете непременно имело бы известный результат; этого результата
нет, потому нет и этого элемента. Возьмем еще случай. Почему вы знаете, что,
например, г. Юм, наделавший у нас в Петербурге такого шума года два тому назад
своими фокусами, – действительно только фокусник, а не может в самом деле знать
будущего, знать тайн, которых ему не сказывали, читать книг и бумаг, которые не
находятся у него перед глазами? Вы знаете это вот почему: если бы он мог знать
будущее, он был бы сделан дипломатическим советником при каком-нибудь дворе и
рассказывал бы министерству этого двора все, что произойдет в данных случаях:
например, он сказал бы Рехбергу в прошлом марте, что если австрийцы начнут
войну, то они будут побиты при Палестро, Мадженте и Сольферино и потеряют
Ломбардию. Тогда австрийцы не начали бы войны, и не было бы ничего из того, что
произошло в прошлом году в Италии, Франции, Австрии, а происходило бы что-нибудь
совершенно иное. Если бы он мог читать книги, не находящиеся у него под глазами,
тогда правительства и ученые общества не стали бы посылать ученых на восток
отыскивать древние рукописи, а обратились бы с просьбой к нему, и он из Парижа
прочел бы и продиктовал бы им какого-нибудь неизвестного нам теперь древнего
греческого писателя, список которого уцелел в каком-нибудь сирийском захолустье.
Этого нет, г. Юм и его собратья по искусству не открыли ровно ничего ни
дипломатам, ни ученым; а непременно открывали бы им важные вещи, если бы могли,
потому что это было бы для них и несравненно выгоднее, и несравненно почетнее
фокусничества; потому они и не имеют той способности, которую приписывают им
легковерные люди. О всех таких случаях не довольно сказать: мы не знаем,
существует ли известный элемент; нет, рассудок обязывает нас прямо сказать: мы
знаем, что этого элемента нет; если б он был, то происходило бы не то, что
происходит.

Но при единстве природы мы замечаем в человеке два различные ряда явлений:
явления так называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так
называемого нравственного порядка (человек думает, чувствует, желает). В каком
же отношении между собою находятся эти два порядка явлений? Не противоречат ли
их различие единству природы человека, показываемому естественными науками?
Естественные науки опять отвечают, что делать такую гипотезу мы не имеем
основания, потому что нет предмета, который имел бы только одно качество, –
напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений,
которые мы для удобства суждения о нем подводим под разные разряды, давая
каждому разряду имя качества, так что в каждом предмете очень много разных
качеств. Например, дерево растет, горит; мы говорим, что оно имеет два качества:
растительную силу и удобосгораемость. В чем сходство между этими качествами? Они
совершенно различны; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба
эти качества, кроме общего понятия качества; нет такого понятия, под которое
можно было подвести оба ряда явлений, соответствующих этим качествам, кроме
понятия явление. Или, например, лед тверд и блестящ; что общего между твердостью
и блеском? Логическое расстояние от одного из этих качеств до другого безмерно
велико, или, лучше сказать, нет между ними никакого, близкого или далекого,
логического расстояния, потому что нет между ними никакого логического
отношения. Из этого мы видим, что соединение совершенно разнородных качеств в
одном предмете есть общий закон вещей. Но в этом разнообразии естественные науки
открывают и связь, – не по формам обнаружения, не по явлениям, которые
решительно несходны, а по способу происхождения разнородных явлений из одного и
того же элемента при напряжении или ослаблении энергичности в его действовании.
Например, в воде есть свойство иметь температуру – свойство, общее всем телам. В
чем бы ни состояло свойство предметов, называемое нами теплотою, но оно при
разных обстоятельствах обнаруживается с очень различными величинами. Иногда один
и тот же предмет очень холоден, то есть обнаруживает очень мало тепла; иногда он
очень горяч, то есть обнаруживает его очень много. Когда вода, по каким бы то ни
было обстоятельствам, обнаруживает очень мало теплоты, она бывает твердым телом
– льдом; обнаруживая несколько больше теплоты, она бывает жидкостью; а когда в
ней теплоты очень много, она становится паром. В этих трех состояниях одно и то
же качество обнаруживается тремя порядками совершенно различных явлений, так что

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
одно качество принимает форму трех разных качеств, разветвляется на три качества
просто по различию количества, в каком обнаруживается: количественное различие
переходит в качественное различие.

Но разные предметы различаются между собою своею способностью обнаруживать известные общие им качества в очень различных количествах. Например, железо, серебро, золото обнаруживают очень значительное количество того качества, которое называется тяжестью и мерилом которого у нас на земле служит вес. Воздух обнаруживает это качество в таком малом количестве, что только особенными учеными исследованиями оно открыто в нем, а каждый человек, не знакомый с наукою, по необходимости предполагает, будто бы в воздухе вовсе нет тяжести. Точно так же думали о всех газообразных телах. Возьмем другое качество – способность сжиматься от давления. Без особенных средств анализа, даваемых только наукою, никто не заметит, чтобы жидкости сжимались от какого бы то ни было давления: кажется, будто бы вода сохраняет совершенно прежний объем под самым сильным давлением. Но наука отыскала факты, показывающие, что и вода в некоторой степени сжимается от давления. Из этого надобно заключать, что когда нам представляется какое-нибудь тело, не имеющее, по-видимому, известного качества, то надобно употребить научный анализ для проверки этого впечатления, и если он скажет, что качество это находится в теле, то надобно не твердить упорно: наши не вооруженные научными средствами чувства говорят противное, а надобно просто сказать: результат, полученный при помощи исследования предмета с нужными научными средствами, показывает неудовлетворительность впечатления, получаемого чувствами, лишенными нужных в этом деле пособий.

С другой стороны, когда кажется, будто бы известный предмет имеет какое-нибудь особенное качество, которого будто бы совершенно нет в других предметах, то надобно опять исследовать дело научным образом. Например, нам кажется, что дерево имеет способность совершенно особенную, какой нет и большей части других тел: оно горит, а камень, глина, железо не горят. Но когда мы исследуем при помощи научных пособий процесс, называемый горением, то мы найдем, что он состоит в соединении некоторых элементов известного тела с кислородом; вместе с этим наука показывает, что в большей части так называемых негорючих тел постоянно происходит точно тот же процесс соединения всех или некоторых из составных их частей с кислородом. Например, железо постоянно окисляется, – на разговорном языке этот вид процесса называется особенным словом «ржаветь»; но наука открывает, что ржавенье и горение – совершенно один и тот же процесс и что эти два случая его представляются различными для нашего впечатления только оттого, что в одном случае процесс происходит гораздо быстрее, гораздо интенсивнее, нежели в другом.

Отчего же теперь разные предметы имеют различную величину интенсивности в обнаружении известного качества при одинаковых условиях? Отчего камень в обыкновенных житейских условиях обнаруживает очень сильную степень качества, называемого тяжестью, а воздух не обнаруживает его иначе, как при пособии особенных научных средств, увеличивающих проницательность наших чувств? Отчего окисление железа происходит в обыкновенной атмосфере гораздо медленнее, чем окисление дерева, когда оба предмета положены в одну и ту же горящую печь? Наука говорит, что она еще не успела исследовать законов, от которых зависит эта разница в немногих телах, остающихся в химии пока под именем простых, но что во всех остальных телах, которые успела она разложить, эта разница происходит от различия в составе или от различия состояний, в которых находятся составные части сложного тела. Например, разнице между водою и маслом или водяным паром и камнем соответствует разница в составе этих тел. Разнице между углем и алмазом соответствует то различие, что составные части угля находятся в некристаллизованном, а составные части алмаза в кристаллизованном состоянии. Естественные науки замечают также, что простые или составленные из них сложные тела, входя между собою в химические соединения, вообще дают в продукте тело, обнаруживающее такие качества, каких не обнаруживали составные его части, когда находились порознь. Так, например, из соединения в известной пропорции водорода и кислорода образуется вода, имеющая множество таких качеств, которых не было заметно ни в кислороде, ни в водороде. Об этих комбинациях химия замечает, что многосложные из них вообще отличаются большею переменчивостью, так сказать подвижностью. Так, например, железная ржавчина, состоящая только из соединения железа с кислородом в очень простой пропорции, очень постоянна, так что нужно действовать на нее чрезвычайно высокою температурою или чрезвычайно сильными реагентами, чтобы произвести перемену в этом теле. Но кровяной шарик, в котором железная окись служит только одним из элементов многосложной химической

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
комбинации с примесями разных других тел, например, воды, никак не может долго
сохранять своего состава: он, можно сказать, не существует в постоянном виде,
как существуют частички ржавчины, а беспрестанно изменяется, приобретая новые
частицы и теряя прежние. То же надобно сказать о всех многосложных химических
комбинациях: они имеют очень сильную склонность существовать постоянным
возникновением, возрастая, обновлением и, наконец, уничтожаться среди
обыкновенных обстоятельств, так что существование предмета, состоящего из таких
комбинаций, состоит в беспрестанном возобновлении частей и представляется
непрерывным химическим процессом.

Многосложные химические комбинации, имеющие этот характер, одинаково
обнаруживают его, находятся ли «они» в так называемых органических телах или
возникают и существуют вне их, в так называемой неорганической природе. Еще не
очень давно казалось, что так называемые органические вещества (например,
уксусная кислота) существуют только в органических телах; но теперь известно,
что при известных условиях они возникают и вне органических тел, так что разница
между органической и неорганической комбинацией элементов несущественна и так
называемые органические комбинации возникают и существуют по одним и тем же
законам и все они одинаково возникают из неорганических веществ. Например,
дерево отличается от какой-нибудь неорганической кислоты собственно тем, что
кислота эта – комбинация немногосложная, а дерево – соединение многих
многосложных комбинаций. Это как будто разница между 2 и 200, разница
количественная, не больше.

Итак, естественные науки видят в существовании органического тела, каково,
например, растение или насекомое, химический процесс. Об этом явлении вообще
замечают естественные науки, что во время химического процесса тела обнаруживают
такие качества, каких совершенно незаметно в них при состоянии неподвижного
соединения. Например, дерево само по себе не жжет; трут, кремь и огниво также
не жгут; но если частичка стали, раскаленная трением (ударом) о кремь и
оторванная от огнива, попадает в трут и, чрезвычайно возвысив температуру
некоторой частички этого трута, дает условие, нужное для начала в этой частичке
трута химического процесса, называемого горением, то постепенно весь кусок
трута, вовлекаясь в этот химический процесс, начинает жечь, чего не делал, когда
в нем не было химического процесса; будучи пододвинут к дереву во время этого
процесса, он также вовлекает его в свой химический процесс горения, и дерево во
время этого процесса также жжет, светит и обнаруживает другие качества, каких не
замечалось в нем до начала процесса. Возьмем какой угодно другой химический
процесс, мы увидим то же самое: тело, находящееся в нем, обнаруживает качества,
каких не обнаруживало до начала процесса. Возьмем, например, процесс брожения.
Пивное сусло стоит спокойно в своем чану; дрожжи также (неподвижны в своей
кружке. Положите дрожжи в сусло, начинается химический процесс, называемый
брожением: сусло бурлит, пенится, бьет в своем сосуде. Разумеется, когда мы
говорим о различии состояния тел во время химического процесса и в такое время,
когда не находятся они в процессе, мы говорим только о количественной разнице
между сильным, быстрым ходом процесса и очень медленным, слабым ходом его.
Собственно говоря, каждое тело постоянно находится в состоянии химического
процесса; например, бревно, если и не будет зажжено, не сгорит в печи, а будет
спокойно, как будто без всяких перемен лежать в стене дома, все-таки
когда-нибудь придет к тому же концу, какому приводит его горение: оно постепенно
истлеет, и от него останется тоже только пепел (пыль гнилушки, которая, наконец,
оставит от себя на прежнем месте только минеральные частицы пепла). Но если этот
процесс, как, например, при обыкновенном тлении бревна в стене дома, происходит
чрезвычайно медленно и слабо, то и качества, свойственные телу, находящемуся в
процессе, обнаруживаются с микроскопической слабостью, которая в житейском быту
совершенно неуловима. Например, при медленном истлевании дерева, лежащего в
стене дома, также развивается теплота; но то количество ее, которое при горении
сосредоточилось бы в течение нескольких часов, тут разжигается (если можно так
выразиться) на несколько десятков лет, так что не достигает никакого результата,
удобоуловимого на практике: существование этой теплоты ничтожно для практических
суждений. Это то же самое, как винный вкус в целом пруде воды, в который брошена
одна капля вина: с научной точки зрения этот пруд содержит в себе смесь воды с
вином, но в практике надобно принимать, что вина в нем как будто вовсе нет.

Читатель, вероятно, скажет, что все наши рассуждения так же справедливы, как
справедливы были бы рассуждения об обращении земли около солнца, о холоде на
полюсах, о жаре под тропиками, и столь же мало идут к делу. Читатель без всякого
сомнения, будет прав, сказав, что мы занимаемся теперь пустословием. Но гораздо

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
легче заметить в себе недостаток или согласиться с словами людей, указывающих
его, нежели исправиться от него. Вообще люди наклонны щегольнуть знакомством с
такими вещами, в которых, в сущности, мало знакомы, любят выказывать это свое
мнимое знакомство кстати и некстати; почему же нам следовало бы не иметь этого
недостатка? А если мы уже имеем его, то почему же и не выказываться ему? Пусть
же себе выказывается, и будем заниматься не идущими к делу рассуждениями о
естественных науках, мало нам знакомых, пока надоеет нам это щегольство, – тогда
мы займемся чем-нибудь другим, чего, быть может, также вовсе не знаем, например,
хоть нравственную философию. Читатель подумает: однако же, труден будет переход
от химии к общественным учреждениям. Ну вот, будто бы уже и трудно найти фразу,
которой бы связывались совершенно несвязные части рассуждения? Когда придет нам
охота говорить о философии вместо химии, мы просто напишем: «итак, до сих пор мы
рассуждали вот о чем, а теперь будем рассуждать вот о чем», и дело будет кончено
– удовлетворительный переход сделан. Разве не делают беспрепятственно точно таких же
переходов очень знаменитые авторитеты: напишут две фразы, решительно не
клеящиеся между собою, поставят между ними «итак» или «следовательно», – и
силлогизм готов, и все доказано.

Но мы чувствуем, что еще на несколько страниц хватит у нас желания толковать
вместо философии о естественных науках, совершенно не идущих к делу, по
справедливому замечанию читателя. Смутило было нас одно обстоятельство: мы уже
истощили весь скудный запас наших сведений о химических комбинациях и процессах;
мы не имеем что тут больше сказать, а говорить нам охота страшная. Вот она-то и
выручает нас из беды: «сказал все, что знаешь об одном, шепчет нам она, кидайся
на другое, что подвернется под язык». Мы послушались доброго совета. Давайте же
говорить хоть о царствах природы: кое-что каждый о них знает, хоть иной и
маловато; кое-что знаем и мы, и уже сами чувствуем, что маловато, а все-таки на
несколько страниц достанет. Но тут в другое ухо желание как можно дольше
уклоняться от настоящего предмета речи, чтобы наговорить как можно больше не
идущего к делу, подшепнуло нам другой совет: «из трех царств природы,
минерального, растительного и животного, вы пока ничего не говорите о том,
которое одно могло бы представлять примеры хотя некоторой аналогии с
человеческою жизнью, о жизни муравьев, пчел, бобров, – не говорите ничего о
царстве животных». Мы слушаемся и этого совета, хотя он очевидно нелеп:
нелепостей в жизни делаешь так много, что одною больше или одною меньше – не
составит ровно никакой разницы, как не составляет ровно никакой разницы в
температуре присутствие какой-нибудь сгнивающей щепы. Будем же говорить о
неорганической природе и о растительном царстве.

Нам нравится эта новая тема, собственно, потому, что, и независимо от
недостаточности наших знаний о ней, нельзя было бы сказать о ней ничего
дельного, потому что она сама по себе чужда всякой реальности, вводя в природу
подразделение, которого в природе вовсе нет. Оно только кажется незнающему
человеку, что камень – сам по себе, а растение – вещь совершенно другого рода;
на самом же деле открывается, что оба эти предмета, столь несходные, состоят из
одинаковых частей, соединившихся по одним и тем же законам, только соединившихся
в разной пропорции. Разлагаем камень и находим, что он составился из газов и
металлов; разлагаем растение и в нем тоже находим газы и металлы. В камнях
металлы находятся не в чистом своем виде, а в разных соединениях с кислородом; в
растениях – тоже. В камнях газы находятся не каждый особю, не сам по себе, а в
разных соединениях с другими газами и металлами; в растениях – тоже. Больше
всего в растении таких частей, которые прямо состоят из голого камня: в живом
растении этот камень составляет две трети или три четверти всей массы растения
или даже больше; этот камень – вода. От вещей, которые называются камнями в
обыкновенном языке, этот камень отличается лишь тем, что плавится при
температуре очень низкой, между тем как обыкновенные камни плавятся только при
чрезвычайно высокой температуре. Но если расплавленный кварц не перестает быть
кварцем, камнем, то и минерал, бывающий в расплавленном виде водою (лед), не
перестает, расплавившись, быть минералом. Итак, от обыкновенных руд, камней и
других неорганических тел растение отличается, собственно тем, что представляет
комбинацию элементов гораздо более сложную и потому гораздо быстрее проходящую
химический процесс в обыкновенной атмосфере, чем неорганические тела, и притом
по самой своей многосложности проходящую процесс гораздо более сложный. В
неорганическом теле происходит, например, окисление только одного рода, а в
растении одновременно совершается окисление в нескольких степенях, и притом в
неорганическом теле окислению подвергаются один или два элемента его
однообразной комбинации, а в растении – вдруг несколько химических соединений,
из которых каждое довольно многосложно. Само собою разумеется, что, находясь в

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
таким быстрым и многосложным химическим процессом, тела обнаруживают такие качества, которых не проявляют при процессах менее быстрых и сложных. Словом сказать, разница, между царством неорганической природы и растительным царством подобна различию между маленькою травкою и огромным деревом – это разница по количеству, по интенсивности, по многосложности, а не по основным свойствам явления: былинка состоит из тех же частиц и живет по тем же законам, как дуб; только дуб гораздо многосложнее былинки: на нем десятки тысяч листьев, а на былинке всего два или три. Опять само собою разумеется, что одинаковость тут существует для теоретического знания о предмете, а не для житейского обращения с ним: из былинки нельзя строить домов, а из дубов можно. В житейском быту мы совершенно правы, когда считаем руду и растения предметами, принадлежащими к совершенно разным разрядам вещей; но точно так же мы правы в житейском быту, считая лес вещь совершенно иного разряда, чем трава. Теоретический анализ приходит к другому результату: он находит, что эти вещи, столь различные по своему житейскому отношению к нам, должны считаться только разными состояниями одних и тех же элементов, входящих в разные химические комбинации по одним и тем же законам. Для открытия этого тождества между травою и дубом был достаточен анализ ума, не обогащенного большим запасом наблюдений и тонкими средствами исследования; для открытия одинаковости между неорганическим веществом и растением нужен был гораздо больший умственный труд при помощи гораздо сильнейших средств исследования. Химия составляет едва ли не лучшую славу нашего века.

Впрочем, громадный запас наблюдений и особенно тонкие средства анализа нужны не столько затем, чтобы гениальный ум мог увидеть истину, открытие которой требует глубоких соображений, – чаще всего бывает, по крайней мере в общих философских вопросах, что истина заметна с первого взгляда человеку пытливого и логичного ума, – обширные исследования и громадные научные средства в этих случаях приносят, собственно, ту пользу, что без них истина, открытая гениальным человеком, остается его личным соображением, которого он не в силах доказать точным ученым образом, и потому или остается не принята другими людьми, продолжающими страдать от своих ошибочных мнений, или, что едва ли не хуже еще, принимается другими людьми не на разумном основании, а по слепому доверию к словам авторитета. Принципы, разъясненные и доказанные теперь естественными науками, были найдены и приняты за истину еще греческими философами, а еще гораздо раньше их – индийскими мыслителями, и, вероятно, были открываемы людьми сильного логического ума во все времена, во всех племенах. Но развить и доказать истину логическим путем прежние гениальные люди не могли. Она известна была всегда повсюду, но стала наукою только в последние десятилетия. Природу сравнивают с книгою, заключающею в себе всю истину, но написанною языком, которому нужно учиться, чтобы понять книгу. Пользуясь этим уподоблением, мы скажем, что очень легко можно выучиться каждому языку настолько, чтобы понимать общий смысл написанных им книг; но очень много и долго нужно учиться ему, чтобы уметь отстранить все сомнения в основательности смысла, какой мы находим в словах книги, уметь объяснить каждое отдельное выражение в ней и написать хорошую грамматику этого языка.

Единство законов природы было понято очень давно гениальными людьми; но только в последние десятилетия наше знание достигло таких размеров, что доказывает научным образом основательность этого истолкования явлений природы.

Говорят: естественные науки еще не достигли такого развития, чтобы удовлетворительно объяснить все важные явления природы. Это – совершенная правда; но противники научного направления в философии делают из этой правды вывод вовсе не логический, когда говорят, что пробелы, остающиеся в научном объяснении натуральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь остатков фантастического мирозерцания. Дело в том, что характер результатов, доставленных анализом объясненных наукою частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые еще не вполне объяснены: если бы в этих необъясненных частях и явлениях было что-нибудь иное кроме того, что найдено в объясненных частях, тогда и объясненные части имели бы не такой характер, какой имеют. Возьмем какую угодно отрасль естественных наук – положим, хотя географию или геологию – и посмотрим, какой характер могут иметь, какого характера не могут иметь сведения, которых мы еще не приобрели по разным частям предмета, исследуемого этими науками. При нынешнем развитии географии мы еще не имеем удовлетворительных сведений о странах около полюсов, о внутренности Африки, о внутренности Австралии. Без сомнения эти пробелы в географическом знании очень

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
прискорбны для науки и, по всей вероятности, даже для практической жизни было бы
нужно пополнить их, потому что очень может быть, что в этих странах найдется
что-нибудь новое и пригодное для жизни: очень может быть, что во внутренности
Австралии найдутся новые золотые россыпи или рудники еще обильнее тех, какие
найжены на ее побережье; очень может быть, что во внутренности Африки найдутся
какие-нибудь новые горные породы, новые растения, новые метеорологические
явления; все это очень может быть, и пока не будет произведено точное
исследование этих стран, никак нельзя с точностью сказать, какие именно вещи и
явления найдутся в них: но можно уже и теперь с достоверностью сказать, каких
вещей и каких явлений никак не будет в них найдено. Под полюсами, например, не
найдется жаркого климата и роскошной растительности. Этот отрицательный вывод
несомненен, потому что, если бы под полюсами средняя температура была высока или
хотя умеренна, не таково было бы состояние северной Сибири, северной части
английских владений в Америке, морей, соседних с полюсами. В Центральной Африке
также не найдется полярного холода, потому что, если бы центральная часть
африканского материка имела климат холодный, не таково было бы климатическое
состояние южной полосы Алжирии, верхнего Египта и других земель, окружающих
центр Африки. Какие именно реки найдутся в Центральной Африке или Австралии, мы
этого не знаем, но наверно можно сказать, что если найдутся там реки, то
течение в них будет сверху вниз, а не снизу вверх. Точно то же надобно сказать и
о тех частях земного шара, которых еще не успела исследовать геология. Мы
исследовали только один очень тонкий слой земной коры, не составляющий и одной
тысячной части всего шара; в безмерной массе вещества, скрывающегося под этою
корю, конечно, находится много тел и явлений, не встречающихся в доступной нам
ничтожной части его. Но по этой одной части мы уже достоверно знаем, какой
характер имеют и какого характера не имеют предметы и феномены, заключенные в
недоступных нам недрах шара. Мы знаем, что там температура страшно высокая, –
если бы она не была так высока, не то было бы на поверхности земли, что
находится и происходит теперь; мы знаем, что в такой высокой температуре не
могут удерживаться те химические соединения, которые составляют так называемое
органическое царство; потому мы знаем, что в недрах земли нет растительной и
животной жизни, какая существует на поверхности земли. Там нет никаких
организмов, сколько-нибудь подобных нашим растениям или животным. Если мы
захотим сказать, что на полюсах или в Центральной Африке, или в недрах земли
находятся тела именно вот такого разряда, что там происходят феномены именно вот
такого вида, это будет только гипотезою, может быть и ошибочною; мы не можем
отгадать, вода или земля находится под полюсами; покрыто льдами или иногда
бывает чисто от них море под полюсами, если там море; покрыта вечным льдом или
имеет по временам какую-нибудь растительность земля под полюсами, если там
земля, – эти положительные заключения были бы только догадками, не имеющими
научной достоверности; но отрицательные выводы, каковые например, то, что под
полюсами не может расти виноград или дуб, что не могут там жить обезьяны или
попугаи, – эти отрицательные выводы имеют совершенную научную достоверность; это
уже не гипотезы, не догадки, это – достоверное знание, основанное на отношении
явлений, происходящих в известных нам странах земной поверхности, к
неисследованным нами феноменам неизвестных частей ее. Возможно ли, в самом деле,
усомниться в том, что под полюсами не живут попугаи? Для попугаев нужна средняя
годовая температура в 15 или 18 градусов выше точки замерзания, а если бы на
северном полюсе была такая температура, то Гренландия имела бы климат, по
крайней мере, столь же теплый, как Италия. Или возможно ли сомневаться в том,
что в слоях земного шара, близких к центру его, нет растительных организмов?
Чтобы они могли там существовать, нужна была бы там температура не выше точки
кипения воды, потому что без воды нет никаких растений; а если бы там была
температура ниже точки кипения воды, тогда не находили бы мы, что, чем дальше в
глубь, тем выше температура слоев исследованной нами оболочки земного шара.

К чему мы так долго останавливаемся на явлениях и заключениях, каждому
известных? Просто оттого, что по непривычке к систематическому мышлению слишком,
«многие люди слишком склонны не замечать смысл общих законов, который одинаков
со смыслом отдельных феноменов, ими понимаемых. Мы хотели как можно сильнее
выставить силу одного из таких общих законов: если при нынешнем состоянии
научного наведения (индуктивной логики) мы в большей части случаев еще не можем
с достоверностью определить по исследованной нами части предмета, какой именно
характер имеет неисследованная часть его, то уже всегда можем с достоверностью
определять, какого характера не может иметь она. Наши положительные заключения
от характера известного к характеру неизвестного при нынешнем состоянии наук
находятся еще на степени догадок, подлежащих спору, доступных ошибкам; но
отрицательные заключения уже имеют полную достоверность. Мы не можем сказать,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe чем именно окажется неизвестное нам; но мы уже знаем, чем оно не оказывается.

Фантастические гипотезы, разрушаемые этими отрицательными выводами, в химии, в географии, в геологии уже не заслуживают никакой борьбы, потому что всеми и каждым сколько-нибудь образованным человеком признаются за бредни. Географ не имеет нужды доказывать, что под полюсами не найдется обезьян, в Центральной Африке не найдется безголовых людей, в Центральной Австралии – рек, текущих снизу вверх, в недрах земли – сказочных садов и циклопов, кующих оружие Ахиллесу под надзором Вулкана. Но человек с логическим умом точно так же смотрит на фантастические гипотезы и в других науках: он так же видит, что все это бредни, несовместные с нынешним состоянием знаний. Говорят, что открытия, сделанные Коперником в астрономии, произвели перемену в образе человеческих мыслей о предметах, по-видимому очень далеких от астрономии. Точно такую же перемену и точно в том же направлении, только в гораздо обширнейшем размере, производят ныне химические и физиологические открытия: от них изменяется образ мыслей о предметах, по-видимому очень далеких от химии. Теперь, чтобы сколько-нибудь свести конец этой статьи с ее началом, мы опять обратимся мыслью к будущим судьбам Западной Европы, о которых были принуждены говорить по поводу приводимых г. Лавровым из Милля и Прудона цитат о прискорбной будто бы перспективе, грозящей западному человечеству. Химия, геология и потом, вдруг, рассуждения о политических партиях в Англии или Франции, о западноевропейских нравах, о надеждах и опасениях разных сословий и разных публицистов – какой произвольный переход, какое отсутствие логики! Что ж делать, читатель: чем богаты, тем и рады; ничего другого вы и не должны были ждать от нашей статьи. Попробуйте приложить к ее характеру метод отрицательных заключений о характере неизвестного по характеру известного и посмотрим, чего никак не должны были бы вы ожидать от этой статьи, если бы потрудились употребить в дело этот метод перед тем, как начали читать ее. Статья написана по-русски, для русской публики: это вам было известно по самой обертке журнала. Статья эта хочет говорить о философских вопросах, – это также было видно по ее заглавию на обертке книжки. Теперь рассудите сами: есть ли какая-нибудь логика в этих двух известных вам фактах? Какой-то господин написал статью для русской публики; нужны ли для русской публики журнальные статьи? Судя по всему, решительно не нужны; потому что, если б были нужны, они были бы не таковы, какие бывают теперь. Итак, этот неизвестный вам господин, автор этой статьи, поступил вовсе не логично, сделал то, чего не нужно публике, – написал статью. Но вы, по своему великодушию, допустили эту нелепость без порицания: вздумал он делать то, чего никому не нужно, – ну, так и быть – написал статью, так пусть написал. Теперь другой вопрос: о чем же он написал ее? о философии. О философии! Господи, твоя воля! да кто же в русском обществе думает о философских вопросах? Разве г. Лавров, – да и то сомнительно: быть может, и самому г. Лаврову гораздо интереснее всевозможных философских вопросов наши житейские и общественные дела. Выбор предмета для такого нелогического поступка, как написание журнальной статьи, еще нелогичнее самого этого поступка. Чего же вы могли ожидать от статьи, к самому началу которой приложены две такие крупные печати с надписью: отсутствие логики? При нынешнем состоянии наук в России нельзя достоверно сказать, какие вещи можно было ожидать найти в этой статье вам, судившим о ней по ее заглавию; но можно достоверно сказать, что никак нельзя было ожидать найти в ней логику. А где нет логики, там бессвязность. Вот вам небольшой опыт приложения теории отрицательных выводов от характера известного к характеру неизвестного. Не правда ли, принцип достоверности этого метода блистательно подтвердился прочтенною вами статьею? Мы говорим не по увлечению авторским самолюбием, – мы говорим по искреннему и верному убеждению, что эта статья своею бессвязностью, бестолковостью возвышается над всеми другими читанными вами статьями, по крайней мере, на столько же, на сколько интенсивность химического процесса в растительной жизни возвышается над его интенсивностью в неорганической природе. Скажите же теперь, не должны ли мы, чтобы выдержать характер статьи, перебраться к рассуждениям о будущности Западной Европы от химических рассуждений?

Мы видели, какой характер принадлежит образу мыслей в благородной части тех сословий Западной Европы, которые ждут себе потерь от перемен, признаваемых ими самими за неизбежные и справедливые. Скорбь о своей предстоящей судьбе производит смущение в их уме. У них нет сил применить к близкому для них факту принцип, принимаемый ими в его общем, отвлеченном виде. Мы видели, на какой ступени развития находится образ мыслей простолюдина Западной Европы. До него еще не дошла общая идея нынешней науки, выводы которой согласны с его потребностями. Он еще держится устарелых принципов, но видит совершенную несостоятельность выводов, сделанных из них его учителями, людьми старых систем,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe и беспрестанно переходит от желчного отрицания их к подчиненности им. В этом смирении он не может удержаться перед рутинной. Эта желчная переменчивость, это колебание вовсе не принадлежит духу новых идей: напротив, шаткость воззрений, выражающаяся смесью скептицизма с излишнею доверчивостью, происходит именно от недостаточного знакомства с идеями, выработанными нынешнею наукой. Читатель видит, какой характер имеют ее принципы и выводы. Основаниями своих теорий она берет истины, открытые естественными науками посредством самого точного анализа фактов, истины столь же достоверные, как обращение земли вокруг Солнца, закон тяготения, действие химического сродства. Из этих принципов, не подлежащих никакому спору или сомнению, современная наука делает свои выводы путем столь же осмотрительным, как и тот, которым дошла до них. Она не принимает ничего без строжайшей, всесторонней проверки и не выводит из принятого никаких заключений, кроме тех, которые сами собою неотразимо следуют из фактов и законов, отвергать которых нет никакой логической возможности. При таком характере новых идей человеку, раз принявшему их, не остается уже никакой дороги к отступлению назад или к каким-нибудь сделкам с фантастическими заблуждениями.

Таким образом существенный характер нынешних философских воззрений состоит в непоколебимой достоверности, исключаяющей всякую шаткость убеждений. Из этого легко заключить, какая судьба ждет человечество Западной Европы. Свойство каждого нового учения состоит в том, что нужно ему довольно много времени на распространение в массах, на то, чтобы стать господствующим убеждением. Новое и в идеях, как в жизни, распространяется довольно медленно; но зато и нет никакого сомнения в том, что оно распространяется, постепенно проникая все глубже и глубже в разные слои населения, начиная, конечно, с более развитых. Нет никакого сомнения, что и простолюдины Западной Европы ознакомятся с философскими воззрениями, соответствующими их потребностям [и, по нашему мнению, соответствующими истине]. Тогда найдутся у них представители не совсем такие, как Прудон: найдутся писатели, мысль которых не будет, как мысль Прудона, сплываться преданиями или задерживаться устарелыми формами науки в анализе общественного положения и полезных для общества реформ. Когда придет такая пора; когда представители элементов, стремящихся теперь к пересозданию западноевропейской жизни, будут являться уже непоколебимыми в своих философских воззрениях, это будет признаком скорого торжества новых начал и в общественной жизни Западной Европы.

[Очень может быть, что мы ошибаемся, находя, что такая пора уже началась в годы, следовавшие за первым онемением мысли от реакции после событий 1848 года; очень может быть, что мы ошибаемся, думая, что поколение, воспитанное событиями последних двенадцати лет в Западной Европе, уже приобретает ясность и твердость мысли, нужную для преобразования западноевропейской жизни. Но если мы и ошибаемся, то разве во времени: не в наше, так в следующее поколение придет результат, лежащий в натуре вещей, стало быть неизбежный; и если нашему поколению еще не удастся совершить его, то во всяком случае оно много делает для облегчения полезного дела своим детям.]

Теперь мы замечаем, – жаль, что заметили слишком поздно, – что эта статья, при всей своей бессвязности, может служить предисловием к изложению понятий нынешней науки о человеке, как отдельной личности. Если б это замечено было нами раньше, мы постарались бы сократить окольные наши отступления из философии в естественные науки; тогда предисловие не имело бы такой излишней длинноты и осталось бы нам довольно страниц для очерка теории личности, как понимает ее нынешняя наука. Но теперь уже поздно поправлять дело, и нам остается только надежда, что нынешняя статья, могущая, как мы видим, служить предисловием к очерку философских понятий о человеке, в самом деле послужит предисловием к нему.

II

Словом «наука» (science) у англичан называются далеко не все те отрасли знания, которые у нас и у других континентальных народов обнимаются этим выражением. Англичане называют науками математику, астрономию, физику, химию, ботанику, зоологию, географию, – те отрасли знаний, которые называются у нас «точными» науками, и те, которые очень близко подходят к ним по своему характеру; но они не разумеют под выражением «наука» ни истории, ни психологии, ни нравственной философии, ни метафизики. Надобно сказать, что действительно существует громадная разница между этими двумя половинами знаний по качеству понятий, господствующих в той или другой. Из одной половины каждый сколько-нибудь

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
просвещенный человек уже удалил всякие неосновательные предубеждения, и все
рассудительные люди уже держатся в этих предметах одинаковых коренных понятий.
Знания наши и по этим отраслям бытия очень неполны; но, по крайней мере, каждый
тут знает, что нам известно основательным образом, что еще неизвестно и что,
наконец, несомненным образом опровергнуто точными исследованиями. Попробуйте,
например, сказать, что человеческому организму нужна пища или нужен воздух, – с
вами никто не будет спорить; попробуйте сказать, что еще неизвестно, те ли одни
вещества могут служить пищею человеку, какими теперь он питается, и что, может
быть, найдутся новые вещества, пригодные для этой цели, – с вами также никто из
просвещенных людей не станет спорить и каждый прибавит только, что если новые
вещества для пищи и будут найдены, если и очень вероятно, что они будут найдены,
то до сих пор они еще не найдены, и человек пока может питаться только
известными веществами, вроде хлебных растений, мяса, молока или рыбы; вы, в свою
очередь, совершенно согласитесь с этим замечанием, и спора тут у вас быть не
может. Спорить вы можете только о том, как велика или мала вероятность скорого
открытия новых питательных веществ и к какому роду вещей скорее всего могут
принадлежать эти новые, еще не открытые вещества; но в этом споре вы и ваш
противник одинаково будут знать и признаваться, что выражаете только догадки, не
имеющие полной достоверности, могущие оказаться более или менее полезными для
науки впадствии времени (потому что догадки, гипотезы дают направление ученым
исследованиям и ведут к открытию истины, подтверждающей или опровергающей их),
но еще вовсе не входящие в число научных истин. Попробуйте сказать, наконец, что
без пищи человек существовать не может, – и тут каждый с вами согласится, и
каждый понимает, что это отрицательное суждение находится в неразрывной
логической связи с положительным суждением: «человеческому организму нужна
пища»; каждый понимает, что если принять одно из этих двух суждений, то
неприменно надобно принять и другое. Совсем не то, например, в нравственной
философии. Попробуйте сказать, что хотите – всегда найдутся люди умные и
образованные, которые станут говорить противное. Скажите, например, что бедность
вредно действует на ум и сердце человека, – множество умных людей возразят вам:
«нет, бедность изощряет ум, принуждая его приискивать средства к ее отращению;
она облагораживает сердце, направляя наши мысли от суетных наслаждений к
доблестям терпения, самоотвержения, сочувствия чужим нуждам и бедам». Хорошо;
попробуйте сказать наоборот, что бедность выгодно действует на человека, – опять
такое же множество или еще большее множество умных людей возразят: «нет,
бедность лишает средств к умственному развитию, мешает развитию самостоятельного
характера, влечет к неразборчивости в употреблении средств для ее отращения или
для простого поддержания жизни; она главный источник невежества, пороков и
преступлений». Словом сказать, какой бы вывод ни вздумали вы сделать в
нравственных науках, вы всегда найдете, что и он, и другой, противоположный ему,
вывод и, кроме того, множество других выводов, не клеящихся ни с вашим, ни с
противоположным ему выводом, ни друг с другом, имеют искренних защитников между
умными и просвещенными людьми. То же самое в метафизике, то же самое в истории,
без которой ни нравственные науки, ни метафизика не могут обойтись.

Такое положение дел в истории, нравственных науках и метафизике заставляет
многих думать, что эти отрасли знания не дают или даже и вовсе не могут никогда
дать нам ничего столь достоверного, как математика, астрономия и химия. Хорошо,
что нам случилось употребить слово «бедность»: оно наводит нас на память о
житейском факте, совершающемся ежедневно. Как только какой-нибудь господин или
какая-нибудь госпожа из многочисленного семейства достигнет хорошего положения в
обществе, он или она тотчас же начинает вытягивать из бедности, из ничтожества
своих родственников и родственниц: около важного или богатого лица появляются
братья и сестры, племянники и племянницы, все примыкают к нему и, держась за
него, вылезают в люди. Припоминают родство свое с важным или богатым лицом даже
такие господа и госпожи, которые не хотели и знаться с ним, пока оно было не
важно и не богато. Иных оно в глубине души и недолюбливает, а все-таки помогает
им, – нельзя, ведь все же родственники и родственницы, – и с любовью к родным
или с досадой на них, оно все-таки изменяет их положение к лучшему. Точно такое
же дело происходит в области знаний теперь, когда некоторые науки успели из
жалкого положения выбиться до великого совершенства, до ученого богатства, до
умственной знатности. Эти богачки, помогающие своим жалким родственницам, –
математика и естественные науки. Математика была в хорошем положении давно, но
чрезвычайно много времени было у нее занято заботою об одной ближайшей ее
родственнице – астрономии. Тысячи четыре лет, если не больше, прошло в этой
возне. Наконец во время Коперника астрономия была поставлена на ноги
математикой, а с Ньютона она получила блистательное положение в умственном мире.
Едва перестав сокрушаться день и ночь о бедственном состоянии своей сестры –

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe астрономии, едва получив по некотором устройстве ее судьбы несколько свободы подумать о других родственниках, математика принялась помогать разным членам семейства, до сих пор остающегося в нераздельном владении родовым имуществом под именем физика: акустика, оптика и некоторые другие из сестер, носящих родовое имя физики, особенно воспользовались милостями математики; очень недурно стало положение и многих других членов той же многолюдной семьи. Дело тут шло уже гораздо быстрее, чем с выведением астрономии из жалкого положения: помогать другим математика уже выучилась, возившись с своею ближайшею родственницею, и, кроме того, хлопотала теперь уже не одна, а имела в ней хорошую адъютантку. Когда они вдвоем придали человеческий вид многочисленным особам семейства физики, пресмыкавшимся прежде в жалчайшей нищете и погрязавшим в гнуснейших научных пороках, математика уже имела в своем распоряжении целое племя, стала президентшею довольно большого и благоденствующего государства. В конце прошлого века это умственное государство было в таком же состоянии, как Соединенные Штаты в политическом мире около того же времени. Оба общества растут с той поры одинаково быстро. Чуть не каждый год прибавляется какая-нибудь новая область к молодому Северо-Американскому государству, становится из дикой пустыни цветущим штатом, и все дальше и дальше оттесняются просвещенным и деятельным народом жалкие племена, не хотящие принимать цивилизации, и все больше и больше захватывает он в свой союз другие племена, ищущие цивилизации, но не умевшие найти ее без его помощи: луизианские французы и испанцы Северной Мексики уже присоединились и в немногие годы уже прониклись духом нового общества, так что не отличить их от потомков Вашингтона и Джефферсона. Миллионы пьяных ирландцев и не менее жалких немцев стали в Союзе людьми порядочными и зажиточными. Так и союз точных наук под управлением математики, то есть счета, меры и веса, с каждым годом расширяется на новые области знания, увеличивается новыми пришельцами. После химии к нему постепенно присоединились все науки о растительных и животных организмах: физиология, сравнительная анатомия, разные отрасли ботаники и зоологии; теперь входят в него нравственные науки. С ними делается ныне то самое, что мы видим над людьми тщеславными, но погрязавшими в нищете и невежестве, когда какой-нибудь дальний родственник, не гордящийся, как они, высоким происхождением и неслыханными добродетелями, а просто человек простой и честный, приобретает богатство; кичливые гидальго долго усиливаются смотреть на него свысока, но бедность заставляет их пользоваться его подачками; долго они живут этой милостыней, считая низким для себя обратиться при его помощи к честному труду, которым он вышел в люди; но с улучшением их пищи и одежды пробуждаются в них мало-помалу рассудительные мысли, слабеет прежнее пустое хвастовство, они понемногу становятся людьми порядочными, понимают, наконец, что стыд не в труде, а в хвастовстве, и напоследок принимают нравы, которыми вышел в люди их родственник; тогда, опираясь на его помощь, они быстро приобретают хорошее положение и начинают пользоваться уважением рассудительных людей не за фантастические достоинства, которыми прежде хвастались, не имея их, а за свои новые действительные качества, полезные для общества, – за свою трудовую деятельность.

Еще не так далеко от нас время, когда нравственные науки в самом деле не могли иметь содержания, которым бы оправдывался титул науки, им принадлежавший, и англичане были тогда совершенно правы, отняв у них это имя, которого они не были достойны. Теперь положение дел значительно изменилось. Естественные науки уже развились настолько, что дают много материалов для точного решения нравственных вопросов. Из мыслителей, занимающихся нравственными науками, все передовые люди стали разрабатывать их при помощи точных приемов, подобных тем, по каким разрабатываются естественные науки. Когда мы говорили о противоречиях между разными людьми по каждому нравственному вопросу, мы говорили только о давнишних, наиболее распространенных, но уже оказывающихся отсталыми, понятиях и способах исследования, а не о том характере, какой получают нравственные науки у передовых мыслителей; о прежнем, рутинном характере этих знаний, а не о нынешнем их виде. По нынешнему своему виду нравственные науки различаются от так называемых естественных, собственно, только тем, что начали разрабатываться истинно научным образом позже их, и потому разработаны еще не в таком совершенстве, как они. Тут разница лишь в степени: химия моложе астрономии и не достигла еще такого совершенства; физиология еще моложе химии и еще дальше от совершенства; психология, как точная наука, еще моложе физиологии и разработана еще меньше. Но различаясь между собою по количеству приобретенных точных знаний, химия и астрономия не различаются ни по достоверности того, что узнали, ни по способу, которым идут к точному знанию своих предметов: факты и законы, открываемые химиею, так же достоверны, как факты и законы, открываемые астрономиею. То же надобно сказать о результатах нынешних точных исследований в

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshevskiy нравственных науках. Очерки предметов, даваемые астрономией, физиологиею и психологиею, – это все равно, что карты Англии, Европейской России и Азиатской России. Англия вся снята превосходными тригонометрическими измерениями; в Европейской России тригонометрия покрыла свою сеть еще только половину пространства, другая половина снята способами, не столь совершенными; в Азиатской России остаются пространства, в которых только мимоездом определено положение нескольких главных пунктов, а все лежащее между ними наносится на карту по глазомеру, способу очень неудовлетворительному. Но тригонометрическая сеть с каждым годом растягивается все дальше и дальше, уже не очень далеко время, когда она охватит и Азиатскую Россию. А до той поры мы все-таки уже знаем об этой стране многое довольно хорошо, некоторые пункты даже очень хорошо, и всю ее уже знаем настолько, что легко открыть слишком грубые промахи в старинных картах ее; а если бы кто-нибудь вздумал нас уверять, что Иртыш течет к югу, а не к северу, или что Иркутск лежит под тропиками, мы только пожалы бы плечами. Кому угодно, тот может и до сих пор повторять рассказы наших старинных космографии о народах предела Симона и о «немых языках», живущих за Печёрою, заклепанных в горах Александром Македонским и запертых синклитовыми воротами, не поддающимися ни огню, ни железу; но мы уже знаем, что надобно думать об этих рассказах, основанных только на фантазии.

Первым следствием вступления нравственных знаний в область точных наук было строгое различие того, что мы знаем, от того, чего не знаем. Астроном знает, что ему известна величина планеты Марса, и столь же положительно знает, что ему неизвестен геологический состав этой планеты, характер растительной или животной жизни на ней и самое то, существует ли на ней растительная или животная жизнь. Если бы кто-нибудь вздумал утверждать, что на Марсе находится глина или гранит, существуют птицы или моллюски, астроном сказал бы ему: вы утверждаете то, чего не знаете. Если бы фантазер зашел в своих предположениях дальше и сказал бы, например, что живущие на Марсе птицы не подвержены болезням, а моллюски не нуждаются в пище, астроном при помощи химика и физиолога доказал бы ему, что этого даже и быть не может. Точно так же и в нравственных науках теперь строго разграничено известное от неизвестного, и на основании известного доказана несостоятельность некоторых прежних предположений о том, что еще остается неизвестным. Положительно известно, например, что все явления нравственного мира происходят одно из другого и из внешних обстоятельств по закону причинности, и на этом основании признано фальшивым всякое предположение о возникновении какого-нибудь явления, не произведенного предыдущими явлениями и внешними обстоятельствами. Поэтому нынешняя психология не допускает, например, таких предположений: «человек поступил в данном случае дурно, потому что захотел поступить дурно, а в другом случае хорошо, потому что захотел поступить хорошо». Она говорит, что дурной поступок или хороший поступок был произведен непременно каким-нибудь нравственным или материальным фактом или сочетанием фактов, а «хотение» было тут только субъективным впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании возникновение мысли или поступков из предшествующих мыслей, поступков или внешних фактов. Самым обыкновенным примером действий, ни на чем не основанных, кроме нашей воли, представляется такой факт: я встаю с постели; на какую ногу я встану? захочу – на левую, захочу – на правую. Но это только так представляется поверхностному взгляду. На самом деле факты и впечатления производят то, на какую ногу встанет человек. Если нет никаких особых обстоятельств и мыслей, он встает на ту ногу, на которую удобнее ему встать по анатомическому положению его тела на постели. Если явятся особенные побуждения, превосходящие свою силу это физиологическое удобство, результат изменится сообразно перемене обстоятельств. Если, например, в человеке явится мысль: «стану не на правую ногу, а на левую», он сделает это; но тут произошла только простая замена одной причины (физиологического удобства) другою причиною (мысль доказать свою независимость) или, лучше сказать, победа второй причины, более сильной, над первою. Но откуда явилась эта вторая причина, откуда явилась мысль показать свою независимость от внешних условий? Она не могла явиться без причины, она произведена или словами собеседника, или воспоминанием о прежнем споре, или чем-нибудь подобным. Таким образом тот факт, что человек, когда захочет, может ступить с постели не на ту ногу, на которую удобно ему ступить по анатомическому положению тела на постели, а на другую ногу, – этот факт свидетельствует вовсе не то, чтобы человек без всякой причины мог ступить на ту или другую ногу, а только то, что вставание с постели может совершаться под влиянием причин более сильных, чем влияние анатомического положения его тела перед актом вставания. То явление, которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинною связью. Очень часто ближайшею причиною появления в нас воли на известный поступок бывает мысль. Но

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
определенное расположение воли производится также только определенной мыслью: какова мысль, такова и воля; будь мысль не такова, была бы не такова и воля. Но почему же явилась именно такая, а не другая мысль? Опять от какой-нибудь мысли, от какого-нибудь факта, словом сказать, от какой-нибудь причины. Психология говорит в этом случае то же самое, что говорит в подобных случаях физика или химия: если произошло известное явление, то надобно искать ему причины, а не удовлетворяться пустым ответом: оно произошло само собою, без всякой особенной причины – «я так сделал, потому что так захотел». Прекрасно, но почему же вы так захотели? Если вы отвечаете: «просто, потому что захотел», это значит то же, что говорить: «тарелка разбилась, потому что разбилась; дом сгорел, потому что сгорел». Такие ответы – вовсе не ответы: ими только прикрывается лень доискиваться подлинной причины, недостаток желания знать истину.

Если при нынешнем состоянии химии кто-нибудь спросит, почему золото имеет желтый цвет, а серебро – белый, химики прямо отвечают, что до сих пор еще не знают этой причины, то есть еще не знают, в какой связи находится желтизна золота или белизна серебра с другими качествами этих металлов, по какому закону, от каких обстоятельств произошло, что вещество, принявшее форму золота или серебра, приобрело в этой форме качество производить на наш глаз впечатление желтизны или белизны. Это – прямой, честный ответ; но он, как видим, состоит просто в признании своего незнания. Богатому человеку легко сознаваться, что у него в данном случае не нашлось денег, но легко в этом сознаваться только тогда, когда все уверены, что он действительно богат; напротив, человеку, который хочет прослыть за богача, будучи в сущности беден, или человеку, кредит которого поколебался, не легко сказать, что у него в нынешнее время не случилось денег: он всяческими хитростями будет скрывать истину. Таково было до недавнего времени состояние нравственных наук: они стыдились говорить: у нас нет об этом достаточных знаний. Теперь, к счастью, не то: психология и нравственная философия выходят из прежней своей научной нищеты, у них уже больше запас богатства, и они прямо могут говорить: «мы еще не знаем этого», если действительно не знают.

Но если нравственные науки на очень многие вопросы должны еще отвечать теперь: «мы этого не знаем», то ошибемся мы, предположив, что к числу вопросов, остающихся для них неразрешенными ныне, принадлежат те вопросы, которые по одному из господствующих мнений признаются неразрешимыми. Нет, незнание этих наук совершенно не таково. Чего не знает, например, химия? Она не знает теперь, чем будет водород, перешедший из газообразного состояния в твердое, – металлом или неметаллом; есть сильная вероятность предполагать, что он будет металлом, но справедлива ли такая догадка, это еще неизвестно. Химия не знает также, действительно ли простое тело фосфор или сера, или они будут со временем разложены на простейшие элементы. Это – случаи теоретического незнания. Другой род вопросов, не разрешимых для нее теперь, представляют многочисленные случаи неумения исполнить практические требования. Химия умеет изготавлять синильную кислоту, уксусную кислоту, но изготавить фибрин она еще не умеет. Те и другие неразрешимые для нее ныне вопросы имеют, как видим, характер совершенно специальный, характер такой специальный, что и в голову они приходят только людям, уже порядочно знакомым с химией. Точно таковы же вопросы, остающиеся ныне еще не разрешенными для нравственных наук. Психология, например, открывает следующий факт: при слабом умственном развитии человек не в состоянии понимать жизни, различной от его собственной жизни; чем сильнее развивается его ум, тем легче ему бывает представлять себе жизнь, не похожую на его жизнь. Как объяснить этот факт? При нынешнем состоянии науки строго научного ответа еще не найдено, а существуют только разные догадки. Скажите теперь, кому из людей, не знакомых с нынешним состоянием психологии, приходил в голову такой вопрос? Почти никто, кроме ученых, даже не замечал и факта, к которому относится этот вопрос: это все равно, что вопрос о металличности или неметалличности водорода: люди, незнакомые с химией, не знают не только этого вопроса о водороде, но не знают и самого водорода. А для химии чрезвычайно важен этот водород, существование которого было бы незаметно без нее. Точно так для психологии чрезвычайно важен факт неспособности неразвитого человека и способности развитого понимать жизнь, различную от его жизни. Как открытие водорода повело к усовершенствованию химической теории, так и открытие этого психологического факта имело своим последствием построение теории антропоморфизма, без которой ни шагу теперь нельзя ступить в метафизике. Вот другой психологический вопрос, также не разрешимый точным образом при нынешнем состоянии науки: дети имеют наклонность ломать свои игрушки; отчего это происходит? Надобно ли считать эту ломку только неловкою формою желания пересоздавать вещи по своим надобностям, неловкою формою

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe так называемой творческой деятельности человека, или тут есть след чистой склонности к разрушению, приписываемой человеку некоторыми писателями? Таковы почти все теоретические вопросы, точного решения которых еще не дает наука. Читатель видит, что они принадлежат к разряду вопросов, надобность и важность которых открывается только наукою, понятна только для ученых, к разряду так называемых технических или специальных вопросов, которые вовсе не интересны для простых людей, часто кажутся им даже ничтожными. Это все вопросы вроде тех, из какого старославянского звука произошло у в слове «рука»: из простого у или из юса, и по какому закону образуется существительное «воз» из глагола «везу»: зачем тут буква е заменилась буквою о? Для филолога эти вопросы очень важны, а для нас, нефилологов, они, можно сказать, не существуют. Но не будем опрометчиво смеяться над учеными, которые заняты исследованием таких мелочных, по-видимому, вещей: от открытия истины в подобных, по-видимому, неважных фактах возникали результаты важные и для нас, простых людей: разъяснялись понятия о целом ряде важных фактов, изменялись важные житейские отношения. Из того, что некоторые люди разъяснили нашу фонетику открытием значения юсов, явилось более разумное обучение грамматике, и наших детей будут меньше мучить за нею, чем мучили нас, и будут лучше выучивать ей, чем выучивали нас.

Итак, теоретические вопросы, остающиеся неразрешенными при нынешнем состоянии нравственных наук, вообще таковы, что даже не приходят в голову почти никому, кроме специалистов; неспециалисте трудом понимает даже, как могут ученые люди заниматься исследованием таких мелочей. Напротив, те теоретические вопросы, которые обыкновенно представляются важными и трудными для неспециалистов, вообще перестали быть вопросами для нынешних мыслителей, потому что чрезвычайно легко разрешаются несомненным образом при первом прикосновении к ним могущественных средств научного анализа. Половина таких вопросов оказывается происходящими просто от непривычки к мышлению, другая половина находит себе ответ в явлениях, знакомых каждому. Куда девается пламя, носящееся над светильнею горящей свечи, когда мы гасим свечу? Неужели химик согласится назвать эти слова вопросом? Он просто называет их бессмысленным набором слов, возникающим из незнакомства с самыми коренными, самыми простыми фактами науки. Он говорит: горение свечи есть химический процесс; пламя есть одно из явлений этого процесса, одна из сторон его, одно из качеств его, выражаясь простым языком; когда мы гасим свечу, мы прекращаем химический процесс; само собою разумеется, что с его прекращением исчезают и его качества; спрашивать, что делается с пламенем свечи, когда гаснет свеча, значит то же самое, что спрашивать о том, что осталось от цифры 2 в числе 25, когда мы зачеркнем все число, – ровно ничего не осталось ни от цифры 2, ни от цифры 5: ведь они обе зачеркнуты; спрашивать это может только тот, кто сам не понимает, что значит написать цифру и что значит зачеркнуть ее; на все вопросы таких людей существует один ответ: друг мой! вы не имеете понятия об арифметике и сделаете хорошо, если станете учиться ей. Предлагается, например, очень головоломный вопрос: доброе или злое существо человек? Множество людей потеют над разрешением этого вопроса, почти половина потеющих решает: человек по натуре добр; другие, составляющие также почти целую половину потеющих, решают иначе: человек по натуре зол. За исключением этих двух противоположных догматических партий, остаются несколько человек скептиков, которые смеются над теми и другими и решают: вопрос этот неразрешим. Но при первом приложении научного анализа вся штука оказывается простою до крайности. Человек любит приятное и не любит неприятного – это, кажется, не подлежит сомнению, потому что в сказуемом тут просто повторяется подлежащее. А есть А, приятное для человека есть приятное для человека, неприятное для человека есть неприятное для человека. Добр тот, кто делает хорошее для других, зол – кто делает дурное для других, – кажется, это также просто и ясно. Соединим теперь эти простые истины и в выводе получим: добрым человек бывает тогда, когда для получения приятного себе он должен делать приятное другим; злым бывает он тогда, когда принужден извлекать приятность себе из нанесения неприятности другим. Человеческой природы нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое; все зависит от обстоятельств, отношений [учреждений]. Если известные отношения имеют характер постоянства, в человеке, сформировавшемся под ними, оказывается сформировавшемуся привычка ксообразному с ними способу действий. Потому можно находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще, как прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще понятия о привычке тесать доски, уметь ковать и т. д. Иван – плотник, но нельзя сказать, что такое человек вообще: плотник или не плотник; Петр умеет ковать железо, но нельзя сказать о человеке вообще, кузнец он или не кузнец. Тот факт, что Иван стал плотником, а Петр – кузнецом, показывает только, что при известных обстоятельствах, бывших в жизни Ивана, человек становится плотником; а при

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
известных обстоятельствах, бывших в жизни Петра, становится кузнецом. Точно так
при известных обстоятельствах человек становится добр, при других – зол.

Таким образом, с теоретической стороны вопрос о добрых и злых качествах человеческой природы разрешается столь легко, что даже и не может быть назван вопросом: он сам в себе уже заключает полный ответ. Но другое дело, если вы возьмете практическую сторону дела, если, например, вам кажется, что для самого человека и для всех окружающих его людей гораздо лучше ему быть добрым, чем злым, и если вы захотели бы позаботиться, чтобы каждый стал добр: с этой стороны дело представляет очень большие трудности; но они, как заметит читатель, относятся уже не к науке, а только к практическому исполнению средств, указываемых наукой. Психология и нравственная философия находятся тут опять точно в таком же положении, как естественные науки. Климат в северной Сибири слишком холоден; если бы мы спросили, каким способом можно сделать его теплее, естественные науки не затруднятся ответом на это: Сибирь закрыта горами от теплой южной атмосферы и открыта своим склоном к северу холодной северной атмосфере: если бы горы шли по северной границе ее, а на южной не было гор, страна эта была бы гораздо теплее. Но у нас еще недостает средств исполнить на практике это теоретическое решение вопроса. Точно так же и у нравственных наук готов теоретический ответ почти на все вопросы, важные для жизни, но во многих случаях у людей недостает еще средств для практического исполнения того, что указывает теория. Впрочем, нравственные науки имеют в этом случае преимущество над естественными. В естественных науках все средства принадлежат области так называемой внешней природы; в нравственных науках только одна половина средств принадлежит этому разряду, а другая половина средств заключается в самом человеке; стало быть, половина дела зависит только от того, чтобы человек с достаточной силой почувствовал надобность в известном улучшении: это чувство уже дает ему очень значительную часть условий, нужных для улучшения. Но мы видели, что одних этих условий, зависящих от состояния впечатлений самого человека, еще недостаточно: нужны также материальные средства. Относительно этой половины условий, относительно материальных средств практические вопросы нравственных наук находятся в положении еще гораздо выгоднейшем, нежели относительно условий, лежащих в самом человеке. Прежде, при неразвитости естественных наук, могли встречаться во внешней природе непреодолимые затруднения к исполнению нравственных потребностей человека. Теперь не то: естественные науки уже предлагают ему столь сильные средства располагать внешнею природою, что затруднений в этом отношении не представляется. Возвратимся для примера к практическому вопросу о том, каким бы способом люди могли стать добрыми, так чтобы недобрые люди стали на свете чрезвычайной редкостью и чтобы злые качества потеряли всякую заметную важность в жизни по чрезвычайной малочисленности случаев, в которых обнаруживались бы людьми. Психология говорит; что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, то есть вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишиться их чего-нибудь, чтобы не остаться самому без вещи, для него нужной. Например, в случае неурожая, когда пищи недостаточно для всех, число преступлений и всяких дурных поступков чрезмерно возрастает: люди обижают и обманывают друг друга из-за куска хлеба. Психология прибавляет также, что человеческие потребности разделяются на чрезвычайно различные степени по своей силе; самая настоятельнейшая потребность каждого человеческого организма состоит в том, чтобы дышать; но предмет, нужный для ее удовлетворения, находится человеком почти во всех положениях в достаточном изобилии, потому из потребности воздуха почти никогда не возникает дурных поступков. Но если встретится исключительное положение, когда этого предмета оказывается мало для всех, то возникают также ссоры и обиды; например, если много людей будет заперто в душном помещении с одним окном, то почти всегда возникают ссоры и драки, могут даже совершаться убийства из-за приобретения места у этого окна. После потребности дышать (продолжает психология) самая настоятельная потребность человека – есть и пить. В предметах для порядочного удовлетворения этой потребности очень часто, очень у многих людей встречается недостаток, и он служит источником самого большого числа всех дурных поступков, почти всех положений и учреждений, бывающих постоянными причинами дурных поступков. Если бы устранить одну эту причину зла, быстро исчезло бы из человеческого общества, по крайней мере, девять десятых всего дурного: число преступлений уменьшилось бы в десять раз, грубые нравы и понятия в течение одного поколения заменились бы человеческими, отнялась бы и опора у стеснительных учреждений, основанных на грубости нравов и невежестве, и скоро уничтожилось бы почти всякое стеснение» Прежде исполнить такое указание теории было, как нас уверяют, невозможно по несовершенству технических искусств; не

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
знаем, справедливо ли говорят это о старине, но бесспорно то, что при нынешнем
состоянии механики и химии, при средствах, даваемых этими науками сельскому
хозяйству, земля могла бы производить в каждой стране умеренного пояса
несравненно больше пищи, чем сколько нужно для изобильного продовольствия числа
жителей, в десять и двадцать раз большего, чем нынешнее население этой
страны[8]. Таким образом, со стороны внешней природы уже не представляется
никакого препятствия к снабжению всего населения каждой цивилизованной страны
изобильною пищею; задача остается только в том, чтобы люди сознали возможность и
надобность энергически устремиться к этой цели. В риторическом слоге можно
говорить, будто они на самом деле заботятся об этом как следует; но точный и
холодный анализ науки показывает пустоту пышных фраз, часто слышимых нами об
этом предмете. В действительности еще ни одно человеческое общество не приняло в
сколько-нибудь обширном размере тех средств, какие указываются для придав ния
успешности сельскому хозяйству естественными науками и наукою о народном
благосостоянии. Отчего это происходит, почему в человеческих обществах
господствует беззаботность об исполнении научных указаний для удовлетворения
такой настоятельной потребности, как потребность пищи, почему это так, какими
обстоятельствами и отношениями производится и поддерживается дурное хозяйство,
как надобно изменить обстоятельства и отношения для замены дурного хозяйства
хорошим, – это опять новые вопросы, теоретическое решение которых очень легко; и
опять практическое осуществление научных решений обуславливается тем, чтобы
человек проникся известными впечатлениями. Мы, впрочем, не станем здесь излагать
ни теоретического решения, ни практических затруднений по этим вопросам; это
завело бы нас слишком далеко, а нам кажется, что уже довольно и предыдущих
замечаний для разъяснения того, в каком положении находятся теперь нравственные
науки. Мы хотели сказать, что разработка нравственных знаний точным, научным
образом только еще начинается; что поэтому еще не найдено точного теоретического
решения очень многих чрезвычайно важных нравственных вопросов; но что эти
вопросы, теоретическое решение которых еще не найдено, имеют характер чисто
технический, так что интересны только для специалистов, и что, наоборот, те
психологические и нравственные вопросы, которые представляются очень интересными
и кажутся чрезвычайно трудными для неспециалистов, уже с точностью разрешены и
притом разрешены чрезвычайно легко и просто, самыми первыми приложениями точного
научного анализа, так что теоретический ответ на них уже найден; мы прибавляли,
что из этих несомненных теоретических решений возникают очень важные и полезные
научные указания о том, какие средства надобно употребить для улучшения
человеческого быта; что из этих средств некоторые должны быть взяты во внешней
природе, и при нынешнем развитии естественных знаний внешняя природа уже не
представляет этого препятствия, а другие должны быть доставлены рассудительною
энергиею самого человека, и ныне только в ее возбуждении могут встречаться
трудности по невежеству и апатии [одних] людей [по расчетливому сопротивлению
других] и вообще по власти предрассудков над огромным большинством людей в
каждом обществе.

Все эти рассуждения имели целью объяснить, каким образом нынешнее высокое
развитие естественных наук помогает возникновению точных наук по таким отраслям
бытия и по таким отделам теоретических вопросов, которые прежде были только
предметом догадок, иногда основательных, иногда неосновательных, но ни в каком
случае не дававших точного знания. Таковы нравственные и метафизические вопросы.
Ближайшим предметом наших статей служит теперь человек как отдельная личность, и
мы попробуем изложить, какие решения вопросов, относящихся к этому предмету,
найлены точною научною разработкою психологии и нравственной философии. Если
читатель помнит характер нашей первой статьи, он, конечно, будет ожидать, что
лишь только мы дали это обещание, как тотчас же изменим ему и владимся в длинное
отступление, вовсе не идущее к делу. Читатель не ошибется. Мы отлагаем на время
в сторону психологические и нравственно-философские вопросы о человеке, займемся
физиологическими, медицинскими, какими вам угодно другими, и вовсе не будем
касаться человека как существа нравственного, а попробуем прежде сказать, что мы
знаем о нем как о существе, имеющем желудок и голову, кости, жилы, мускулы и
нервы. Мы будем смотреть на него пока только с той стороны, какую находят в нем
естественные науки; другими сторонами его жизни мы займемся после, если позволит
нам время.

Физиология и медицина находят, что человеческий организм есть очень многосложная
химическая комбинация, находящаяся в очень многосложном химическом процессе,
называемом жизнью. Процесс этот так многосложен, а предмет его так важен для
нас, что отрасль химии, занимающаяся его исследованием, удостоена за свою
важность титула особенной науки и названа физиологиею. Отношение физиологии к

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
химии можно сравнить с отношением отечественной истории к всеобщей истории. Разумеется, русская история составляет только часть всеобщей; но предмет этой части особенно близок нам, потому она сделана как будто особенною наукою: курс русской истории в учебных заведениях читается отдельно от курса всеобщей, воспитанники получают на экзаменах особенный балл из русской истории; но не следует забывать, что эта внешняя раздельность служит только для практического удобства, а не основана на теоретическом различии характера этой отрасли знания от других частей того же самого знания. Русская история понятна только в связи с всеобщей, объясняется ею и представляет только видоизменения тех же самых сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории. Так и физиология – только видоизменение химии, а предмет ее – только видоизменение предметов, рассматриваемых в химии. Сама физиология не удержала всех своих отделов в полном единстве под одним именем: некоторые стороны исследуемого ею предмета, то есть химического процесса, происходящего в человеческом организме, имеют такую особенную интересность для человека, что исследования о них, составляющие часть физиологии, сами удостоились имени особенных наук. Из этих сторон мы назовем одну: исследование явлений, производящих и сопровождающих разные отклонения этого химического процесса от нормального его вида; эта часть физиологии названа особенным именем – медицина; медицина в свою очередь разветвляется на множество наук с особенными именами. Таким образом часть, выделившаяся из химии, выделила из себя новые части, которые опять разделяются на новые части. Но это – явление точно того же порядка, как разделение одного города на кварталы, кварталов на улицы: это делается только для практического удобства, и не должно забывать, что все улицы и кварталы города составляют одно целое. Когда мы говорим: «Васильевский Остров» или «Невский проспект», мы вовсе не говорим, чтобы дома Васильевского Острова и Невского проспекта не входили в состав Петербурга. Точно так медицинские явления входят в систему физиологических явлений, а вся система физиологических явлений входит в еще обширнейшую систему химических явлений.

Когда исследуемый предмет очень многосложен, то для удобства исследования полезно делить его на части; потому физиология разделяет многосложный процесс, происходящий в живом человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные: дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение; подобно всякому другому химическому процессу, вся эта система явлений имеет возникновение, возрастание, ослабление и конец. Поэтому физиология рассматривает, будто бы особые предметы, процессы дыхания, питания, кровообращения, движения, ощущения и т. д., зачатия, или оплодотворения, роста, дряхления и смерти. Но тут опять надобно помнить, что эти разные периоды процесса и разные стороны его разделяются только теориею, чтобы облегчить теоретический анализ, а в действительности составляют одно неразрывное целое. Так геометрия разлагает круг на окружность, радиусы и центр, но, в сущности, радиуса нет без центра и окружности, центра нет без радиуса и окружности, да и окружности нет без радиуса и центра, – эти три понятия, эти три части геометрического исследования о круге составляют все вместе одно целое. Некоторые, из частей физиологии разработаны уже очень хорошо; таковы, например, исследования процессов дыхания, питания, кровообращения, зачатия, роста и одряхления; процесс движения разъяснен еще не так подробно, а процесс ощущения – еще меньше; довольно странно может показаться, что так же мало исследован процесс нормальной смерти, происходящей не от каких-нибудь чрезвычайных случаев или специальных расстройств (болезни), а просто от истощения организма самым течением жизни. Но это потому, во-первых, что наблюдениям медиков и физиологов представляется не очень много случаев такой смерти: из тысячи человек разве один умирает ею, организм остальных преждевременно разрушается болезнями и губительными внешними случаями; во-вторых, и на эти немногие случаи нормальной смерти ученые до сих пор не имели досуга обратить такое внимание, какое привлекают болезни и случаи насильственной смерти: силы науки по вопросу о разрушении организма до сих пор поглощаются приисканием средств к устранению преждевременной смерти.

Мы сказали, что некоторые части процесса жизни еще не разъяснены так подробно, как другие; но из этого вовсе не следует, чтобы мы уже не знали положительным образом очень много и о тех частях его, исследование которых находится теперь даже в самом несовершенном виде. Во-первых, если даже предположить, что какая-нибудь сторона жизненного процесса в своей особенной специальности остается до сих пор и совершенно недоступною точному анализу в духе математики и естественных наук, то характер ее приблизительно был бы нам уже известен из характера других частей, которые уже довольно хорошо исследованы. Это был бы случай такого же рода, как определение вида головы млекопитающего по костям его ног: известно, что по одной какой-нибудь лопатке или ключице животного наука

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
довольно точно воссоздает всю его фигуру и в том числе голову, так что, когда находится потом полный скелет, он подтверждает верность научного вывода о целом по одной его части. Мы знаем, в чем состоит, например, питание; из этого мы уже знаем приблизительно, в чем состоит, например, ощущение: питание и ощущение так тесно связаны между собою, что характером одного определяется характер другого. В прошлой статье мы уже говорили, что такие заключения о неизвестных частях по известным частям имеют и особенную достоверность, и особенную важность в отрицательной форме: А тесно связано с X; А есть В; из этого следует, что X не может быть ни С, ни D, ни E. Например, найдена лопатка какого-то допотопного животного; к какому именно разряду млекопитающих оно принадлежало, этого, может быть, мы не сумеем определить безошибочно; быть может, ошибемся, если причислим его к породе кошек или лошадей; но уже по одной найденной нами лопатке мы безошибочно знаем, что оно не было ни птицею, ни рыбою, ни черепокожим. Мы сказали, что эти отрицательные выводы имеют большую важность во всех науках. Но в особенности они важны в нравственных науках и в метафизике, потому что уничтожаемые ими ошибки имели особенную практическую гибельность в этих науках. Если в старину, по плохому развитию естественных наук, ошибочно считали кита рыбой, а летучую мышь птицей, от этого, вероятно, не пострадал ни один человек; но от ошибок, имевших такой же источник, то есть происходивших от неумения подвергнуть предмет точному анализу, произошли в метафизике и в нравственных науках ошибочные мнения, наделавшие людям гораздо больше зла, чем холера, чума и все заразительные болезни. Сделаем, например, гипотезу, что праздность приятна, а труд неприятен; если эта гипотеза станет господствующим мнением, каждый человек будет пользоваться всеми случаями, чтобы обеспечить себе праздную жизнь, заставив других работать за себя; из этого произойдут все виды порабощения и грабежа, начиная от собственно так называемого рабства и от завоевательной войны до нынешних более тонких форм тех же явлений. Эта гипотеза действительно была сделана людьми, действительно стала господствующим мнением [и господствует до сих пор] и действительно произвела [столько] страданий, [что нет им ни числа, ни меры]. Теперь попробуем приложить к понятию приятности или удовольствия выводы из точного анализа жизненного процесса. Феномен приятности или удовольствия принадлежит той части жизненного процесса, которая называется ощущением. Предположим пока, что собственно об этой части жизненного процесса, как об отдельной части, еще нет у нас точных исследований. Посмотрим, нельзя ли чего-нибудь заключить о ней из тех точных сведений, какие приобрела наука о питании, дыхании, кровообращении. Мы видим, что каждое из этих явлений составляет деятельность некоторых частей нашего организма. Какие части действуют при феноменах дыхания, питания и кровообращения, это мы знаем; знаем и то, как они действуют; быть может, мы ошиблись бы, если бы стали из этих сведений делать выводы о том, какие именно части организма и каким именно образом действуют при феномене приятного ощущения; но мы уже прямо видели, что только деятельность какой-нибудь части организма дает возникновение тому, что называется явлениями человеческой жизни; мы видим, что когда есть Деятельность, то есть и феномен, а когда нет деятельности, то нет и феномена; из этого видим, что и для приятного ощущения непременно нужна какая-нибудь деятельность организма. Теперь анализируем понятие деятельности. Для деятельности необходимо существование двух предметов – действующего и подвергающегося действию, и деятельность состоит в том, что действующий предмет обращает свои силы на переработку предмета, подвергающегося действию. Например, грудь и легкие перемещают и разлагают воздух при феномене дыхания, желудок перерабатывает пищу при феномене питания. Итак, приятное ощущение также должно непременно состоять в том, что силою человеческого организма переделывается какой-нибудь внешний предмет; какой именно предмет и каким именно способом перерабатывается, этого мы еще не знаем, но мы уже видим, что источником удовольствия непременно должна быть какая-нибудь деятельность человеческого организма над внешними предметами. Попробуем теперь сделать отрицательный вывод из этого результата. Праздность есть отсутствие деятельности; очевидно, что она не может производить феноменов так называемого приятного ощущения. Теперь становится нам совершенно понятно, почему во всех цивилизованных странах зажиточные классы общества жалуются на постоянную скуку, на неприятность жизни. Эта жалоба совершенно справедлива. Богачу так же неприятно жить, как и бедняку, потому что по обычаю, внесенному в общество ошибочною гипотезою, с богатством соединена праздность, – то есть вещи, которые должны были бы служить источником удовольствия, лишены этою гипотезою возможности составлять удовольствие. Кто привык к отвлеченному мышлению, тот вперед уверен, что наблюдение над житейскими отношениями не будет противоречить результатам научного анализа. Но и люди, непривычные к мышлению, будут приведены к такому же заключению соображением смысла тех фактов, которые представляет так называемая светская жизнь: в ней нет нормальной деятельности, то есть такой

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
деятельности, в которой объективная сторона дела соответствовала бы субъективной его роли, нет деятельности, которая заслуживала бы имени серьезной деятельности; чтобы избежать субъективного расстройств в организме, избежать происходящих от неподвижности болезней, избежать тоски, светский человек принужден создавать себе взамен нормальной деятельности фиктивную: он лишен движения, имеющего объективную разумную цель, и потому «делает моцион», то есть убивает на пустое размахивание ногами столько же времени, сколько следовало употреблять на деловую ходьбу; он лишен физического труда и потому «занимается гимнастикой для гигиены», то есть машет руками и качается корпусом (за бильярдом, за токарным станком, если не в гимнастической зале) столько же времени, сколько следовало бы ему заниматься физической работой; он лишен дельных забот о себе и своих близких, потому занимается сплетнями и интригами, то есть хлопочет мысленно над вздором столько же, сколько следовало бы хлопотать о дельных вещах. Но все эти искусственные средства никак не могут доставить потребностям организма такого удовольствия, какое нужно для здоровья. Жизнь проходит у нынешнего богача так, как идет она у китайца, курящего опиум: протвоестественное раздражение сменяется летаргиею, напряженное пресыщение – пустою деятельностью, оставляя после себя все ту же пустую тоску, спасения от которой ищут в нем.

Мы видим, что если даже предположить совершенный недостаток точных исследований о какой-нибудь части жизненного процесса, как об отдельной специальной части, то нынешнее состояние точных знаний о других частях того же самого жизненного процесса уже дает нам приблизительное понятие об общем характере этой неизвестной части, дает нам прочную опору для важных положительных и для еще более важных отрицательных выводов о ней. Но, конечно, мы только для разъяснения дела, *argumenti causa*, предположили совершенное отсутствие точных исследований по некоторым частям жизненного процесса; на самом же деле нет ни одной части жизненного процесса, о которой наука не приобрела более или менее обширных и точных знаний, специально относящихся именно к этой части. Так, например, мы знаем, что ощущение принадлежит известным нервам, движение – другим. Результатами этих специальных изысканий подтверждаются выводы, получаемые из общих наблюдений над целым жизненным процессом и над частями его, более исследованными. До сих пор мы говорили о физиологии как о науке, занимающейся исследованием жизненного процесса в человеческом организме. Но читатель знает, что физиология человеческого организма составляет только часть физиологии или, точнее сказать, часть одного ее отдела – зоологической физиологии. Заметив это, мы поправим ошибку, сделанную на предыдущих страницах: напрасно мы говорили, что феномены дыхания, питания и других частей жизненного процесса в человеке составляют предмет физиологии: предмет ее составляют явления этого процесса во всех живых существах. Физиология человека существует только в том смысле, в каком существует география Англии, в смысле одной главы из состава целой книги, – главы, которая может сама разрастаться в целую книгу.

Когда мы поверхностным образом обзираем две страны, очень далекие по развитию одна от другой, страну дикарей и страну высокоцивилизованного народа, нам кажется, будто бы в одной из них нет даже и следа тех явлений, какие поражают нас своим колоссальным размером в другой. В Англии мы видим Лондон и Манчестер, доки, наполненные пароходами, и железные дороги, а у каких-нибудь якутов нет, по-видимому, ничего соответствующего этим явлениям. Но загляните в основательное описание жизни якутов, и оно уже самым оглавлением своим наведет нас на мысль, что поверхностное заключение наше было ошибочно; оглавление книги о якутах точно таково же, как оглавление книги об англичанах: почва и климат; способы добывания пищи; жилища; одежда; пути сообщения; торговля и т. д. Как? – спрашиваете вы себя: – неужели у якутов есть и пути сообщения, и торговля? Да, разумеется, есть, как и у англичан; разница только та, что у англичан эти явления общественной жизни сильно развиты, а у якутов они развиты слабо. У англичан есть Лондон, но и у якутов есть явления, возникающие из того же самого принципа, которым создан Лондон: на зиму якуты, бросая кочевую жизнь, поселяются в землянках; эти землянки вырыты по соседству одна от другой, так что составляют какую-то группу, – вот вам и зародыш города; в самой Англии дело началось с того же: зародыш Лондона была такая же группа таких же землянок. У англичан есть Манчестер с гигантскими машинами, которые называются бумагопрядильною фабрикою; но ведь и якуты не довольствуются звериными шкурами в их натуральном виде, они сшивают их, они делают из шерсти войлок, от валяния войлока уже недалеко до тканья, от иголки недалеко до веретена, а Манчестер составляет просто накоплением десятков миллионов веретен с удобною для них обстановкою; в работе якутского семейства над изготовлением одежды лежит уже зародыш Манчестера, как в якутской землянке – зародыш Лондона. Дело иного рода, насколько где развилось

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
известное явление; но явления всех разрядов в разных степенях развития
существуют у каждого народа. Зародыш один и тот же; он развивается повсюду по
одним и тем же законам, только обстановка у него в разных местах различна,
оттого различно и развитие: берлинский кислый виноград – тот же самый виноград,
какой растет в Шампани и в Венгрии; только климат разный, потому с практической
точки зрения можно говорить, что берлинский виноград, который ни на что не
годится, вещь совершенно иного рода, чем виноград Токая или Эперне, из которого
делают дивные вина; так, разница огромная, явная для всякого, но согласитесь,
что ученые люди поступают справедливо, утверждая, что нет в токайском винограде
таких элементов, которых не нашлось бы в берлинском винограде.

Нам нужно обозреть всю область природы, чтобы дойти до человека; а до сих пор мы
говорили только о так называемой неорганической природе и о царстве растений,
еще ничего не сказав о царстве животных. В наиболее развитых формах своих
животный организм чрезвычайно отличается от растения; но читатель знает, что
млекопитающее и птица связаны с растительным царством множеством переходных
форм, по которым можно проследить все степени развития так называемой животной
жизни из растительной: есть растения и животные, почти ничем не отличающиеся
друг от друга, так что трудно сказать, к какому царству отнести их. Если
некоторые животные почти ничем не отличаются от растений в эпоху полного
развития своего организма, то в первое время своего существования все животные
почти одинаковы с растениями в первой поре их роста; зародышем животного и
растения одинаково служит ячейка; ячейка, служащая зародышем животного, так
похожа на ячейку, служащую зародышем растения, что трудно и отличить их. Итак,
мы видим, что все животные организмы начинают с того же самого, с чего начинает
растение, и только впоследствии некоторые животные организмы приобретают вид
очень различный от растений и в очень высокой степени проявляют такие качества,
которые в растении так слабы, что открываются только при помощи научных пособий.
Так, например, и в дереве есть зародыш движения: соки в нем движутся, как в
животных; корни и ветви тянутся в разные стороны; правда, это перемещение
происходит только в частях, а целый организм растения не перемещает места; но и
полип также не перемещает места: полипник способностью перемещения не
превосходит дерево. Но есть даже и такие растения, которые перемещают свое
место: сюда принадлежат некоторые виды семейства *Mimosa*.

Не надобно обижать никого; мы нанесли бы животным обиду, если бы, заметив, что
они не должны считать себя существами иной природы, чем растения, понизив их на
степень только особенной формы той же жизни, какая видна в растениях, не сказали
несколько слов и в честь им. Действительно, научный анализ открывает
несправедливость голословных фраз, будто животные вовсе лишены разных почетных
качеств, как, например, некоторой способности к прогрессу. Обыкновенно говорят:
животное всю жизнь остается тем, чем родилось, ничему не научается, нейдет
вперед в умственном развитии. Такое мнение разрушается фактами, известными
каждому: медведя научают плясать и выкидывать разные штуки, собак подавать
поноску и танцевать; слонов даже выучивают ходить по канату, даже рыб приучают
собираться в данное место по звонку, – этого всего обученные животные не делали
без ученья; ученье дает им качества, которых без него не имели бы они. Не только
человек учит животных – сами животные учат друг друга; известно, что хищные
животные учат своих детей ловить добычу; птицы учат своих детей летать. Но,
говорят нам, это наученье, это развитие имеет известный предел, дальше которого
нейдет животное, так что каждая порода неподвижна в своем развитии, которое
относится только к отдельным членам ее; отдельное животное может иметь свою
историю, но порода остается без истории, понимая под историю прогрессивное
движение. Это также несправедливо; на наших глазах совершенствуются целые породы
животных: например, улучшается порода лошадей или рогатого скота в известной
стране. Человек имеет пользу от развития одних только экономических качеств
животного: от увеличения силы у лошади, шерсти у овцы, молока и мяса у коровы и
быка; потому мы и совершенствуем целые породы животных только в этих внешних
качествах. Но все-таки из этого уже видно, что животные доступны развитию не
только индивидуумами, а целыми породами. Этого одного факта было бы уже
достаточно для несомненного заключения о том, что и умственные способности
животных каждой породы не стоят неподвижно на одной данной точке, а также
изменяются: естественные науки говорят, что причина, производящая перемену в
мускулах, то есть изменение качеств крови, непременно производит некоторую
перемену и в нервной системе; если при перемене в составе крови, питающей
мускулы и нервы, изменяется питание мускулов, то должно изменяться и питание
нервной системы; а при различии в питании непременно изменяются качества и
действия питающейся части организма. Лошадь улучшенной породы непременно должна

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
иметь впечатления несколько иные, чем простая лошадь: вы видите, что ее глаз
блещет более живым огнем; это значит, что зрительный нерв ее воспримчивее,
чувствительнее; если так изменился зрительный нерв, то произошла некоторая
перемена и во всей нервной системе. Это вовсе не гипотеза, это – положительный
факт, известный, например, из того, что жеребенок от домашней лошади, от
благовоспитанной лошади, если можно так выразиться, гораздо скорее и легче
приучается ходить в упряжи, чем жеребенок от табунной лошади, от дикой,
невоспитанной лошади; это значит, что умственные способности у одного более
развиты в известном отношении, чем у другого. Но тут дело идет для целей
человека, а не для потребности самого животного; это развитие касается только
низших сторон умственной жизни, как всякое развитие, налагаемое целями,
посторонними самому развивающемуся. Гораздо яснее обнаруживается в животных
способность к прогрессу, когда они развиваются по собственной надобности, по
собственному побуждению. Наши домашние животные, привыкшие к своему рабству,
развившись в тех отношениях, которые нужны для их господина, вообще поглупели от
рабства. Они стали трусливы, ненаходчивы в непредвиденных обстоятельствах. Но,
выходя на свободу, они возвращаются к находчивости и смелости вольного
состояния. Одичавшие лошади приучаются защищаться от волков, приучаются выбивать
траву из-под снега зимой. Дикие животные вообще умеют приспособляться к новым
обстоятельствам: книги о нравах животных наполнены рассказами о том, как умеют
приноровлять свою жизнь к новой обстановке осы, пауки и другие насекомые,
посаженные под стеклянный колпак. Сначала насекомое пробует поступать
по-прежнему; постепенные неудачи показывают ему неудовлетворительность прежнего
метода, оно пробует новые методы, и если обстоятельства не губят его, оно,
наконец, устраивает свою жизнь по новому способу. Медведь, нашедши бочонок с
вином, умеет, наконец, догадаться, как выбить дно. Мы не станем приводить
бесчисленных отдельных анекдотов о находчивости животных и заметим только один
общий факт, относящийся к целым породам: при появлении человека в пустынной
стране птицы еще не умеют остерегаться его; но постепенно опыт научает их быть
осторожными, предусмотрительными относительно этого нового врага, и все породы
дичи научаются обходиться с охотником умнее прежнего, избегать его, обманывать
его.

Мы употребляли выражение «умственные способности», говоря о животных. В самом
деле, нельзя отрицать в них ни памяти, ни воображения, ни мышления. О памяти
нечего говорить: каждому известно, что нет ни одного млекопитающего, ни одной
птицы без этой способности, и у некоторых пород она развита очень сильно;
памятливость собаки чрезвычайно велика: она узнает человека, виденного ею очень
давно, умеет находить дорогу в хозяйский дом из очень отдаленного места.
Воображение непременно должно существовать, если есть память, потому что оно
только соединяет в новые группы разные представления, хранимые памятью. Если
существует нервная деятельность, то есть если происходит непрерывная смена
ощущений и впечатлений, то прежние представления непременно должны беспрестанно
попадать в сочетания с новыми, а этот феномен уже и есть то самое, что
называется воображением. Положительным образом существование фантазии в животном
доказывается тем, что кошка видит сны: она во сне часто бывает похожа на
лунатика: то сердится, то радуется. Впрочем, нет надобности слишком дорожить
этим частным фактом, способностью кошки иметь сновидения: существование фантазии
у животных обнаруживается другим, гораздо более общим фактом – расположением
всех молодых животных забавляться посредством игры над внешними предметами,
которые не могли бы служить предметом такой игры, если бы не представлялись
играющему животному чем-то вроде кукол. Молодая кошка забавляется какой-нибудь
щепочкою или кусочком шерсти, как будто мышью: она бросает клочок шерсти, чтобы
он как будто бежал, сама принимает подстерегающее положение, потом прыгает и
ловит воображаемую мышь, – это прямо игра в куклы, только кукла тут имеет роль
не жениха и невесты, не барышни и служанки, а роль мышки: что делать, каждое
существо дает предметам такую роль, какая для него интересна.

Мышление состоит в том, чтобы из разных комбинаций ощущений и представлений,
изготавливаемых воображением при помощи памяти, выбирать такие, которые
соответствуют потребности мыслящего организма в данную минуту, в выборе средств
для действия, в выборе представлений, посредством которых можно было бы дойти до
известного результата. В этом состоит не только мышление о житейских предметах,
но и так называемое отвлеченное мышление. Возьмем в пример самое отвлеченное
дело: решение математической задачи. У Ньютона, заинтересованного вопросом о
законе качества или силы, проявляющейся в обращении небесных тел, накопилось в
памяти очень много математических формул и астрономических данных. Чувства его
(главным образом одно чувство – зрение) беспрестанно приобретали новые формулы и

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
астрономические данные из чтения и собственных наблюдений; от сочетания этих
новых впечатлений с прежними возникали в его голове разные комбинации, формулы
цифр; его внимание останавливалось на тех, которые казались подходящими к его
цели, соответствующими его потребности найти формулу данного явления; от
обращения внимания на эти комбинации, то есть от усиления энергии в нервном
процессе при их появлении, они развивались и разрастались, пока, наконец,
разными сменами и превращениями их произведен был результат, к которому
стремился нервный процесс, то есть найдена была искомая формула. Это явление, то
есть, сосредоточение нервного процесса на удовлетворяющих его желанию в данную
минуту комбинациях ощущений и представлений, непременно должно происходить, как
скоро существуют комбинации ощущений и представлений, иначе сказать – как скоро
существует нервный процесс, который сам и состоит именно в ряде разных
комбинаций ощущения и представления. Каждое существо, каждое явление
разрастается, усиливается при появлении данных, удовлетворяющих его потребности,
прилепляется к ним, питается ими, а собственно в этом и состоит то, что мы
назвали выбором представлений и ощущений в мышлении; а в этом выборе их, в
прилеплении к ним и состоит сущность мышления.

Само собою разумеется, что когда мы находим одинаковость теоретической формулы,
посредством которой выражается процесс, происходивший в нервной системе Ньютона
при открытии закона тяготения, и процесс того, что происходит в нервной системе
курицы, отыскивающей овсяные зерна в куче сора и пыли, то не надобно забывать,
что формула выражает собою только одинаковую сущность процесса, а вовсе не то,
чтобы размер процесса был одинаков, чтобы одинаково было впечатление,
производимое на людей явлениями этого процесса, или чтобы обе формы его могли
производить одинаковый внешний результат. Мы говорили, например, в прошлой
статье, что хотя трава и дуб растут по одному закону, из одних элементов, но
все-таки трава никак не может производить таких действий, давать таких
результатов, как дуб: из дуба человек может строить себе огромные дома и
корабли, а из травы можно только маленькой птичке свить свое гнездо; или,
например, в куче гнилушки происходит тот же самый процесс, как в печи громадной
паровой машины; но куча гнилушки никого не перевезет и» Москвы в Петербург, а
паровик со своей печью перевозит тысячи людей и десятки тысяч пудов товаров.
Муха летает тою же самою силою, по тому же самому закону, как орел; но, конечно,
из этого не следует, чтобы она взлетала так высоко, как орел.

Говорят, будто бы животные не рассуждают. Это чистый вздор. Вы поднимаете палку
на собаку, собака поджимает хвост и бежит от вас; отчего это? Оттого, что у ней
в голове построился следующий силлогизм: когда меня бьют палкою, мне бывает
неприятно; этот человек хочет побить меня палкою, итак, удалюсь от него, чтобы
не получить болезненного ощущения от его палки. Смешно и слышать, когда говорят,
будто собака в этом случае убежала только по инстинкту, машинально, а не по
рассуждению, не сознательно: нет, инстинкт, машинальность есть тут, но не все
дело произошло инстинктивно, машинально: по инстинкту, по машинальной привычке
собака поджала хвост, когда добежала от вас, а побежала она по сознательной
мысли. В действиях каждого живого существа есть сторона бессознательной привычки
или бессознательного движения органов; но это не мешает участию сознательной
мысли в том действии, которое сопровождается некоторыми движениями,
происходящими бессознательно. Когда человек испугается, мускулы его лица
бессознательно, инстинктивно принимают выражение испуга; но тем не менее
происходит в голове этого человека другая часть явления, принадлежащая области
сознания: он сознает, что он испуган, он сознает, что сделал движение,
выражающее испуг; от этой сознательной стороны факта происходят новые
последствия: человек, может быть, постыдится себя за то, что испугался, может
быть, примет меры к обороне от испугавшего предмета, а может быть, поспешит
удалиться от него.

Но мы забыли: ведь говорят, что у животных нет сознания, что они не сознают
своих ощущений, своих мыслей, умозаключений, а только имеют их. Каким образом
понять это, каким образом могут понимать эти слова сами те люди, которые говорят
их, всегда было для нас загадкою. Не сознавать своего ощущения – скажите, есть
ли смысл в этой фразе? Скажите, каким образом можно составить себе отчетливое
представление о комбинации понятий, которую хочет она возбудить? Ощущением ведь
именно и называется такое явление, которое чувствуется; иметь бессознательное
ощущение значило бы иметь нечувствуемое чувство, значило бы то же самое, что
видеть невидимый предмет или, по знаменитому выражению, «слышать молчание». Есть
очень много выражений совершенно бессмысленных, составленных из сочетания слов,
соответствующих неклеящимся между собою понятиям; произносить их каждый может,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
но каждый, кто произносит их, тем самым свидетельствует, что или сам не понимает, что говорит, или хочет шарлатанить. Говорят, например, «невесомая жидкость»; но что такое жидкость какая бы то ни была? Она все-таки тело, все-таки нечто материальное; всякое вещество имеет свойство, называемое притяжением или тяготением, состоящее в том, что каждая частичка материи притягивает к себе другие частицы и сама притягивается ими; на земле это свойство обнаруживается весом, то есть тяготением к центру земли; итак, всякая жидкость непременно имеет вес, а «невесомая жидкость» – бессмысленное сочетание звуков, вроде выражений: синий звук, сахарная селитра и т. п. Если в физике так долго употреблялось бессмысленное выражение «невесомая жидкость», то неудивительно изобилие подобных выражений в психологии, которая разработана меньше физики; научный анализ показывает вздорность их, и одна из сторон развития науки состоит в том, чтобы отбрасывать их.

Еще забавнее становится пустая гипотеза об отсутствии сознания в животных, когда принимает какой-то нелепо возвышенный тон, подразделяя феномен сознания на два разряда: простое сознание и самосознание, говоря, что животные имеют простое сознание, а самосознания не имеют. Тут дело доходит до такой мудрости, с которой может сравниться лишь следующая дистинкция [9]; скрипка издает только синий звук, а самосинего звука издавать не может, его издает виолончель. Кто поймет этот тонкий вывод о качествах звука скрипки и виолончели, для того будет совершенно ясно, что ощущение в животных сопровождается сознанием, но не сопровождается самосознанием, – иначе сказать, что животные имеют ощущение о внешних предметах, но не чувствуют, что имеют ощущение, – иначе сказать, имеют чувства, которых не чувствуют. После этого следует заключить, вероятно, животные едят зубами, которыми не едят, ходят ногами, которыми не ходят. Теперь для нас очевидно существование птичьего молока: птицы имеют молоко, которого не имеют; так как они его имеют, то оно существует, а так как они его не имеют, то простонародная поговорка справедливо полагает, что достать его нигде нельзя. Кто убежден в справедливости всех этих столь основательных мнений, тому остается только просидеть Иванову ночь над папоротником, и он получит цветок-невидимку.

Прикоснемся точным анализом к факту ощущения, и вся фантазмагория исчезает от первого прикосновения. Ощущение по самой натуре своей непременно предполагает существование двух элементов мысли, связанных в одну мысль: во-первых, тут есть внешний предмет, производящий ощущение; во-вторых, существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение; чувствуя свое ощущение, оно чувствует известное свое состояние; а когда чувствуется состояние какого-нибудь предмета, то, разумеется, чувствуется и самый предмет. Например, я чувствую боль в левой руке; вместе с этим я чувствую и то, что у меня есть правая рука; вместе с этим я чувствую, что существую я, часть которого составляет эта левая рука, и, по всей вероятности, чувствую также, что эта рука болит у меня; или я не чувствую, что она болит у меня? или, когда я чувствую боль в руке, то я чувствую, что рука болит не у меня, а у какого-нибудь китайца в Кантоне? Не смешно ли рассуждать о подобных вещах, рассуждать о том, солнце ли есть солнце, рука ли есть рука, и о тому подобных мудреных задачах?

Чем отличается Ротшильд от бедняка? тем ли, что двугривенный в кармане бедняка есть простое серебро, а груды серебряной монеты, лежащие в подвалах Ротшильда, вычеканены из самосеребра, которое гораздо лучше серебра? Если бы Ротшильд был человек не богатый, а только тщеславный, он мог бы придумывать подобные вздоры в доказательство своего превосходства над бедняком. Но, как человек действительно богатый, он не имеет надобности в таких вздорных фантазиях и прямо говорит бедняку: «мое серебро точно такое же, как ваше; но у вас его один золотник, а у меня много тысяч пудов; потому-то, измеряя богатством право на уважение, я нахожу себя заслуживающим гораздо большего уважения, чем вы».

Говорят также, будто бы у животных нет тех чувств, которые называются возвышенными, бескорыстными, идеальными. Надобно ли замечать совершенную несообразность такого мнения с общеизвестными фактами? Привязанность собаки вошла в пословицу; лошадь проникнута честолюбием до того, что когда разгорячится, обгоняя другую лошадь, то уже не нуждается в хлысте и шпорах, а только в удилах: она готова надорвать себя, бежать до того, чтобы упасть замертво, лишь бы обогнать соперницу. Нам говорят, будто бы животные знают только кровное родство, а не знают родства, основанного на возвышенном чувстве благорасположения. Но насадка, высижившая цыплят из яиц, снесенных другою курицею, не имеет с этими цыплятами никакого кровного родства: ни одна частичка из ее организма не находится в составе организма этих цыплят. Однако же мы

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
видим, что в заботливости курицы о цыплятах не бывает никакого различия от того
обстоятельства, свои или чужие яйца высидела наседка. На чем же основана ее
заботливость о цыплятах, высиженных ею из яиц другой курицы? На том факте, что
она высидела их, на том факте, что она помогает им делаться курами и петухами,
хорошими, здоровыми петухами и курами. Она любит их, как нянька, как
гувернантка, воспитательница, благодетельница их. Она любит их потому, что
положила в них часть своего нравственного существа – не материального существа,
нет, в них нет ни частички ее крови, – нет, в них она любит результат своей
заботливости, своей доброты, своего благоразумия, своей опытности в куриных
делах; это – отношение чисто нравственное.

Вообще замечают, что дети, достигшие совершеннолетия, гораздо менее привязаны к
родителям, чем родители к детям. Главное основание этого факта открыть очень
легко: человек любит прежде всего сам себя. Родители видят в детях результат
своих забот о них, а дети ничем не участвовали в воспитании родителей, не могут
видеть в них результат своей деятельности. При нынешнем устройстве общества
нравственные отношения совершеннолетних детей к родителям состоят почти только в
том, чтобы содержать их на старости, да и эту обязанность исполняли бы очень
немногие дети по собственному влечению, если бы не принуждались к ее исполнению
тем чувством повиновения общественному мнению, которое принуждает их вообще не
держаться себя неприличным образом, не возбуждать своими действиями общего
негодования. В тех породах животных, которые не составляют обществ, конечно, нет
и общественных отношений, вынуждающих исполнение подобного дела. Мы не знаем,
как проводят свое дряхлое время жаворонки, ласточки, кроты и лисицы. Их жизнь
так не обеспечена, что, по всей вероятности, очень немногие из этих животных
доживают до дряхлости: вероятно, они скоро делаются добычей других животных,
когда ослабевает в них сила улетать, убежать или защищаться. Говорят, что едва
ли хотя одна рыба умирает естественной смертью, не бывает пожрана другими
рыбами. То же надобно думать о большей части диких птиц и млекопитающих. Те
немногие индивидуумы, которые доживают до дряхлости, вероятно, умирают от голода
несколькими часами или днями раньше, чем могли бы умереть, имея подле себя пищу.
Но из этого забвения их детей о дряхлых отцах и матерях не будем выводить
слишком резкого суждения об отсутствии детской привязанности между животными: мы
тут обязаны быть снисходительными, потому что наше суждение об этом предмете
почти вполне применилось бы и к людям.

Когда говоришь без всякого плана, сам не отгадаешь, куда приведет тебя речь. Вот
мы видим теперь, что договорились до нравственных или возвышенных чувств. По
вопросу об этих чувствах практические выводы из обыкновенного житейского опыта
совершенно противоречили старинным гипотезам, приписывавшим человеку множество
разных бескорыстных стремлений. Люди видели по опыту, что каждый человек думает
все только о себе самом, заботится о своих выгодах больше, нежели о чужих, почти
всегда приносит выгоды, честь и жизнь других в жертву своему расчету, – словом
сказать, каждый из людей видел, что все люди – эгоисты. В практических делах все
рассудительные люди всегда руководились убеждением, что эгоизм – единственное
побуждение, управляющее действиями каждого, с кем имеют они дело. Если бы это
мнение, ежедневно подтверждаемое опытом каждого из нас, не имело против себя
довольно большого числа других житейских фактов, оно, конечно, скоро одержало бы
верх и в теории над гипотезами, утверждавшими, что эгоизм есть только
испорченность сердца, а неиспорченный человек руководится побуждениями,
противоположными эгоизму: думает о благе других, а не о своем, готов жертвовать
собой для других и т. д. Но вот именно в том и состояло затруднение, что
гипотеза о бескорыстном стремлении человека служить чужому лагу, опровергаемая
сотнями ежедневных опытов каждого, по-видимому, подтверждалась довольно
многочисленными фактами бескорыстия, самопожертвования и т. д.: там Курций
бросается в пропасть, чтобы спасти родной город, тут Эмпедокл бросается в
кратер, чтобы сделать ученое открытие, тут Дамон спешит на казнь, чтобы спасти
Пифиаса, тут поражает себя кинжалом Лукреция, чтобы восстановить свою честь. До
недавнего времени не было научных средств точным образом вывести оба эти разряда
явлений из одного принципа, подвести под один закон факты, противоположные между
собой. Камень падает на землю, пар летит вверх, и в старину думали, что закон
тяжести, действующий в камне, не действует над паром. Теперь известно, что оба
эти движения, происходящие по противоположным направлениям, падение камня на
землю и поднятие пара вверх от земли, – происходят от одной причины, по одному
закону. Теперь известно, что сила притяжения, вообще стремящая тела вниз,
обнаруживается при известных обстоятельствах тем, что заставляет некоторые тела
подниматься вверх. Много раз мы говорили, что нравственные науки еще не
разработаны с такой полнотою, как естественные; но и при нынешнем, вовсе не

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe блистательном их состоянии уже разрешен вопрос о подведении всех часто разноречящих между собою человеческих поступков и чувств под один принцип, как разрешены вообще почти все те нравственные и метафизические вопросы, в которых путались люди до начала разработки нравственных наук и метафизики по строгому научному методу. В побуждениях человека, как и во всех сторонах его жизни, нет двух различных натур, двух основных законов, различных или противоположных между собою, а все разнообразие явления в сфере человеческих побуждений к действованию, как и во всей человеческой жизни, происходит из одной и той же натуры, по одному и тому же закону.

Мы не станем говорить о тех действиях и чувствах, которые всеми признаются за эгоистические, своекорыстные, происходящие из личного расчета; обратим внимание только на те чувства и поступки, которые представляются имеющими противоположный характер: вообще надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом. Очень мало найдется случаев, когда эта основа сама не напрашивалась бы на замечание даже человеку, не очень привычному к психологическому анализу. Если муж и жена жили между собою хорошо, жена совершенно искренно и очень глубоко печалится о смерти мужа, но только вслушайтесь в слова, которыми выражается ее печаль: «на кого ты меня покинул? что я буду без тебя делать? без тебя <мне> тошно жить на свете!» Подчеркните эти слова «меня, я, мне»: в них – смысл жалобы, в них – основа печали. Возьмем чувство еще гораздо высшее, чистейшее, чем самая высокая супружеская любовь: чувство матери к ребенку. Ее плач о его смерти точно таков же: «Ангел мой! Как я тебя любила! Как я любовалась на тебя, ухаживала за тобою! Скольких страданий, скольких бессонных ночей ты стоил мне! Погибла в тебе моя надежда, отнята у меня всякая радость!» И тут опять все то же: «я, мое, у меня». Столь же легко открывается эгоистическая основа в самой искренней и нежной дружбе. Не многим затруднительнее те случаи, в которых человек приносит жертву для любимого предмета; хотя бы он жертвовал для него самую жизнь, все-таки основанием пожертвования служит личный расчет или страстный порыв эгоизма. О большей части случаев так называемого самопожертвования не стоит говорить как о самопожертвовании: им неприлично это имя. Жители Сагунта перерезались, чтобы не отдаться живыми в руки Аннибала, геройство, достойное удивления, но совершенно одобряемое эгоистическим расчетом; они привыкли жить свободными гражданами, не терпеть никаких обид, уважать себя и видеть уважение от других; карфагенский полководец продал бы их в рабство, их жизнь была бы рядом несноснейших мучений; они поступили в том же роде, как делает человек, вырывающий у себя больной зуб: они предпочли одну минуту страшной смертельной муки нескончаемым годам мучений; в средние века еретики, сжигаемые медленным огнем на кострах из сырого леса, старались разорвать свои цепи, чтобы броситься в пламя: легче задохнуться в одну минуту, чем терпеть задушение несколько часов. Действительно таково было положение жителей Сагунта. Мы напрасно предположили, что Аннибал удовольствовался бы обращением их в рабство: они все равно были бы истреблены если не своими, то карфагенскими руками, но карфагеняне стали бы долго мучить их варварскими пытками, и здравый расчет их справедливо предпочел легкую и быструю смерть медленной и тяжелой. Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний: она также поступила очень расчетливо; что ожидало ее впереди? Муж мог бы наговорить ей много успокоительных и ласковых слов, но ведь все подобные слова чистый вздор, свидетельствующий о благородстве говорящего их, но несколько не изменяющий неперемных последствий дела. Коллатин мог сказать жене: я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему; но при тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горьче побоев и ругательств. Лукреция справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унижительном по сравнению с тем, к какому она привыкла. Чистоплотный человек охотнее будет терпеть голод, чем прикоснется к пище, оскверненной какою-нибудь гадостью; для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо легче унижения.

Читатель понимает, что мы говорим все это вовсе не к уменьшению великой похвалы, какой достойны жители Сагунта и Лукреция: доказывать, что геройский поступок был вместе умным поступком, что благородное дело не было безрассудным делом, вовсе еще не значит, по нашему мнению, отнимать цену у героизма и благородства. От этих геройских дел перейдем к образу действий более обыкновенному, хотя все еще

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
слишком редкому; разберем такие случаи, как преданность человека, отказывающегося от всяких удовольствий, от всякой свободы в распоряжении своим временем для того, чтобы ухаживать за другим человеком, нуждающимся в его заботливости. Друг, проводящий целые недели у постели больного друга, делает пожертвование гораздо более тяжелое, чем если бы отдавал ему все свои деньги. Но почему он приносит такую великую жертву и в пользу какого чувства он приносит ее? Он приносит свое время, свою свободу в жертву своему чувству дружбы, – заметим же, своему чувству; оно развилось в нем так сильно, что, удовлетворяя его, он получает большую приятность, чем получил бы от всяких других удовольствий и от самой свободы; а нарушая его, оставляя без удовлетворения, чувствовал бы больше неприятности, чем сколько получает от стеснения себя во всех других потребностях. Точно таковы же случаи, когда человек отказывается от всяких наслаждений и выгод для служения науке или какому-нибудь убеждению. Ньютон и Лейбниц, отказавшие себе во всякой любви к женщине, чтобы нераздельно отдавать все свое время, все свои мысли ученым исследованиям, конечно, совершали всю свою жизнь очень высокий подвиг. Точно то же надобно сказать о политических деятелях, называемых обыкновенно фанатиками. Тут опять мы видим, что известная потребность развилась в человеке так сильно, что удовлетворять ей приятно для него даже с пожертвованием другими очень сильными потребностями. По своему предмету эти случаи очень резко отличаются от тех фактов расчета, в которых человек жертвует очень большою суммой денег для удовлетворения какой-нибудь низкой страсти, но по теоретической формуле все они подходят под один закон: сильнейшая страсть берет верх над влечениями менее сильными и приносит их в жертву себе.

При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские, и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия. Конечно, эту одинаковостью причины, из которой происходят дурные и хорошие дела, вовсе не уменьшается разница между ними: мы знаем, что алмаз и уголь – все один и тот же чистый углерод, но тем не менее алмаз есть алмаз, вещь чрезвычайно драгоценная, а уголь – все-таки уголь, вещь очень малоценная. Великая разница между добрым и злым заслуживает полного нашего внимания. Мы начнем с анализа этих понятий, чтобы увидеть, какими обстоятельствами развивается или ослабляется добро в человеческой жизни.

Очень давно было замечено, что различные люди в одном обществе называют добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже противоположные. Если, например, кто-нибудь отказывает свое наследство посторонним людям, эти люди находят его поступок добрым, а родственники, потерявшие наследство, очень дурным. Такая же разница между понятиями о добре в разных обществах и в разные эпохи в одном обществе. Из этого очень долго выводилось заключение, что понятие добра не имеет в себе ничего постоянного, самостоятельного, подлежащего общему определению, а есть понятие чисто условное, зависящее от мнений, от произвола людей. Но точнее всматриваясь в отношения поступков, называемых добрыми, к тем людям, которые дают им такое название, мы находим, что всегда есть в этом отношении одна общая, непрременная черта, от которой и происходит причисление поступка к разряду добрых. Почему посторонние люди, получившие наследство, называют добрым делом акт, давший им это имущество? Потому, что этот акт был для них полезен. Напротив, он был вреден родственникам завещателя, лишенным наследства, потому они называют его дурным делом. Война против неверных для распространения мусульманства казалась добрым делом для магометан, потому что приносила им пользу, давала им добычу; в особенности поддерживали между ними это мнение духовные сановники, власть которых расширялась от завоеваний. Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще. Очень часты случаи, в которых интересы разных наций и сословий противоположны между собою или с общими человеческими интересами; столь же часты случаи, в которых выгоды какого-нибудь отдельного сословия противоположны национальному интересу. Во всех этих случаях возникает спор о характере поступка, учреждения или отношения, выгодного для одних, вредного для других интересов: приверженцы той стороны, для которой он вреден, называют его дурным, злым; защитники интересов, получающих от него пользу, называют его хорошим, добрым. На чьей стороне бывает в таких случаях теоретическая справедливость, решить очень не трудно: общечеловеческий интерес

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe

стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного. В теории эта градация не подлежит никакому сомнению, она составляет только применение геометрических аксиом – «целое больше своей части», «большее количество больше меньшего количества» – к общественным вопросам. Теоретическая ложь непременно ведет к практическому вреду; те случаи, в которых отдельная нация попирает для своей выгоды общечеловеческие интересы или отдельное сословие – интересы целой нации, всегда оказываются в результате вредными не только для стороны, интересы которой были нарушены, но и для той стороны, которая думала доставить себе выгоду их нарушением: всегда оказывается, что нация губит сама себя, поработав человечество, что отдельное сословие приводит себя к дурному концу, принося в жертву себе целый народ. Из этого мы видим, что при столкновениях национального интереса с сословным, сословие, думающее извлечь пользу себе из народного вреда, с самого начала ошибается, ослепляется фальшивым расчетом. Иллюзия, которою оно увлекается, имеет иногда вид очень основательного расчета; но мы приведем два или три случая этого рода, чтобы показать, как ошибочен бывает такой расчет. Мануфактуристы думают, что запретительный тариф выгоден для них; но в результате оказывается, что при запретительном тарифе нация остается бедна и по своей бедности не может содержать мануфактурную промышленность обширного размера; таким образом самое сословие мануфактуристов остается далеко не столь богато, как бывает при свободной торговле; все фабриканты всех государств с запретительным тарифом, вместе взятые, конечно, не имеют и половины того богатства, какое приобрели фабриканты Манчестера. Землевладельцы вообще думают иметь выгоду от невольничества [крепостного права] и других видов обязательного труда; но в результате оказывается, что землевладельческое сословие всех государств, имеющих несвободный труд, находится в разоренном положении. [Бюрократия иногда находит нужным для себя препятствовать умственному и общественному развитию нации; но и тут всегда бывает, что она в результате видит свои собственные дела расстроеными, становится бессильной.] Мы привели такие случаи, в которых расчет отдельного сословия вредит для своей выгоды общему национальному интересу имеет, по-видимому, чрезвычайно твердое основание; но и тут результат показывает, что основание только казалось твердым, а в сущности было неверно; что сословие, вредившее народу, само обманывалось относительно своих выгод. Это не может и быть иначе: французский или австрийский мануфактурист – все-таки француз или житель Австрии, и все то, что вредно для государства, к которому он принадлежит, сила которого служит опорой его силы, богатство которого служит опорой его богатства, – все это послужит во вред и ему самому, иссушая источники его силы и богатства. Точно то же надобно сказать о случаях противоположности между интересами отдельной нации и общим человеческим благом: и тут всегда оказывается, что совершенно ошибочен был расчет нации, думавшей извлечь себе пользу из нанесения вреда человечеству. Завоевательные народы всегда кончали тем, что истреблялись и поработались сами. Монголы Чингисхана жили в своих степях такими бедными дикарями, что, по-видимому, трудно было им прийти в положение, худшее прежнего; но как ни дурно было состояние диких орд, пошедших на завоевание земледельческих государств южной и западной Азии и восточной Европы, а все-таки вскоре по совершении завоевания эти несчастные люди, наделавшие столько вреда другим для своего обогащения, подверглись судьбе более плачевной, чем даже та жалкая жизнь, которую продолжали вести их соотечественники, оставшиеся в своих родных степях. Мы знаем, чем кончили татары Золотой орды: конечно, целая половина их погибла при завоевании России и при неудачных нашествиях на Литву и Моравию; остальная половина, сначала награбившая себе много добычи, скоро была истреблена оправившимися русскими. Ученые доказывают, что из нынешних крымских, казанских и оренбургских татар едва ли есть хоть один человек, происходящий от воинов Батыя, что нынешние татары – потомки прежних племен, живших в тех местах до Батыя и покоренных Батыем, как были покорены русские; и что пришельцы – завоеватели – все исчезли, все были истреблены ожесточением поработанных. Германцы при Таците жили не многим лучше монголов до Чингисхана; но и они мало выиграли от завоевания Римской империи. Ост-готы, лангобарды, герулы, вандалы – все погибли до последнего человека. От вест-готов осталось имя, но только имя; франков не успели перерезать поработанные ими племена только потому, что франки перерезались сами при Меровингах. Испанцы, опустошив Европу при Карле V и Филиппе II, сами разорились, впали в рабство и наполовину вымерли от голода. Французы, опустошив Европу при Наполеоне I, сами подверглись завоеванию и разорению в 1814 и 1815 годах. [Недаром сравнивают с пиявками людей сословия, обогащающегося во вред своей нации; но вспомним, какая судьба ждет пиявок, наслаждающихся сосанием человеческой крови: редкая из них не губит себя этим наслаждением, почти все они

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
дохнут, и если ныне остаются живы, то все-таки подвергаются тяжелой болезни, да
и живы остаются только благодаря заботливости того, чью кровь сосали.]

Все это мы говорили к тому, чтобы показать, что понятие добра вовсе не
расшатывается, а, напротив, укрепляется, определяется самым резким и точным
образом, когда мы открываем его истинную натуру, когда мы находим, что добро
есть польза. Только при этом понятии о нем мы в состоянии разрешить все
затруднения, возникающие из разноречия разных эпох и цивилизаций, разных
сословий и народов о том, что добро, что зло. Наука говорит о народе, а не об
отдельных индивидуумах, о человеке, а не французе или англичанине, не купце или
бюрократе. Только то, что составляет натуру человека, признается в науке за
истину; только то, что полезно для человека вообще, признается за истинное
добро; всякое уклонение понятий известного народа или сословия от этой нормы
составляет ошибку, галлюцинацию, которая может наделать много вреда другим
людям, но больше всех наделает вреда тому народу, тому сословию, которое
подверглось ей, заняв по своей или чужой вине такое положение среди других
народов, среди других сословий, что стало казаться выгодным ему то, что вредно
для человека вообще. «Погибоша аки Обре» – эти слова повторяет история над
каждым народом, над каждым сословием, впавшим в гибельную для таких людей
галлюцинацию о противоположности своих выгод с общечеловеческим интересом.

Если есть какая-нибудь разница между добром и пользой, она заключается разве
лишь в том, что понятие добра очень сильным образом выставляет черту
постоянства, прочности, плодотворности, изобилия хорошими, долговременными и
многочисленными результатами, которая, впрочем, находится в понятии пользы,
именно этой чертой отличающимся от понятий удовольствия, наслаждения. Цель всех
человеческих стремлений состоит в получении наслаждений. Но источники, из
которых получают нами наслаждения, бывают двух родов: к одному роду
принадлежат мимолетные обстоятельства, не зависящие от нас или если и зависящие,
то проходящие без всякого прочного результата; к другому роду относятся факты и
состояния, находящиеся в нас самих прочным образом или вне нас, но постоянно при
нас долгое время. День хорошей погоды в Петербурге – источник бесчисленных
облегчений в жизни, бесчисленных приятных ощущений для жителей Петербурга; но
этот день хорошей погоды – явление мимолетное, лишенное всякого основания и не
оставляющее никакого прочного результата в жизни петербургского населения.
Нельзя сказать, чтобы этот день составлял пользу, он составляет только
удовольствие. Полезным явлением бывает хорошая погода в Петербурге только в тех
немногих случаях и только для тех немногих людей, когда она довольно
продолжительна и когда, благодаря этой продолжительности, успеет прочным образом
поправиться здоровье нескольких больных. Но тот, кто переселяется из Петербурга
в хороший климат, получает себе пользу в отношении здоровья, в отношении
наслаждения природой, потому что этим переселением он приобретает себе прочный
источник долговременных наслаждений. Если человек получил приглашение на хороший
обед, он получает только удовольствие, а не пользу в этом приглашении
(разумеется, и удовольствие только в том случае, когда он находит наслаждение в
гастрономии). Но если этот человек, имеющий гастрономические наклонности,
получает большую сумму денег, он получает пользу, то есть долговременную
возможность пользоваться наслаждением хороших обедов. Итак, полезными вещами
называются, так сказать, прочные принципы наслаждений. Если бы при употреблении
слова «польза» всегда твердо помнилась эта коренная черта понятия, не было бы
решительно никакой разницы между пользой и добром; но, во-первых, слово «польза»
употребляется иногда легкомысленным, так сказать, образом о принципах
удовольствия, правда, не совершенно мимолетных, но и не очень прочных, а
во-вторых, можно эти прочные принципы наслаждений разделить по степени их
прочности опять на два разряда: не очень прочные и очень прочные. Этот последний
разряд собственно и обозначается названием добра. Добро – это как будто
превосходная степень пользы, это как будто очень полезная польза. Доктор вое-,
становил здоровье человека, страдавшего хронической болезнью, – что он принес
ему: добро или пользу? Одинаково удобно тут употребить оба слова, потому что он
дал ему самый прочный принцип наслаждений. Наша мысль находится в настроении
беспрепятственно вспоминать о внешней природе, которая будто бы одна подлежит
ведомству естественных наук, составляющих будто бы только одну часть наших
знаний, а не обнимающих собою всей их совокупности. Кроме того, мы заметили, что
эти статьи свидетельствуют о чрезвычайной сухости нашего сердца, о пошлости и
низости нашей души, во всем ищущей только пользы, все оскверняющей отысканием
материальных оснований, не понимающей ничего высокого, лишенной всякого
поэтического чувства. Нам хочется замаскировать этот постыдный недостаток
поэтичности в нашей душе. Мы ищем чего-нибудь поэтического для украшения нашей

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe статьи; под влиянием мысли о важности естественных наук отправляемся искать поэзии в область материальной природы и находим в ней цветы. Украсим же одну из наших сухих страниц поэтическим сравнением. Цветы, эти прекрасные источники благоухания, эти столь быстро увядающие очарования нашего глаза, – это удовольствия, наслаждения; растение, производящее их, – это польза; на одном растении много цветов, увядают одни, распускаются на место их другие; так полезною вещью называется то, из чего вырастает много цветов. Но есть однолетние цветущие растения; и есть также розовые деревья, олеандры, живущие очень много лет и каждый год снова дающие много цветов – вот так добро превосходит свою долговечностью другие источники наслаждений, которые называются просто полезными вещами, но не удостоиваются имени добра, как фиалки не удостоиваются имени деревьев: они – предметы того же разряда вещей, но все еще не так велики и долговечны.

Из того, что добром называются очень прочные источники долговременных, постоянных, очень многочисленных наслаждений, сама собою объясняется важность, приписываемая добру всеми рассудительными людьми, говорившими о человеческих делах. Если мы думаем, что «добро выше пользы», мы скажем только: «очень большая польза выше не очень большой пользы», – мы скажем только математическую истину, вроде того, что 100 больше 2, что на олеандре бывает больше цветов, чем на фиалке.

Читатель видит, что метод анализа нравственных понятий в духе естественных наук, отнимая у предмета всякую напыщенность, переводя его в область явлений очень простых, натуральных, дает нравственным понятиям основание самое непоколебимое. Если полезным называется то, что служит источником множества наслаждений, а добрым – просто то, что очень полезно, тут уже не остается ровно никаких сомнений относительно цели, которая предписывается человеку, – не какими-нибудь посторонними соображениями или внушениями, не какими-нибудь проблематическими предположениями, таинственными отношениями к чему-нибудь еще очень неверному, – нет, предписывается просто рассудком, здравым смыслом, потребностью наслаждения: эта цель – добро. Расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр. Когда человек не добр, он просто нерасчетливый мот, тратящий тысячу рублей на покупку грошовой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых достало бы ему на приобретение несравненно большего наслаждения.

Но в том же понятии о добре, как об очень прочной пользе, мы находим еще другую важную черту, помогающую нам открыть, в каких именно явлениях и поступках главнейшим образом состоит добро. Внешние предметы, как бы тесно ни были привязаны к человеку, все-таки слишком часто разлучаются с ним: то человек расстается с ними, то они изменяют человеку, Родина, родство, богатство, все может быть покинуто человеком или покинуть его; от одного никак не может он отделаться, пока остается жив, одно существо неразлучно с ним: это он сам. Если человек полезен другим людям по своему богатству, он может перестать быть полезен, лишившись богатства; но если он полезен людям по качествам своего собственного организма, по своим душевным качествам, как обыкновенно говорится, то он может разве только зарезать себя, но пока не зарежет, не может перестать делать пользу людям, – не делать ее – выше его сил, – не в его власти. Он может сказать себе: буду зол, буду вредить людям; но исполнить этого он уже не может, как умный не может не быть умным, если б и не желал. Не только по постоянству и долговечности, но и по обширности результатов добро, приносимое качествами самого человека, гораздо значительно лучше добра, делаемого человеком, только по обладанию внешними предметами. Доброе или дурное употребление внешних предметов случайно; всякие материальные средства так же легко и часто бывают обращаемы на вред людям, как и на пользу им. Богатый человек, принося своим богатством выгоду некоторым людям в некоторых случаях, вредит другим или даже и тем же самым людям в других случаях. Например, богатый человек может дать хорошее воспитание своим детям, развить в них здоровье, ум, дать им множество знаний; это вещи полезные для них; но будут ли они сделаны или нет, это еще неизвестно, и часто этого не бывает, а, напротив, дети богача получают такое воспитание, что делаются от него людьми хилыми, болезненными, слабоумными, пустыми, жалкими. Дети богача вообще приобретают привычки и понятия, невыгодные для них самих. Если таково влияние богатства на людей, счастьем которых наиболее дорожит богач, то, конечно, оно еще заметнее приносит вред другим людям, не столь близким сердцу богача [так что вообще надобно предполагать, что богатство отдельного человека приносит больше вреда, нежели пользы, людям, бывающим в непосредственных отношениях к богачу]. Но если возможно некоторое сомнение относительно того, равняется ли вредное

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
влияние богатства на этих отдельных людей пользе, получаемой ими от него [или, как, по всей вероятности, следует думать, далеко превышает ее], то [уже совершенно бесспорен тот факт], что в действии богатства отдельных людей на целое общество вредные стороны гораздо сильнее полезных. Это с математической достоверностью обнаруживается той частью нравственных знаний, которая раньше других стала разрабатываться по точной научной системе и в некоторых отделах своих разработана уже довольно хорошо наукою о законах общественного материального благосостояния или обыкновенно так называемую политическую экономию. [То, что мы находим относительно большого превосходства одних людей над другими посредством материального благосостояния, надобно еще в большей степени сказать о большом сосредоточении в руках отдельных людей другого постороннего самому человеческому организму средства к влиянию на судьбу других людей, – о силе или власти. Она также, по всей вероятности, приносит гораздо больше вреда, нежели пользы, даже людям, непосредственно соприкасающимся с нею, а в ее влиянии на целое общество вред несравненно превосходит пользу.] Итак, действительным источником совершенно прочной пользы для людей от действий других людей остаются только те полезные качества, которые лежат в самом человеческом организме; потому собственно этим качествам и усвоено название добрых, потому и слово «добрый» настоящим образом прилагается только к человеку. В его действиях основанием бывает чувство или сердце, а непосредственным источником их служит та сторона органической деятельности, которая называется волею; потому, говоря о добре, надобно специальным образом разобрать законы, по которым действуют сердце и воля. Но способы к исполнению чувств сердца даются воле представлениями ума, и потому надобно также обратить внимание на ту сторону мышления, которая относится к способам иметь влияние на судьбу других людей. Не обещая ничего наверное, мы скажем только, что нам хотелось бы изложить точные понятия нынешней науки об этих предметах. Очень может быть, что нам и удастся сделать это.

Но мы едва не забыли, что до сих пор остается не объяснено слово «антропологический» в заглавии наших статей; что это за вещь «антропологический принцип в нравственных науках»? Что за вещь этот принцип, читатель видел из характера самых статей: принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом. Кажется, это требование очень простое, а между тем только в последнее время стали понимать всю его важность и исполнять его мыслители, занимающиеся нравственными науками, да и то далеко не все, а только некоторые, очень немногие из них, между тем как большинство сословия ученых, всегда держащееся рутины, как большинство всякого сословия, продолжает работать по-прежнему, фантастическому способу ненатурального дробления человека на разные половины, происходящие из разных натур. Зато и все труды этого рутинного большинства оказываются теперь таким же хламом, каким оказались труды Эмина и Елагина по русской истории, Чулкова по собиранию народных песен, или в наше время труды гг. Погодина и Шевырева. Кое-что, похожее на правду, попадает и в них, – ведь г. Погодин совершенно справедливо говорит, что Ярослав был князь Киевский, а не Краковский, что Ольга приняла в Константинополе православие, а не лютеранство, что Алексей Петрович был сын Петра Великого; ведь г. Шевырев справедливо заметил, что русский народ употребляет скудную и неудобоваримую пищу, что между ямщиками попадают красивые парни, и отыскал в пайсиевском сборнике довольно любопытное свидетельство о русском язычестве. Но все эти прекрасные и совершенно верные вещи засыпаны в книгах ученой четы покойного «Москвитянина» таким множеством вздорных мнений, что отделить в них правду от пустяков – труд столь же тяжелый, как отыскивать годные на выделку бумаги тряпки в тех местах, которые исследуются зоркими глазами и ловким крючком ветошников; потому люди обыкновенные поступят лучше всего, если совершенно откажутся от столь неприятного дела, предоставляя его привычным к нему труженикам; но труженики эти, специалисты, идущие в уровень с понятиями нынешней науки, находят, что в книгах, подобных сочинениям господ, нами названных, и их предшественников даже и ученого тряпья отыскивается слишком мало, так что чтение их составляет совершенную трату времени, ведущую только к засорению головы. Вот то же самое надобно сказать почти о всех прежних теориях нравственных наук. Пренебрежение к антропологическому принципу отнимает у них всякое достоинство; исключением служат творения очень немногих прежних мыслителей, следовавших антропологическому принципу, хотя еще и не употреблявших этого термина для

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
характеристики своих воззрений на человека: таковы, например, Аристотель и
Спиноза.

Что касается до самого состава слова «антропология», оно взято от слова anthropos – человек, – читатель, конечно, и без нас это знает. Антропология – это такая наука, которая о какой бы части жизненного человеческого процесса ни говорила, всегда помнит, что весь этот процесс и каждая часть его происходит в человеческом организме, что этот организм служит материалом, производящим рассматриваемые ею феномены, что качества феноменов обуславливаются свойствами материала, а законы, по которым возникают феномены, есть только особенные частные случаи действия законов природы. Естественные науки еще не дошли до того, чтобы подвести все эти законы под один общий закон, соединить все частные формулы в одну всеобъемлющую формулу. Что делать! Нам говорят, что и сама математика еще не успела довести некоторых своих частей до такого совершенства: мы слышали, что еще не отыскана общая формула интегрирования, как найдена общая формула умножения или возвышения в степень. От этого, конечно, затрудняются ученые исследования; мы слышали, будто бы математик очень быстро совершает все части своего дела, но как дойдет до интегрирования, ему приходится сидеть целые недели и месяцы над делом, которое можно было бы исполнить в два часа, если бы уже найдена была общая формула интегрирования. Так еще больше в <естественных> науках. До сих пор найдены только частные законы для отдельных разрядов явлений: закон тяготения, закон химического сродства, закон разложения и смешения цветов, закон действий теплоты, электричества; под один закон мы еще не умеем их подвести точным образом, хотя существуют очень сильные основания думать, что все другие законы составляют несколько особенные видоизменения закона тяготения. От этого нашего неумения подвести все частные законы под один общий закон чрезвычайно затрудняется и затягивается всякое исследование в естественных науках: исследователь идет ощупью, наугад, у него нет компаса, он принужден руководиться не столь верными способами к отысканию настоящего пути, теряет много времени в напрасных уклонениях по окольным дорогам на то, чтобы вернуться с них к своей исходной точке, когда видит, что они не ведут ни к чему, и чтобы снова отыскивать новый путь; еще больше теряется времени в том, чтобы убедить других в действительной непригодности путей, оказавшихся непригодными, в верности и удобстве пути, оказавшегося верным. Так в естественных науках, точно так же и в нравственных. Но как в естественных, так и в нравственных <науках> этими затруднениями только затягивается отыскание истины и распространение убежденности в ней, когда она найдена; а когда найдена она, то все-таки очевидна ее достоверность, только приобретение этой достоверности стоило гораздо большего труда, чем будут стоить такие же открытия нашим потомкам при лучшем развитии наук, и как бы медленно ни распространялась между людьми убежденность в истинах от нынешней малой приготовленности людей любить истину, то есть ценить пользу ее и сознавать неприменную вредность всякой лжи, истина все-таки распространяется между людьми, потому что, как ни думай они о ней, как ни бойся они ее, как ни любя они ложь, все-таки истина соответствует их надобностям, а ложь оказывается неудовлетворительной: что нужно для людей, то будет принято людьми, как бы ни ошибались они от принятия того, что налагается на них необходимостью вещей. Станут ли когда-нибудь хорошими хозяевами русские сельские хозяева, до сих пор бывшие плохими хозяевами? Разумеется, станут; эта уверенность основана не на каких-нибудь трансцендентальных гипотезах о качествах русского человека, не на высоком понятии о его национальных качествах, о его превосходстве над другими по уму или трудолюбию или ловкости, а просто на том, что настает надобность русским сельским хозяевам вести свои дела умнее и расчетливее прежнего. От надобности не уйдешь, не отвертись. Так не уйдет человек и от истины, потому что по нынешнему положению человеческих дел оказывается с каждым годом все сильнейшая и неотступнейшая надобность в ней.

Характер человеческого знания

Есть руки у человека, у которого обе руки целы?

– Есть.

– Так ли?

– Так.

По-вашему, так. И по-моему, так.

И продолжаем.

Сколько рук у того человека, у которого обе руки целы?

– Две.

– Здравствуйте, господа. – Это вошел ученый, один из знакомых мне ученых. – О чем разговариваете?

– Да вот о том, что у человека, у которого обе руки целы, две руки.

– По-вашему, это так?

– По-нашему, это так.

– Вы ошибаетесь, господа. Это не так.

– Не так? То как же?

– Вот как: человеку, которому кажется, что обе руки у него целы, кажется, что у него две руки; и если б ему было известно, что у него есть руки, то у него было бы две руки; но есть у него руки или нет, это неизвестно ему и не может быть известно; ни ему, ни кому из людей. Мы знаем только наши представления о предметах, а самих предметов не знаем и не можем знать. Не зная предметов, мы не можем сличать с ними наши представления о них; потому не можем знать, походят ли наши представления о предметах на предметы. Быть может, походят; но, быть может, не походят. Если походят, то они – представления о действительно существующих предметах. Если не походят, то они – представления не о предметах, действительно существующих, а о предметах несуществующих. Которая из этих двух альтернатив соответствует факту, мы не знаем и не можем знать. – Мы имеем представление о руке. Следовательно, существует нечто, возбуждающее в нас представление о руке. Но мы не знаем и не можем знать, сходно ли наше представление о руке с этим нечто, возбуждающим его. Быть может, сходно; в таком случае то, что мы представляем себе, как руку, действительно рука, и у нас действительно есть руки. Но быть может, наше представление о руке не сходно с действительно существующим нечто, к которому мы относим его; в таком случае то, что мы представляем себе, как руку, не существует, и у нас нет рук; вместо рук у нас есть какие-то группы чего-то, какие-то, не похожие на руки, группы чего-то неведомого нам, но рук у нас нет; и достоверно об этих группах чего-то лишь то, что их две. То, что их две, достоверно потому, что для каждого из двух наших представлений, каждое из которых – особое представление об особой руке, должно быть особое основание: следовательно, существование двух групп чего-то не подлежит сомнению. – Итак, есть у нас руки или нет, вопрос неразрешимый: мы знаем только, что если у нас есть руки, то у нас действительно две руки; а если у нас нет рук, то число групп чего-то, существующих у нас вместо рук, тоже не какое-нибудь иное число, а число два. – Таково учение об относительности человеческого знания. Оно – основная истина науки. Вы теперь видите, господа, что научная истина так же далека от невежественного предубеждения, которого держались вы, предполагая, будто бы нам может быть известно, что у нас есть руки, как и от фантазерства тех ученых, которые утверждают, что у нас нет и не может быть рук. Эти ученые также называют свое схоластическое пустословие учением об относительности человеческого знания. Но они философы, то есть фантазеры, а не натуралисты. Их учение – вздор, противоречащий естествознанию. Можем ли мы знать, что наши представления о предметах не сходны с предметами, когда мы знаем только наши представления о предметах, а самих предметов не знаем, то есть не можем и сличать наших представлений с предметами? – А то, что мы знаем лишь наши представления о предметах, самих же предметов не знаем и не можем знать, – это основная истина науки, то есть естествознание.

Мой знакомый, как видите, натуралист.

Один ли он натуралист такого образа мыслей, как он? – Вероятно. По крайней мере, было б очень странно, если бы нашелся, кроме него, хоть еще один натуралист, который признавал бы неразрешимым вопрос о том, действительно ли есть руки у человека.

Я не знаю, почему другие – если есть другие – такие натуралисты думают об этом вопросе одинаково с моим знакомцем; но мой знакомец думает так лишь потому, что сам не понимает, о чем он думает и что такое он думает. Он любит

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
профилософствовать; но серьезно заниматься философией ему нет времени, и он философствует, «как дилетант. Он не подозревает, что если философствовать с его точки зрения, то логика велит принять выводы тех философов, о которых отзывается он так сурово. Из его основной мысли, что мы знаем только наши представления о предметах, а предметов не знаем, следует, что наши представления о предметах не могут быть сходны с предметами; она ведет к этому потому, что сама она – лишь вывод из отрицания реальности человеческого организма. Пока не принято за истину отрицание существования человеческого организма, логика не допускает и самой постановки вопроса о том, знаем ли мы предметы; только когда признано за истину, что мы – не люди, что мы ошибаемся, воображая себя людьми, является вопрос о том, можем ли знать предметы; и логический ответ будет: не можем.

Моему знакомому неведомо, что эти мысли находятся в логической связи между собою. Только потому и неведомо ему, что он – простяк, одураченный «фантазерами», о которых отзывается он так свысока.

Довольно посмеялись мы над моим-и вашим? – ученым знакомым, не знающим и не могущим знать, действительно ли есть руки у людей. Оставим его и поговорим о том, как произошло недоразумение, по которому довольно многие натуралисты воображают, будто согласна с естественным отрицанием существования предметов естествознания мысль, что человек не имеет знания о предметах, знает только свои представления о предметах.

Люди знают очень мало сравнительно с тем, сколько хотелось бы и полезно было бы им знать; в их скудном знании очень много неточности; к нему примешано много недостоверного и, по всей вероятности, к нему еще остается примешано очень много ошибочных мнений. – Отчего это? – Оттого, что восприимчивость наших чувств имеет свои пределы, да и сила нашего ума не безгранична; то есть оттого, что мы, люди, существа ограниченные.

Эту зависимость человеческих знаний от человеческой природы принято у натуралистов называть относительностью человеческого знания.

Но на языке той философии, которую мы будем называть иллюзионизмом, выражение «относительность человеческого знания» имеет совершенно иной смысл. Оно употребляется, как благовидный, не шокирующий профанов термин для замаскирования мысли, что все наши знания о внешних предметах – не в самом деле знания, а иллюзии.

Перепутывая эти два значения термина, иллюзионизм вовлекает неосторожного профана в привычку спутывать их. И издавна убежденный в истине одного из них, он кончает тем, что воображает, будто бы давно ему думалось – не так ясно, как стало думаться теперь, но уж издавна довольно ясно – думалось, что наши представления о внешних предметах – иллюзия.

Натуралисту, читающему иллюзионистский трактат с доверчивостью к добросовестности изложения, тем легче поддаться этому оболъщению, что он по своим специальным занятиям знает: в наших чувственных восприятиях вообще довольно велика примесь соображений; софистическая аргументация ведет доверчивого все к большему и большему преувеличению роли субъективного элемента в чувственных восприятиях, все к большему и большему забвению того, что не все чувственные восприятия подходят под класс имеющих в себе примесь соображений; забывать ему о них тем легче, что в своих специальных занятиях он и не имел повода присматриваться, примешан ли к ним субъективный элемент.

А быть доверчивым к добросовестности изложения натуралисту тем легче, что в его специальной науке все авторы излагают свои мысли бесхитростно. Человеку, привыкшему иметь дело лишь с людьми добросовестными, очень можно, и не будучи простяком, стать жертвою обмана, когда ему придется иметь дело с хитрецом.

Что ж удивительного, если натуралист вовлечется в теорию, принадлежащую иллюзионизму? – Подвергнуться влиянию этой системы философии тем извинительнее для подвергающихся ему, натуралистов ли, или не-натуралистов, что большинство ученых, занимающихся по профессии философией, последователи иллюзионизма. Масса образованных людей вообще расположена считать наиболее соответствующими научной истине те решения вопросов, какие приняты за истинные большинством специалистов по науке, в состав которой входит исследование этих вопросов. И натуралистам,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe как всем другим образованным людям, мудро не поддаваться влиянию господствующих между специалистами по философии философских систем.

Винить ли большинство специалистов по философии за то, что оно держится иллюзионизма? – Разумеется, винить было бы несправедливо. Какой характер имеет философия, господствующая в данное время, это определяется общим характером умственной и нравственной жизни передовых наций.

Итак, нельзя винить ни большинство философов нашего времени за то, что они иллюзионисты, ни тех натуралистов, которые подчиняются влиянию иллюзионизма, за то, что они подчиняются ему.

Но хоть и не виноваты философы-иллюзионисты в том, что они иллюзионисты, все-таки надобно сказать, что их философия – философия, противоречащая здравому смыслу; и о натуралистах, поддавшихся ее влиянию, надобно сказать, что мысли, заимствованные ими из нее, уместны только в ней, а в естествознании совершенно неуместны.

Знаем ли мы о себе, что мы люди? – Если знаем, то наше знание о существовании человеческого организма – прямое знание, такое знание, которое мы имеем и без всякой примеси каких бы то ни было соображений; оно – знание существа о самом себе. А если мы имеем знание о нашем организме, то имеем знание и об одежде, которую носим, и о пище, которую едим, и о воде, которую пьем, и о пшенице, из которой готовим себе хлеб, и о посуде, в которой готовим себе его; и о наших домах, и о нивах, на которых возделываем пшеницу, и о лесах, кирпичных заводах, каменоломнях, из которых берем материалы для постройки своих жилищ и т. д., и т. д. Короче сказать: если мы люди, то мы имеем знание неисчислимого множества предметов, прямое, непосредственное знание их, их самих; оно дается нам нашу реальную жизнь. Не все наше знание таково. У нас есть сведения, добытые нами посредством наших соображений; есть сведения, полученные нами из рассказов других людей или из книг. Когда эти сведения достоверны, они также знание; но это знание не непосредственное, не прямое, а косвенное; не фактическое, а мысленное. О нем можно говорить, что оно – знание не самих предметов, а лишь представлений о предметах. Различие прямого фактического знания от косвенного, мысленного параллельно различию между реальной нашей жизнью и нашей мысленной жизнью.

Говорить, что мы имеем лишь знание наших представлений о предметах, а прямого знания самих предметов у нас нет, значит отрицать нашу реальную жизнь, отрицать существование нашего организма. Так и делает иллюзионизм. Он доказывает, что у нас нет организма, – нет и не может быть.

Он доказывает это очень простым способом: применением к делу приемов средневековой схоластики. Реальная жизнь отбрасывается; вместо исследования фактов, анализируются произвольно составленные определения абстрактных понятий; эти определения составлены фальшиво; в результате анализа оказывается, разумеется, что они фальшивы; и опровергнуто все, что нужно было опровергнуть. Произвольное истолкование смысла выводов естественных наук доставляет груды цитат, подтверждающих выводы анализа фальшивых определений.

Это – схоластика. Новая форма средневековой схоластики. Тоже фантастическая сказка. Но сказка, тоже связанная и переполненная ученостью.

Рассказывается она так:

Существо, о котором нам неизвестно ничего, кроме того, что оно имеет представления, составляющие содержание нашей мысленной жизни, мы назовем нашим «я».

Вы видите: реальная жизнь человека отброшена. Понятие о человеке заменено понятием о существе, относительно которого нам неизвестно, имеет ли оно реальную жизнь.

Вы скажете: но если содержание мысленной жизни этого существа тождественно с содержанием мысленной жизни человека, то об этом существе не может не быть нам известно, что оно имеет и реальную жизнь, потому что это существо – человек.

И да, и нет; оно человек, и оно не человек. Оно человек, потому что его

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
мысленная жизнь тождественна с человеческою мысленною жизнью; но оно не человек, потому что о нем неизвестно, имеет ли оно реальную жизнь. Разумеется, это двусмысленное определение употребляется лишь для того, чтобы не с первого же слова ясно было, к чему будет ведена аргументация. Сказать вдруг, без подготовки: «мы не имеем организма» – было бы нерасчетливо; слишком многие отшатнулись бы. Потому на первый раз надобно ограничиться двусмысленным определением, в котором лишь сквозь туман проглядывает возможность подвергнуть сомнению, действительно ли существует человеческий организм. И вперед все будет так: хитрости, подстановки разных понятий под один термин, всяческие уловки схоластической силлогистики. Но нам довольно теперь пока и одного образца этих диалектических фокусов. Чтоб изложить учение иллюзионизма коротко, расскажем его просто.

Анализируя наши представления о предметах, кажущихся нам существующими вне нашей мысли, мы открываем, что в составе каждого из этих представлений находятся представления о пространстве, о времени, о материи. Анализируя представление о пространстве, мы находим, что понятие о пространстве противоречит самому себе. То же самое показывает нам анализ представлений о времени и о материи: каждое из них противоречит самому себе. Ничего противоречащего самому себе не может существовать на самом деле. Потому не может существовать ничего подобного нашим представлениям о внешних предметах. То, что представляется нам как внешний мир, – галлюцинация нашей мысли; ничего подобного этому призраку не существует вне нашей мысли и не может существовать. Нам кажется, что мы имеем организм; мы ошибаемся, как теперь видим. Наше представление о существовании нашего организма – галлюцинация, ничего подобного которой нет на самом деле и не может быть.

Это, как видите, фантастическая сказка, не больше. Сказка о несообразной с действительностью умственной жизни небывалого существа. Мы хотели рассказать ее как можно покороче, думая, что длинные фантастические сказки не скучны лишь под тем условием, чтобы в них повествовались приключения красавиц и прекрасных юношей, преследуемых злыми волшебницами, покровительствуемых добрыми волшебницами, и тому подобные занимательные вещи. А это – сказка о существе, в котором нет ничего живого, и вся сплетена из абстрактных понятий. Такие сказки скучны, и чем короче пересказывать их, тем лучше. Потому нашли мы достаточным перечислить лишь важнейшие из понятий, анализируемых в ней. Но точно так же, как понятия о пространстве, времени и материи, анализируются в Ней и другие абстрактные понятия – всякие, какие хотите, лишь бы очень широкого объема; например: движение, сила, причина. Приводим те, которые анализируются почти во всех иллюзионистских трактатах; ничто не мешает точно так же анализировать и другие, какие захотите, от понятия «перемена» до понятия «количество». Анализ по тому же способу даст тот же результат: «это понятие» – какое бы то ни было, лишь бы широкое понятие – «противоречит самому себе».

Мы попробуем, для курьеза, посмотреть, какой судьбе подвергает этот прием исследования истины таблицы умножения.

Вы помните, арифметика говорит: «дробь, помноженная сама на себя, дает в произведении дробь».

Извлекаем квадратный корень из числа 2. Получаем иррациональное число. Оно – дробь.

Арифметика говорит: квадратный корень числа, перемноженный сам на себя, дает в произведении число, корень которого он.

Итак, квадратный корень числа 2, перемноженный сам на себя, дает в произведении число 2, то есть: дробь, помноженная сама на себя, дает в произведении целое число.

Что из этого следует? – Понятие об умножении – понятие, противоречащее самому себе, то есть оно иллюзия, ничего сообразного с которой нет и быть не может. Никакого отношения между числами, сколько-нибудь сходного с понятием об умножении, нет и быть не может.

Заметьте, о чем идет речь. Уже не о том только, что ни в каком перчаточном магазине нет и не может быть двух пар перчаток. С этим вы уж примирились, убедившись, что нет на свете и не может быть ни перчаточных магазинов, ни перчаток. Но вы сохранили мнение, что когда вы имеете представление о двух парах

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe perchatok, то вы имеете представление о четырех перчатках. Вы видите теперь, что вы ошибались. Ваша мысль, будто бы дважды два – четыре, мысль нелепая.

Хорош анализ? – Вы скажете: превосходен; и было бы жаль, если б надобно было прибавить к этому, что он противоречит математике, потому что в таком случае мы должны были бы признать его вздором.

Помилуйте, напрасное опасение. Неужели ж мы назовем его противоречащим математике? – В основание его мы взяли математические истины, и в выводе получили математическую истину. Мы разъяснили истинное значение умножения: умножение – иллюзия. Это математическая истина.

Таковы все анализы, даваемые схоластиком, называющемся иллюзионизмом. И таково согласие результатов его анализов с математиком. У него свои особенные математические истины, потому он во всем согласен с математиком. Противоречить ей! – возможно ли? – никогда! Она подтверждает все в нем. Он опирается на нее.

Он получает свои математические истины тем же способом, каким удалось нам доказать, что таблица умножения – вздор, которому не могут соответствовать никакие отношения между числами. Каким способом устроили мы этот вывод, вполне согласный с математиком? – Очень просто: мы исказили понятие о квадратном корне, объявив, что та дробь – квадратный корень числа 2. Арифметика говорит, что мы не можем извлечь квадратного корня из числа 2; не можем получить числа, которое, будучи перемножено само на себя, давало бы в произведении число 2; мы можем лишь формировать ряд чисел, каждое из которых, начиная со второго, будучи перемножено само на себя, дает в произведении число, более близкое к числу 2, чем давало, будучи перемножено само на себя, предшествовавшее число того ряда чисел. И если которое-нибудь из этого ряда чисел арифметика называет в каком-нибудь данном случае «квадратным корнем числа 2», то она объясняет, что употребляет это выражение лишь для краткости, вместо длинного точного выражения: «это число, будучи перемножено само на себя, дает в произведении дробь, настолько близкую к числу 2, что для данного случая эта степень приближения достаточна с практической точки зрения». – Мы отбросили это объяснение истинного смысла выражения «квадратный корень числа 2», дали выражению смысл, противоположный истинному его смыслу, – и этим способом приобрели «математическую истину», которая и дала нам вывод, что между числами не может быть никакого отношения, сколько-нибудь подобного понятию об умножении, – вывод, тоже составляющий математическую истину.

Отрицать математику! в наше время! Нет, в наше время это невозможно. Это могла делать средневековая схоластика. Но ни анализ понятия об умножении, сделанный нами по правилам анализов, какие дает иллюзионизм, никакой из этих анализов не отрицает математику. Напротив, иллюзионизм опирается на математические истины и его выводы согласны с математиком, подобно нашему анализу понятия об умножении выводу из этого анализа. Математика – о! – это основная наука всех наук; иллюзионизм не может не опираться на нее. Он любит опираться на нее. Его анализы, подтверждаемые истинами и всех других наук, опираются основным образом на математику. Он пользуется множеством математических истин. И особенно любит две из них. Полезны ему и все другие его математические истины. Но особенно полезны эти две, особенно любимые им. На них основаны важнейшие его анализы, – анализы понятий о пространстве, о времени, о материи.

Первая из них: «Понятие о бесконечном делении – понятие, которого мы не можем мыслить».

Это математическая истина; каким же образом в математике беспрестанно попадают сообщения, основанные на понятии о бесконечной делимости чисел? И, например, что же такое прогрессии с неизменным числителем и постоянно возрастающим знаменателем? Математика не только говорит о них, как о прогрессиях, которые можно и надобно понимать, но и умеет суммировать многие разряды их.

Вторая из наиболее любимых иллюзионизмом математических истин: «понимание бесконечного ряда превышает силы нашего мышления».

Но что же такое, например, те «сходящиеся» геометрические прогрессии, суммированию которых очень легко выучиться, как не бесконечные ряды? Если мы можем даже суммировать их, то, вероятно, можем же понимать? – Но и из тех бесконечных рядов, сумма которых превышает всякую определенную величину, очень

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
многие совершенно понятны, не то что при больших, но и при очень скромных
сведениях в математике. Например, бесконечный ряд

1, 2, 3, 4...

понятен всякому, выучившемуся нумерации. Еще проще понять бесконечный ряд

$1 + 1 + 1 + 1 + 1...$

Чтобы понять его, достаточно узнать значение цифры 1 и знака +; так что легко
понимать его и человеку, не успевшему еще ознакомиться ни с какими цифрами,
кроме единицы. А сумма того ли, другого ль из этих рядов превышает всякую данную
величину.

И добро бы те ряды, понимание которых иллюзионизм провозглашает превышающим силы
человеческого мышления, были из числа рядов, понимание которых невозможно без
понимания каких-нибудь формул, не понятных людям, не изучавшим высшую
математику. Нет, дело идет о рядах, понимаемых всеми грамотными людьми. Та
математическая истина, что человеческий ум не в силах понимать бесконечную
делимость, провозглашается по поводу вопроса, понятна ли человеку простейшая из
сходящихся геометрических прогрессий, понимать и суммировать которые научает
всех желающих арифметика; дело тут идет о прогрессии

1, 1/2, 1/4, 1/8...

Этого ряда чисел не в силах мыслить человеческий ум. А вторая математическая
истина, говорящая, что понимание бесконечных рядов превышает силы человеческого
мышления, говорит это по поводу простейшего из рядов чисел, формируемых чрез
сложение, о ряде чисел, с непостижимостью которого мы уже ознакомились:

$1 + 1 + 1 + 1 + 1...$

Да, об этих двух рядах чисел, – об этих, именно об этих, математическая истина
говорит, что понимание их превосходит силы человеческого мышления.

Какую ж надобность имеет математическая истина говорить это? – А извольте
читать:

«Понятие о пространстве требует мыслить о пространстве, как о делимом до
бесконечности и как о безграничном. Мыслить бесконечную делимость наш ум не
может; это превышает силы человеческого мышления. А мыслить безграничность,
значит мыслить бесконечный ряд, образуемый сложением конечных величин; это также
превышает силы человеческого мышления. Итак, понятие о пространстве требует,
чтобы нами было мыслимо то, чего мы не можем мыслить; всякая наша попытка
мыслить понятие о пространстве – попытка мыслить немислимое. Из этого ясно, что
понятие о мышлении – понятие, противоречащее самому себе, то есть иллюзия нашего
мышления, и что нет и не может быть ничего сообразного с этой иллюзией».

Анализ, как видите, очень хороший, – ничем не хуже нашего анализа понятия об
умножении. Математическая истина очень любит такие анализы. Сильно нравится ей и
этот. А если бы мы могли мыслить ряд дробей, о котором мы говорили, и мыслить
ряд слагаемых единиц, то мы нашли бы этот прекрасный анализ понятия о
пространстве – фальшивым пустословием, противоречащим арифметике. Потому-то
математическая истина и говорит, что наш ум не может ни формировать какой бы то
ни было бы геометрической прогрессии, ни мыслить сложения. Вы видите, она
говорит это по надобности. А вы думали, – по капризу. Не хорошо вы думали, не
хорошо.

Анализ понятия о времени иллюзионизм производит буквальным повторением своего
анализа понятия о пространстве, лишь с подстановкою соответствующих терминов;
поставьте слово «время» на место слова «пространство» и слово «вечность» вместо
слова «безграничность» – и будет готово: понятие о времени – иллюзия; ничего
сообразного с этою иллюзией нет и не может быть.

Понятия о движении, о материи сами собою исчезают из нашего мышления, когда из
него исчезли понятия о пространстве и времени, так что для их изгнания из наших
мыслей, пожалуй, и не нужно было б особых анализов. Но иллюзионизм щедр: он дает
нам и особый анализ понятия о движении, и особый анализ понятия о материи, и

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe analyzes concepts of force, of cause, – all this on the basis of mathematical truth, on the basis of the very same statements of it, which destroyed our concepts of strangeness and time, or rather of some other such statements, – in any case, as much as he likes: mathematical truth loves his analyses, and with satisfaction speaks all that is necessary for their composition.

Mathematical truth behaves commendably, doing so. But where does she get her strength for this? To deny arithmetic – such a matter, on which mathematical truth, it will be understood, cannot have sufficient innate talents. Obviously, that she draws resources for this from some other truth, deeper than her penetrating in the mystery of scholastic wisdom. It is easy to guess, from which truth she borrows the strength to speak all that is necessary for illusionism. Mathematics – only the application of laws of thought to concepts of quantity, geometrical bodies and so on. It is only one of the kinds of applied logic. In fact, her judgments are found under the authority of logical truth. A logical truth itself, illusionism unhesitatingly invents itself, as it wishes. Scholasticism – this is by preference dialectics. Illusionism feels itself the full master of logic: «laws of our thought» – these words it is able to attach to any thought, as it wishes to give for logical truth. And with this it impresses; in this its strength, – in the ability to fragment and connect abstract concepts, to flatter and flatter syllogistic paths, in which the person is lost, unaccustomed to the wandering of dialectical intricacies.

«Человеческое мышление – мышление существа ограниченного; потому оно не может вмещать в себе понятие о бесконечном. Так говорит логика. Из этого ясно, что понятие о бесконечном – понятие, превышающее силы нашего мышления».

Mathematical truth cannot contradict logical truth.

And in this trap, arranged by illusionism from the confusion of the unknown in mathematics about the ontological infinity of mathematics with the concept of infinity, people, well-versed in mathematics, even first-class specialists in it; and, having fallen into the trap, try to imagine, as if in the matter there is some truth in the conviction of illusionism, that mathematical truth is the same as logical truth, – speaking of nothing else but that, – requires the admission of the inability of human thought to grasp the mathematical concept of infinity.

Illusionism loves mathematics. But it loves and nature.

His analyses of the basic concepts of nature, turning in a mirage all objects of nature, are based on truths of logic and mathematics; but his conclusions from his analyses are confirmed by truths of nature. He very much respects truths of nature. Just as, like truths of logic and mathematics. Because – all natural sciences confirm his conclusions. Physics, chemistry, zoology, physiology, in their respect for his respect for their truths, testify to him of themselves, that they do not know the objects of their study, they know only our representations of reality, not able to be similar to reality, – that they study not reality, but completely unrecognizable to her hallucinations of our thought.

But what is this system of turning our knowledge of nature into a mirage by means of scholastic syllogistics? Are not the illusionists themselves serious thinkers? – There is between them and such fools. But the vast majority of them themselves say, that their system has no serious meaning. With these words they speak, of themselves understood, but in very clear words, approximately such:

Philosophical truth – truth is essentially philosophical, and not some other. From the point of view of the common man, it is not truth and from the point of view of science – it is not truth,

but they like to fantasize. But they remember, that they fantasize.

And we will part with them.

Our knowledge – human knowledge. The cognitive powers of man are limited, as are all his powers. In this sense the character of our knowledge is conditioned

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
характером наших познавательных сил. Будь органы <наших чувств более
восприимчивы и наш разум более силен, мы знали бы больше, нежели знаем теперь;
и, разумеется, некоторые из нынешних наших знаний видоизменились бы, если бы
наши знания были обширнее нынешних. Расширение знаний вообще сопровождается
видоизменением некоторых из прежнего запаса их. История наук говорит, что очень
многие из прежних знаний видоизменились благодаря тому, что теперь мы знаем
больше, чем знали прежде.

Так. Но не остановимся же на заимствовании из истории наук неопределенного
выражения: «расширение знаний сопровождается видоизменением их». Позаботимся
ознакомиться с нею побольше; рассмотрим, какие ж черты знаний видоизменяются от
расширения знаний. Мы увидим, что существенный характер фактических знаний
остаётся неизменным, каково бы ни было расширение их. Возьмем, для примера,
историю расширения знаний о воде.

Термометр дал нам знания о том, при каком именно повышении температуры вода
закипает, при каком именно понижении замерзает. Прежде мы не знали этого. В чем
состоят видоизменения наших прежних знаний, произведенные этими новыми знаниями?
– Прежде мы знали только, что когда вода закипает – она очень согрелась, а когда
замерзает, то очень остыла. Неопределенные понятия, выражаемые словами «вода
закипает, очень согревшись, а замерзает, очень охладившись», перестали ль быть
верны? – Они остались правдою. Новые знания видоизменили ее лишь тем, что дали
ей определенность, которой не имела она. Химия дала вам знание совершенно новое:
вода – соединение кислорода с водородом. Об этом не было у нас вовсе никакого
знания, хотя б и самого неопределенного. Но перестала ль вода быть водою оттого,
что мы узнали ее происхождение, о котором прежде не знали совершенно ничего? –
Вода и теперь все та же самая вода, какую была до этого открытия. И все те
знания о воде, какие были у нас до него, остались верны и после него.
Видоизменение их ограничилось тем, что к ним присоединилось определение состава
воды.

Есть дикари, не знающие льда или снега. И быть может, еще остаются дикари, не
умеющие кипятить воду; и, быть может, не догадывающиеся, что туман – водяной
пар. Если так, то существуют люди, знающие лишь одно из трех состояний воды, –
капельно-жидкое, – не имеющие знания, что она бывает и твердым телом, и телом
газообразным. Но то, что знают они о воде в единственно известном им состоянии
ее, – ошибочное ли знание? – Вода, пока она не лед или снег и не пар, а вода в
тесном смысле слова, – та самая вода, которую знают они. И их знания о воде –
знания верные; очень скудные, но верные.

И от какого расширения наших знаний о воде ли, или о чем бы то ни было ином,
изменились бы те свойства воды, которые мы знаем? Продолжала ль бы вода при
обыкновенной температуре оставаться жидкостью, как теперь, каково бы ни было
расширение наших знаний? Или расширение наших знаний переменит этот факт?
Удельный вес воды при данной температуре изменяется ли от нашего знания о нем
ли, о чем ли ином? Пока мы не умели определять, он был тот же самый; теперь мы
умеем определять его с довольно большою точностью, но не вполне точно; что может
дать нам относительно его какое бы то ни было расширение наших знаний? Оно может
дать нам лишь более точное определение того же самого, что и теперь мы знаем с
довольно большою точностью.

Мы – существа, способные ошибаться, и каждому из нас очень часто случается в
житейских делах ошибаться. Потому каждый рассудительный человек знает, что в
житейских делах надобно всматриваться и вдумываться, когда желаешь не наделать
слишком много слишком грубых ошибок. То же самое и в научных делах. Потому в
каждой специальной науке выработаны правила осторожности, какие нужны в
частности для нее. Кроме того, есть особая наука, Логика, говорящая о правилах
осторожности, соблюдать которые надобно во всех научных делах. Но как бы хороши
ни были правила и как бы усердно ни старались мы соблюдать их, все-таки мы
остаемся существами, все способности которых ограничены, ограничена и
способность избегать ошибок. Потому при всей возможной заботливости
добросовестных исследователей истины различать достоверное от недостоверного
всегда оставалась и теперь бесспорно остается в человеческих знаниях
ускользнувшая от внимания исследователей примесь недостоверного и ошибочного.

Она остается. И чтоб уменьшать ее, ученые должны подвергать проверке все те
знания, относительно которых есть хоть малейшая возможность разумного сомнения,
вполне ли достоверны они.

Того требует разум. Присмотримся повнимательнее, как можно внимательнее, к этому его требованию.

Предположим, что взрослый человек, любознательный, но не имевший случая выучиться арифметике, находит, наконец, возможность начать учиться ей и понемножку добирается до таблицы умножения. Что надобно сказать о нем, если он решит, что не должен принимать ее за истину без проверки? – Его решение разумно. Вы, если подойдете к нему, когда он считает, действительно ли выходят по счету на камешках или горошинах те цифры, которые напечатаны в клеточках таблицы умножения, вы назовете его за это человеком умным. – Но он проверил таблицу. Все цифры в ней верны. Что теперь посоветуете вы ему? – Снова приняться за проверку таблицы, проверенной им? – Он осмеял бы вас; и был бы прав. – Разум требует от учащегося арифметике, чтоб он проверил таблицу умножения. Но когда он раз проверил ее, разум говорит ему: «Для тебя она остается не подлежащею ни малейшему сомнению на всю твою жизнь».

И все ли клеточки таблицы умножения велит разум проверять тому, кто учится арифметике? – Если бы вы спросили у взрослого неглупого человека, которого застали за той проверкою таблицы умножения, с первой ли клеточки начал он проверку, он отвечал бы вам: «В первой клеточке напечатано, что одиножды один – один; тут нечего проверять; и во всем том ряде клеточек, где поставлены цифры, соответствующие умножению на единицу, тоже нечего проверять. В следующих рядах – иное дело: в них проверка необходима. Но ту клеточку, в которой напечатано, что дважды два – четыре, я оставил без проверки: мне уж прошла надобность проверять ее; эту цифру я уж давно выучился знать, без книги; проверка этой цифры сделана мною давно, давно, и повторять проверку ее теперь – было бы глупо мне». – Если бы вы сказали: «Напрасно ты положился на свою память», – правы были ль бы вы?

Осмотрительность необходима. Но и осмотрительности есть разумный предел. Так говорит разум о житейских делах. Разумность сомнения имеет свои пределы и в науке, как в жизни.

Вы пишете письмо, довольно длинное. Вы кончили его. Вы прочитываете его, всматриваясь, не сделали ль какие-нибудь описки; поправляете, какие заметите. Не перечитать ли еще раз? – Если оно длинно, то бесполезно. – Но, быть может, и после второго просмотра остались, и после третьего останутся какие-нибудь не замеченные вами описки? – очень может быть. И хотя бы перечитали двадцать, тридцать раз, все-таки могут остаться ускользнувшими какие-нибудь описки: письмо длинно. Но и не перечитывать же вам его хоть бы десять, не то что тридцать раз. Что ж вы делаете? – Письмо длинно. И, пожалуй, каждое слово в нем важно. Пусть, каждое. Но существенное значение имеют лишь несколько слов. Все остальные, как бы ни были важны, ничтожны перед важностью этих немногих. – И, просмотрев письмо раз, много два, вы всматриваетесь в эти немногие слова, только в эти немногие. Их немного. В них не очень трудно всмотреться очень хорошо. И вы – если вы человек с обыкновенного, – лишь бы с обыкновенного, и того довольно – силою человеческой внимательности, спокойно можете сказать себе: «довольно», и вложить письмо в конверт; вы знаете, хорошо знаете, что в существенных словах нет описки; а если и осталось не замечено вами несколько описок в остальном, длинном, то сущность письма не в этом остальном, хоть оно и велико по количеству строк, и если что-нибудь в этом остальном длинном и ошибочно, нет большой беды в том. Так ли велит разум поступать в житейских делах? И так ли велит он думать о разных степенях сомнительности разных частей их состава? И не говорит ли он, что даже в житейских делах, в которых, по многосложности их состава, не можем мы ручаться за совершенную достоверность всех частей, бывают части совершенно достоверные?

А что, если все письмо состоит из нескольких слов? А что, если только из одного, коротенького? Например, если вы написали письмо, которое все состоит лишь в следующих словах: «Здоров ли ты»? – Трудно будет вам написанное вами рассмотреть так хорошо, что ваш разум решит: описки тут нет, отсутствие описок вполне достоверно? трудно сделать такую хорошую проверку такого короткого письма? – А если вы, сам получив письмо, состоящее из одного вопроса, здоровы ли вы, отвечаете на него письмом, состоящим из одного слова «да», – то очень мудро будет вам вполне изучить написанное вами до такой степени, что не останется для вас возможности сколько-нибудь разумного сомнения в отсутствии описок?

Это о житейских делах. В них разум велит нам быть осмотрительными, но и ставит

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
нашей осмотрительности границы, переходя которые она из разумной
осмотрительности превращается в глупость.

А в делах науки разум разве теряет права, принадлежащие ему в делах жизни?

Не будем говорить о том, допускает ли разум возможность сомнения в математических знаниях, какие мы приобрели. Это – абстрактные знания. Будем говорить лишь о конкретных знаниях, о которых исключительно и думают рассудительные ученые, когда говорят о том, достоверны ли наши знания.

Пока ученый, расположенный восхищаться силою человеческого разума подвергать своему суду все, или, наоборот, расположенный печалиться о слабости наших познавательных способностей, забывает о скромной истине в увлечении эффектными внушениями горячего чувства, ему легко писать безоговорочные тирады о том, что все наши знания могут быть подвергаемы сомнению. Но это будет игра разгоряченной фантазии, а не что-нибудь рассудительное. Лишь начнем хладнокровно пересматривать содержание какой-нибудь области научного знания, – какой бы то ни было, – мы беспрестанно будем находить в ней такие знания, о которых разум образованного человека решает: «в совершенной достоверности этого сведения тебе нельзя сомневаться, не отрекаясь от имени разумного существа».

Возьмем для примера одну из тех наук, в которых примесь недостоверного наиболее велика, – историю.

«Афиняне победили персов при Марафоне» – достоверно это или сомнительно? – «Греки победили персов при Саламине»; «греки победили персов при Платее» – и т. д., и т. д., – возможно ли образованному человеку иметь хотя малейшее сомнение в достоверности этих его знаний, сформулированных этими простыми, краткими словами? – Подробности наших сведений, например, о Марафонской битве, могут и должны быть предметом проверки, и многие из них, кажущиеся очень достоверными, могут оказаться или сомнительными, или неверными. Но сущность знания о Марафонской битве уже давно проверена каждым образованным человеком, проверена его чтением не то что лишь рассказов собственно об этой битве, а всем его чтением, всеми его разговорами, всеми его знаниями о жизни цивилизованного мира, – не прошлой только, но, главное, нынешней жизни цивилизованного мира, – той жизни, в которой фактически участвует он сам. Если б не было Марафонской битвы и если бы не победили в ней афиняне, весь ход истории Греции был бы иной, весь ход всей следующей истории цивилизованного мира был бы иной, и наша нынешняя жизнь была б иная: результат Марафонской битвы – один из очевидных для образованного человека факторов нашей цивилизации.

А к таким крупным фактам примыкают факты, достоверность которых непоколебимо опирается на их достоверность.

И что ж такое оказывается относительно наших исторических знаний? В составе их бесспорно находится много, очень много сведений недостоверных, очень много ошибочных суждений; но есть в их составе такие знания, достоверность которых для каждого образованного человека так непоколебима, что он не может подвергать их сомнению, не отрекаясь от разума.

Разумеется, то, что разум говорит об исторических знаниях, говорит он и о всяких других конкретных знаниях.

Проверены или нет для каждого образованного человека его жизнью в образованном обществе те его знания, что в Англии есть город Лондон, во Франции есть город Париж, в Соединенных Штатах Северной Америки есть город Нью-Йорк, и т. д., и т. д. о сотнях и сотнях городов? В некоторых из них бывал он сам и теперь живет или бывает в каком-нибудь из них. Во множестве других он никогда не бывал; но допускает ли его разум хоть малейшее сомнение в достоверности его знания, что действительно существуют и эти сотни городов, существование которых известно ему лишь по рисункам, книгам, разговорам?

И кончим вопросами: четыре ль ноги у лошади? существуют ли львы и тигры? орлы – птицы это или нет? умеет ли петь соловей? Маленький ребенок может не иметь достоверных ответов на эти вопросы; но в образованном обществе – лишь очень маленький ребенок; десятилетний ребенок, живущий в образованном обществе, не только давным-давно приобрел эти знания, но и давным-давно перерос возможность подвергнуть, не отрекаясь от разума, хоть малейшему сомнению достоверность их.

Разум подвергает проверке все. Но у каждого образованного человека есть множество знаний, которые уж проверены его разумом и оказались по проверке не могущими подлежать для него ни малейшему сомнению, пока он остается человеком здравого рассудка.

Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь
(Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)

Вредно или полезно вредное? – вопрос, как видите, головоломный. Потому ошибиться в выборе между двумя решениями его очень легко.

Этим и объясняется то, что почтенные авторы трактатов, предисловие к которому пишу я, держатся теории благотворности так называемой борьбы за жизнь.

Своим основанием она имеет мысль, блистательную в логическом отношении: «вредное полезно».

В каком отношении к фактам неизбежно должна находиться теория, основанная на нелепости? Выводы из нелепости нелепы; их отношение к фактам – непримиримое противоречие.

Теория благотворности борьбы за жизнь противоречит всем фактам каждого отдела науки, к которому прилагается, и, в частности, с особенною резкостью противоречит всем фактам тех отделов ботаники и зоологии, для которых была придумана и из которых расползлась по наукам о человеческой жизни.

Она противоречит смыслу всех разумных житейских трудов человека, и, в частности, с особенною резкостью противоречит смыслу всех фактов сельского хозяйства, начиная с первых забот дикарей об охране прирученных ими животных от страданий голода и других бедствий и с первых усилий их разрыхлять заостренными палками почву для посева.

Из каких же материалов сплетена эта теория, противоречащая всем житейским и научным знаниям, и каким процессом мышления приплетена к науке? Сведения об этом добродушно сообщил публике составитель ее; с идиллическою наивностью, редкою в наши времена и тем более умилительною, повторяют их многие из почтенных авторов, к трактатам которых пишу я предисловие. В невинности души своей они не подозревают, какую грустную историю жалких недоразумений пересказывают.

К повторяемым ими указаниям учителя их на клочки мыслей, послуживших материалами для сплетения этой теории, я присоединю изложение оставшегося неизвестным или непонятым и для них, как для него, смысла той доктрины, из состава которой вырван лоскут, послуживший основой теории благотворности борьбы за жизнь.

Это учение имеет публицистический характер. Для правильного понимания произведений публицистики надобно знать исторические обстоятельства, при которых возникли они, и политические мотивы, которыми они порождены.

Сто лет тому назад Англией правила аристократия. Она делилась на две партии: консервативную – торийскую и либеральную – вигистскую. Соответственно переменам исторических обстоятельств, большинство в палате общин приобретала и брала власть в свои руки то одна, то другая. По окончании войны с восставшими американскими колониями и с Францией, партия вигов заявляла, что необходимо произвести большие реформы. Торийская партия не видела возможности говорить, что они не нужны; сам вождь ее, Питт, предлагал проекты важных преобразований; тактика ее ограничивалась тем, чтобы затягивать дело. Власть была в ее руках. Поэтому дело затягивалось. В этом прошло несколько лет. Началась французская революция. Резкие речи и кровавые сцены, которыми с самого начала сопровождалась она, привели большинство вигов к мысли, что опасно колебать существующий порядок на родине; оно перешло на сторону тори. В палате общин осталось мало приверженцев реформ; по своей малочисленности они были бессильны. Проекты реформ были отброшены. Но в массе английской публики множество людей сохранили либеральный образ мыслей. Утрата надежды на реформы раздражала их; негодование придавало все более и более радикальный оттенок их мнениям. Коалиция тори и большинство вигов стала опасаться, что они подымут народ на вооруженную борьбу. Чтобы предотвратить это, парламент в 1793 году остановил действие акта Habeas Corpus, то есть уполномочил правительство производить произвольные аресты. В

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
таких делах уполномочение означает повеление. Министерство было бы сменено
палатой общин, если бы не стало действовать беспощадно. Преследования развивали
в либеральной части английского общества склонность к радикализму.

Таково-то было настроение очень значительной части английской публики в 1793
году.

В этом году человек очень сильного ума, великого литературного таланта и вполне
радикального образа мыслей, Уильям Годуин, издал Исследование о политической
справедливости (*Inquiry concerning political justice*), трактат о том, какие
государственные учреждения соответствуют справедливости. Излагая их, Годуин
доказывал, что они благотворны и что несообразные с справедливостью английские
учреждения производят нищету массы народа, пороки и преступления. Это было
ученое исследование; но благодаря таланту автора оно было написано увлекательно.

Впечатление, произведенное им, было громадно.

Публицисты господствующей партии не могли найти никаких дельных возражений
против доводов Годуина. Она, по ходу исторических обстоятельств, продолжала
господствовать в палате общин и править государством. Но ее дело казалось
безвозвратно проигранным перед судом разума и совести.

Под этим гнетом умственного и нравственного поражения она оставалась пять лет.

И вот, наконец, в 1798 году явился на защиту ее владычества боец, сумевший найти
аргументацию, которая отнимала всякое значение у всех доводов Годуина. Этот
победоносный защитник политической системы, отвергавшей всякие реформы, даже
самые легкие и очевидно полезные для государства, был Мальтус; свою сокрушающую
все доводы Годуина аргументацию он изложил в Трактате о принципе размножения
населения (*An Essay on the Principle of Population*).

Понятно, с каким восторгом господствующая партия приветствовала книгу,
доставлявшую полное оправдание ее системе отказа во всяких реформах.

То, что теория Мальтуса составлена с целью опровергнуть доводы Годуина,
оправдать систему отказа во всяких реформах, было забыто экономистами следующего
поколения и редко упоминается нынешними. В обыкновенных изложениях ее
передается только аргументация, служившая Мальтусу подготовкой вывода, а вывод,
в котором вся сущность дела, оставляется без упоминания. Этот вывод тот, какой
был надобен для отнятия силы у доводов Годуина. Защищать английские учреждения
оказалось невозможно; Мальтус рассудил, что защиту отказа в реформах должно
отделить от вопроса о том, хороши или дурны существующие английские учреждения,
что единственная возможность оправдать политику господствующей партии дается
безусловным отрицанием полезности улучшений государственного устройства,
независимо от того, хорошо или дурно оно. Он и приискивал аргументацию, дающую
надобный вывод. Она известна всем. Потому было бы излишним подробно повторять ее
здесь. Достаточно напомнить главные черты ее, чтобы видно было, как получается
из нее безусловное оправдание безусловного отказа в реформах. Сама по себе она
верна; отступление Мальтуса от истины состоит лишь в том, что он взял за
основание своей силлогистики одну сторону дела, отрицая другие стороны его, и не
повел аргументацию дальше того звена ее, к которому удобно было прицепить
надобный ему вывод. Изложив этот вывод, мы возвратимся к тому звену
аргументации, на котором прерывает ее Мальтус, доведем ее до конца и увидим,
какой расчет заставил Мальтуса прервать ее на середине.

Органические существа имеют силу размножаться. Действием этой силы каждый вид
органических существ достигает такой многочисленности, что количество пищи,
какое могут добывать себе эти существа, становится недостаточным для
удовлетворения пропитания всех их. Потому некоторые из них погибают или прямо от
голода, или от болезней, производимых скудостью питания, или от других
последствий недостатка пищи. Уцелевающие существа продолжают размножаться;
потому продолжается и процесс гибели некоторых из них от недостаточности
количества пищи для удовлетворения пропитания всех их. Действию этого закона
природы подлежат все те живые существа, которые называются неразумными. Подлежат
и люди, которые держат себя в деле размножения, как неразумные существа. Так
держит себя масса народа в Англии и в некоторых других странах. В каждой из этих
стран население давно размножилось до такой степени, что количество пищи,
добываемое в ней сельскохозяйственным трудом и получаемое ею из других стран в

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe обмен за другие продукты труда, стало недостаточным для удовлетворительного пропитания всех живущих в ней людей; потому ее население страдает от недостатка пищи и часть его непрерывно погибает от последствий недостатка пропитания, к числу которых принадлежат пороки и преступления; а уцелевающее население продолжает размножаться, потому постоянно вновь возникает излишек населения и продолжается процесс уничтожения этого излишка страданиями нищеты и последствиями их. Итак, причина нищеты и ее последствий, пороков и преступлений, в Англии и подобных ей странах – нерассудительность массы народа в деле размножения. Из этого следует, что в Англии и подобных ей странах нищета и последствия нищеты не могут быть прекращены ничем, кроме замены нерассудительности массы народа в деле размножения рассудительностью. Никакие перемены в политических учреждениях такой страны не могут иметь влияния на судьбу народа в ее экономическом отношении. Как бы дурны ни были учреждения такой страны, нищета и последствия нищеты в ней происходят не от них, а от нерассудительности ее народа в деле размножения, и замена дурных учреждений хорошими не может улучшить судьбу ее народа, пока он остается нерассудителен в деле размножения. Потому в такой стране политические реформы бесполезны. Требования их должны быть отвергаемы, как пустые иллюзии. Напрасного труда, бесполезной ломки не должны предпринимать рассудительные правители.

Ясно, в чем дело: Мальтус думал о тогдашних английских учреждениях одинаково с Годуином: они дурны. Разница лишь в том, что, по мнению Годуина, дурные учреждения должны быть заменены хорошими, а по мнению Мальтуса – должны быть сохранены.

Потому-то аргументация Мальтуса и обрывается на том звене, к которому удобно прицепить желанный вывод: «реформы бесполезны».

Это звено аргументации – мысль, что в странах, подобных Англии, нищета и ее последствия происходят от нерассудительности массы народа в деле размножения. Действительно, нерассудительность в этом деле очень вредна. Но в нем ли одном нерассудительны люди, нерассудительные в нем? Нет; все люди, нерассудительные в этом, нерассудительны и во многих других важных житейских делах. А вредна всякая нерассудительность; всякая ведет к расстройству здоровья или состояния и в важных случаях к гибели от нищеты или ее последствий: болезней, пороков, преступлений. Потому, при исследовании причин нищеты и ее последствий, следовало бы говорить не исключительно о нерассудительности в деле размножения, а вообще о нерассудительности, обо всех ее видах; но это было неудобно для Мальтуса, потому что некоторые виды нерассудительности, как, например, леность, тщеславие, властолюбие, находятся в очевидной зависимости от учреждений, развиваются при дурных, ослабевают при хороших.

Но пусть будет так, как нужно Мальтусу. Предположим, что нищета и ее последствия производятся исключительно нерассудительностью в деле размножения. То, как держит себя человек в данном деле, много зависит от того, как привык он держать себя вообще в житейских делах. Человек, привыкший вообще действовать рассудительно, держит себя в деле размножения рассудительнее, нежели человек, привыкший вообще действовать нерассудительно. Спрашивается: раздражает ли людей испытываемая ими несправедливость? Спрашивается: в каком настроении духа человек действует рассудительнее – в раздраженном или спокойном? Спрашивается: к чему приучает людей несправедливость – к рассудительности или нерассудительности? Итак: несправедливые учреждения, поддерживая или развивая в людях привычку вообще поступать нерассудительно, ведут их к нерассудительности и в деле размножения; потому, даже принимая этот вид нерассудительности за единственную причину нищеты и ее последствий, должно признать, что для устранения нищеты и ее последствий необходима замена несправедливых учреждений справедливыми.

Таким образом, аргументация Мальтуса, будучи доведена до конца, дает в выводе то самое, что говорил Годуин.

Мальтус хотел оправдать политическую систему, которой держалась, с одобрения большинства виггов, торийская партия, правившая Англию. Для этого он выставил один из видов нерассудительности производящим всю ту сумму зла, которая производится суммой действия всех видов нерассудительности, и оборвал свою аргументацию на половине пути к правильному выводу, чтобы подменить его фальшивым. Но в основание этой слишком узкой и не доведенной до конца аргументации он взял верную мысль: когда люди не сдерживают силой разума силу размножения, они размножаются до такой степени, что количество пищи, какое могут

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
добывать они, становится недостаточным для удовлетворительного пропитания всех
их.

Исторические обстоятельства, заставлявшие большинство вигов поддерживать тори, длились много лет. Но, наконец, они миновали. Тогда большинство вигов возвратилось к прежним своим принципам, которым оставалось верно меньшинство. Один из вождей торийской партии, Кэннинг, понял, что она не может сохранить в своих руках власть иначе, как взявшись сама за исполнение реформ, которых требовала грозная своим числом оппозиция вигов, и в 1827 году оттолкнул от власти других вождей торийской партии, не принявших его программу. Через несколько месяцев он умер. Прогнанные им от власти вожди торийской партии, Уэллингтон и Роберт Пиль, снова получили ее; но уж и сами видели, что необходимо производить реформы, чтоб удержать ее за собой. С той поры, с 1828 года, торийская партия постоянно хвалится своею преданностью делу улучшений; без этой похвалы бы ей невозможно добиться власти, и, добившись власти она часто видит себя в необходимости производить реформы. Та политическая система, в защиту которой составил свою теорию Мальтус, безвозвратно рушилась вот уж шестьдесят лет тому теперь.

Еще ранее, чем потеряла свой житейский, политический смысл, утратила теория Мальтуса свое научное значение. Мыслитель великой силы ума, Рикардо, издал в 1817 году свои Основания политической экономии, – труд, пересоздавший эту науку. Своею теорией ренты и своею формулой распределения продукта он раскрыл тот закон экономической жизни, на который смутно, слабо и с примесью фальши указывала теория Мальтуса. С того времени экономистам следовало бы сдать теорию Мальтуса в исторический архив. Но она раньше того наделала такого шума, что у большинства экономистов и до сих пор звенит в ушах от него. Потому она до сих пор излагается в трактатах о политической экономии и благодаря этому известна всем.

Теперь мы можем перейти к рассказу о том, по какому случаю теория Мальтуса, составленная исключительно для решения одного из специальных вопросов политической экономии, была перенесена в ботанику и зоологию, и какой судьбе подверглась она при этом перенесении.

До половины нашего столетия силы исследователей, занимавшихся разработкой ботаники и зоологии, были поглощены трудами по описанию форм растений и животных, внутреннего устройства их, деятельности их органов, развития их из зародыша до полного роста. Это были задачи громадных размеров. Работа над ними не оставляла огромному большинству ботаников и зоологов досуга много заниматься вопросом о происхождении нынешних видов растений и животных. Исследуя настоящие формы организмов, они видели, что эти формы существовали с самого начала наших исторических сведений; по недосугу заниматься специальными исследованиями вопроса об этом постоянстве, форм, они вообще принимали решение, представляющее очевидным для поверхностного взгляда: нынешние виды растений и животных неизменны. В геологических наслоениях, образовавшихся в отдаленные времена, были находимы остатки растений и животных, не сходных с нынешними; естественным выводом из мнения о неизменности нынешних видов была мысль, что прежние, не сходные с ними виды погибли, не оставив потомства в нынешних флоре и фауне. Это казалось тем более достоверным, что подтверждалось геологической теорией, по которой поднятия материков из моря и погружения их в море считались совершавшимися с быстротой, производившею катастрофы колоссального размера; при таких переворотах неизбежно должны были погибать застигаемые ими флоры и фауны.

Это учение, дававшее неизменности видов геологическую основу, создал величайший из натуралистов первой трети нашего столетия, Кювье, основатель сравнительной анатомии, преобразователь зоологической классификации, творец палеонтологии. Он изложил его с гениальной силой мысли в Трактате о переворотах поверхности земного шара и о переменах, произведенных ими в царстве животных, составляющим вступление к его исследованиям об ископаемых костях (*Recherches sur les ossements fossiles*), – труду, которым создана была палеонтология, изданному в 1812 году.

Учение Кювье, доказывающее неизменность видов теорией катастроф, уничтожавших флоры и фауны, не одинаковые с нынешними, очень быстро приобрело владычество в естествознании, отчасти благодаря гениальности своего изложения и громадному авторитету, какой заслужил себе Кювье техническими трудами по зоологии, сравнительной анатомии и палеонтологии, отчасти потому, что общий характер этой системы понятий соответствовал духу времени, стремившемуся восстановить предания

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe и отвергавшему все не согласное с ними. Кювье был в естествознании представителем того направления мыслей, которому желал дать господство в умственной жизни Наполеон и которое получило владычество над нею при Реставрации.

Под влиянием учения Кювье были не только отвергнуты почти всеми натуралистами, но и забыты большинством их всякие мысли о происхождении нынешних видов растений и животных от прежних. Эти мысли существовали издавна. Пока физиология оставалась очень мало разработана, они были неопределенны и фантастичны. С развитием физиологических знаний они освобождались от этих недостатков и, наконец, получили научную обработку в гениальном труде Ламарка Зоологическая философия (*Philosophie zoologique*), изданном в 1809 году, за три года до трактата Кювье Исследования об ископаемых костях. Представитель идей, отвергаемых духом времени, Ламарк был в 1809 году 65-тилетний старик, и через два или три года ослеп. Кювье мог пренебречь им, когда готовил к изданию свой Трактат о переворотах поверхности земного шара, и пренебрег, прошел совершенным молчанием теорию Ламарка, как вздор, не заслуживающий хотя бы самого краткого возражения. С точки зрения выгоды для своего учения, создатель теории катастроф, уничтожавших прежние флоры и фауны, поступил расчетливо; но с точки зрения научного интереса – несправедливо. Допустим, что теория Ламарка была вполне ошибочна. Но он выводил ее из бесспорных истин, которые уже были тогда непоколебимо установлены естествознанием: из понятия об органической жизни, как о химическом процессе; из закона зависимости организма от обстановки его жизни; из закона, что объем и состав органа видоизменяются под влиянием того, действует орган или бездействует. Пусть Ламарк не умел правильно понять эти законы органической жизни; пусть вывод, сделанный им из них, совершенно ложен. Надобно было показать, в чем же состоят его ошибки, – того требовал интерес науки. Но Кювье рассудил, что удобнее будет пройти теорию Ламарка молчанием, подавить ее презрением, чтобы она скорее была забыта. Расчет был верен и достиг полного успеха. Несообразная с духом времени, не понравившаяся огромному большинству натуралистов, теория ослепшего старика была подавлена презрением Кювье и скоро была забыта. Новое поколение натуралистов, воспитавшееся под владычеством идей Кювье, если знало о ней, знало только то, что она – пустое фантазерство, с которым не стоит знакомиться; большинство их, как должно думать по дальнейшему ходу дела, даже вовсе не знало и о ее существовании.

В геологии владычество понятий Кювье длилось лет двадцать или двадцать пять. Несообразность теории катастроф с геологическими фактами была раскрыта Лейеллем в трактате Основания геологии (*Principles of geology*), первый том которого вышел в 1830, а последний – в 1833 году. Пересоздавая геологию, Лейелль доказал, что с того времени, как начали отлагаться древнейшие из наслоений, содержащих в себе отпечатки или остатки растений или животных, поверхность суши не подвергалась никаким катастрофам, которые превосходили бы размерами своего действия нынешние наводнения, землетрясения, извержения огнедышащих гор; что прежние катастрофы точно так же не могли уничтожить органическую жизнь «а материках или больших островах, как не уничтожают ее нынешние, не уступающие им силой и размером; что никакой быстрой гибели прежних флор и фаун не было, что очень многие из прежних видов продолжали существовать, когда некоторые другие заменялись новыми, что смены флор и фаун были, подобно великим геологическим изменениям, процессы медленные, тихие.

Если говорить с научною строгостью, то должно сказать, что этими выводами была уже опровергнута теория неизменности видов, что специалисты по ботанике и зоологии, принимавшие геологическую историю земли, раскрытую Лейеллем, теряли научное право сомневаться в происхождении новых видов от прежних. Но и в научных, как в житейских делах, последовательность образа мыслей приобретает большинство людей не скоро. Как большинство общества, усвоив себе правильные понятия по какому-нибудь житейскому вопросу, довольно долго сохраняет прежние, несообразные с ними мысли по другим житейским делам, так и большинство специалистов, приняв правильное решение какого-нибудь научного вопроса, сохраняет на более или менее долгое время несообразные с ним привычные мнения по другим научным вопросам. В конце тридцатых годов большинство специалистов, занимавшихся науками об органических существах, уже усвоило себе понятия Лейелля о медленном и в общих своих чертах совершенно спокойном ходе геологических изменений со времени существования древнейших известных нам организмов; но лет двадцать после того или продолжало держаться идей Кювье о неизменности видов, или не высказывало своего несогласия с ними по опасению порицания за противоречие им, как за неприличное ученым людям фантазерство.

А между тем, в ботаническом и зоологическом знании накапливались факты, свидетельствующие о генеалогическом родстве между видами. В таких фактах не было недостатка и гораздо раньше, еще во времена Линнея, лет за сто до половины нашего века. Но в последние годы прошлого и в первые десятилетия нынешнего века большинство специалистов отвернулось от них или давало им фальшивое объяснение, подчиняясь духу времени, стремившемуся восстановить предания. Во второй четверти нашего столетия это направление желаний большинства образованного общества стало ослабевать и мало-помалу сменилось противоположным, влияние которого на специалистов по ботанике и зоологии подготавливало соответствующую перемену в их понятиях об отношениях между видами.

И наконец, в 1859 году, через 26 лет после издания последнего тома Оснований геологии Лейелля, разрушивших теорию катастроф, которым приписывалось уничтожение прежних флор и фаун, была напечатана книга Дарвина о происхождении видов, разрушившая соединенную с учением о катастрофах теорию неизменности видов, которой следовало бы рухнуть лет за двадцать перед тем, если бы в мыслях специалистов держалось только то, что имеет какую-нибудь опору, кроме привычки.

То, что книга, которая произвела этот, собственно говоря, запоздавший переворот, была напечатана в 1859 году, а не позднее, было результатом особенного обстоятельства, принудившего ее автора поспешить обнародованием своей теории, которое без того замедлилось бы еще на некоторое время, – по мнению автора, «на два или на три года». Это целая история, заслуживающая большого внимания своею психологическою характерностью и важностью материалов, какие дает для разъяснения особенностей книги, получившей громадное влияние на ход науки. Расскажем ее на основании сведений, сообщаемых о ней самим Дарвином, пополняя их необходимыми биографическими данными.

В 1831 году Дарвин, в то время еще очень молодой человек, только что начинавший свою ученую деятельность, неизвестный никому, кроме своих личных знакомых, был назначен натуралистом ученой экспедиции, отправляемой английским правительством в кругосветное плавание на корабле *Beagle*. Экспедиция отплыла из Англии 27 декабря 1831 г. Дарвину было тогда несколько меньше 23 лет (он родился 12 февраля 1809 г.). Экспедиция делала остановки на восточном, потом на западном берегу Южной Америки, поплыла сделать остановку в пустынном, еще почти нисколько не исследованном натуралистами Галапагосском архипелаге, лежащем в 900 километрах от ближайшей части западного берега Америки. Изучая животных архипелага, Дарвин увидел, что они сходны, но не одинаковы с животными ближайшей части Америки. Он был, по его выражению, «очень удивлен» этим. Раздумье о неожиданном факте возбудило в нем мысль, что галапагосские животные – видоизменившиеся потомки прежних, другие потомки которых – нынешние сходны с галапагосскими животными ближайшей части Америки. Потом он видел такое же отношение других островных фаун и флор к фаунам и флорам ближайших частей материков. *Beagle* возвратился в Англию в начале октября 1836 года. Экспедиция длилась более четырех с половиной лет. Участие в ней молодого натуралиста, отправившегося в «ее безвестным, прославило ее. Сборник наблюдений, привезенный им, сразу поставил его в ряду первых натуралистов того времени. Он сделал множество наблюдений чрезвычайно добросовестных: в числе их были сотни важных. В реестре авторов, цитируемых Лейеллем в новых изданиях Оснований геологии, выходявших между 1845 и 1858 годами, нет ни одного натуралиста, на которого было бы столько ссылок, сколько на Дарвина. Лет шесть по возвращении из экспедиции он занимался обработкой собранных в ней материалов, обогащая фактическую часть естествознания новыми сведениями. Он издал в эти годы Дневник исследований по естественной истории и геологии, сделанных им во время экспедиции, и несколько монографий, важнейшая из которых – Зоология плавания корабля английского королевского флота *Beagle*, последний том ее напечатан в 1843 году. После того он издал несколько других монографий; важнейшая из них – Монография усонюгих, первый том которой вышел в 1851, а второй – в 1853 году; прибавлением к ней служит напечатанное вскоре после второго тома ее исследование об ископаемых усонюгих. Но задолго до издания исследований об этом отделе животных, главным предметом ученой работы Дарвина стал трактат, содержание которого было не монографическое, а широкое, охватывавшее все отделы ботаники, зоологии, палеонтологии и многие отделы других частей естествознания. Мысль о генеалогическом родстве между видами, возбужденная в Дарвине изучением животных Галапагосского архипелага и подтвержденная изучением других островных фаун и флор во время экспедиции, представляла такую громадную важность, что Дарвин не мог отказаться от работы над разъяснением ее даже и в первые годы по возвращении

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe из экспедиции, когда необходимо было трудиться над обработкой фактических сведений, собранных во время путешествия. Он говорит, что с 1837 года занимался «терпеливым собиранием и обдумыванием всяких фактов, о которых можно было полагать, что они имеют какое-нибудь отношение» к вопросу о родстве нынешних видов с прежними. После «пятилетних занятий этим», то есть в 1842 году, когда он кончил безотлагательные работы по описанию фактических результатов наблюдений, сделанных во время экспедиции, и приготовил к печати последний том Зоологии плавания корабля *Beagle*, он «стал больше прежнего» заниматься исследованием о происхождении видов; когда вопрос этот показался ему разъяснившимся, он написал краткий очерк своих понятий о нем, а в 1844 году «придал дальнейшее развитие прежнему очерку и прибавил к нему выводы, оказавшиеся вероятными». «С того времени я непрерывно занимался исследованием этого предмета», – говорит он и продолжает: «Теперь – в ноябре 1859 года, – когда он писал предисловие к первому изданию книги *О происхождении видов*, – мой трактат почти кончен; но так как понадобится еще два или три года, чтобы пополнить его, а мое здоровье не прочно, то меня убедили издать это извлечение из него» – книгу *О происхождении видов*; он постоянно называет ее только извлечением из трактата, который надеется издать года через два или три. «Я увидел тем более надобности в этом, – в составлении и обнародовании извлечения, – что г. Уоллес, изучая естественную историю Малайского архипелага, пришел к выводам о происхождении видов, почти совершенно одинаковым с моими. В 1858 году он прислал мне статью об этом предмете с просьбой передать ее сэру Чарльзу Лейеллю, который передал ее Линнеевскому обществу. Сэр Чарльз Лейелль и доктор Гукер, – Джозеф Гукер, сын Уильяма, и, подобно отцу, знаменитый ботаник, – знавшие мой труд (доктор Гукер даже читал очерк, написанный мною в 1844 году), нашли надобным, в интересах моего имени, чтобы одновременно с статьею г. Уоллеса было обнародовано извлечение из моего труда».

Уоллес был много моложе Дарвина, но размер его ученой силы был уже вполне выказан: он имел в 1858 году 36 лет. Он приобрел почтенную известность прекрасными исследованиями, но, при всей своей добросовестности, они свидетельствовали, что ему никогда не стать первоклассным ученым. Очень вероятно, что соображения об отношении сил и ученых заслуг Дарвина и Уоллеса много содействовали настойчивости, с какой Лейелль и Гукер требовали, чтобы Дарвин не отнял у себя дальнейшим промедлением славу преобразователя наук об органических существах; вероятно, им казалось несправедливостью допустить, чтоб она досталась второстепенному натуралисту, когда на нее имеет право великий натуралист. А во всяком случае несправедливостью было бы это по первенству Дарвина в составлении той теории, к которой пришел Уоллес, изучая животных Малайского архипелага. Он отправился туда в 1854 году; за десять лет перед тем Гукер уже читал изложение той же теории, написанное Дарвином.

Итак, по убеждениям Лейелля и Гукера, Дарвин составил извлечение из своего труда, и в собрании Линнеевского общества, 1 июля 1858 года, была вместе с статьею Уоллеса *О тенденциях разновидностей неопределенно далеко отклоняться от первоначального типа* (*On the tendencies of Varieties to depart indefinitely from the original type*) прочтена статья Дарвина *О тенденции видов образовывать разновидности и об упрочении видов и разновидностей посредством естественного отбора* (*On the tendency of species to form varieties and on the perpetuation of species and varieties by means of Natural selection*); и обе статьи были вместе напечатаны в Журнале Линнеевского Общества. Статья Дарвина далеко превосходила статью Уоллеса силой развития основных мыслей и ученостью. За Уоллесом осталась та маленькая доля славы, которая по справедливости должна была принадлежать ему; превознося Дарвина, преобразователя наук об органических существах, упоминали с уважением об Уоллесе как человеке, самостоятельно пришедшем к теории, одинаковой с дарвинской, и применившем ее к разъяснению довольно многих фактов, о которых мало говорилось или вовсе не упоминалось в статье Дарвина. Свою статью, отданную для прочтения в Линнеевском обществе и напечатанную в его Журнале, Дарвин стал перерабатывать и расширять для издания отдельною книгой; объем ее очень увеличился при этой переработке, длившейся более года. Таким образом составила знаменитая книга *О происхождении видов посредством естественного отбора* (*On the Origin of species by means of Natural selection*), вышедшая в ноябре 1859 года.

Во введении к ней, рассказывая, по какому случаю сделал извлечение из своего трактата для прочтения в Линнеевском обществе, Дарвин говорит, как мы видели, что трактат, извлечение из которого стал делать он, был тогда уже почти кончен, оставалось только пополнить его, и что на это нужно было года два или три, Счет времени относится, очевидно, никак не позже, чем к концу июня 1858 года, потому

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe что речь идет о мотиве, по которому автор решил сделать извлечение из своего труда, а 1 июля оно уже было прочтено в Линнеевском обществе. Но допустим, что это лишь кажется так по вкрадшейся у Дарвина неточности конструкции и что, выражая надежду кончить работу через два – три года, он относил начало этого срока не к тому времени, на которое указывает конструкция слов, а к тому, в которое писал, не к весне 1858 года, когда им было принято решение составить извлечение, а к ноябрю 1859 года, когда кончалось печатание извлечения в новой, расширенной форме. В таком случае, конец трехлетнего срока не весна 1861, как выходит по формальному смыслу слов, а конец 1862 года, как, вероятно, хотел сказать Дарвин. Примем также в соображение, что очень часто авторы рассчитывают кончить работу в срок, оказывающийся недостаточным для этого. Три года работы, чтобы приготовить к напечатанию трактат, который уже «почти кончен», который надобно только «пополнить», – кажется, срок достаточный. Но допустим, что не представляло бы никакой странности, если бы, вместо «двух или трех» лет, понадобилось пять или шесть, и что промедление не заключало бы в себе никаких особенных поводов к соображениям о ходе работы Дарвина, если б она была кончена, например, лет в шесть и трактат явился бы в свет в 1865 году.

Но что мы видим? В 1868 году, – не через шесть, а через девять лет, – Дарвин печатает книгу Об изменении форм животных и растений под хозяйством человека; это разросшаяся в целую книгу первая из четырнадцати глав «извлечения», как продолжает Дарвин называть книгу О происхождении видов и в новых ее изданиях. Вместо трех лет работы на окончание всего труда, бывшего уже «почти конченным», ушло девять лет работы на отделку одной из четырнадцати глав, которая зато и разрослась в особую книгу, превышающую своим объемом все «извлечение», то есть все изложение теории в целом ее составе. Проходит еще три года, и Дарвин в 1871 году печатает книгу О генеалогии человека и о половом отборе. Что это такое? Опять одна глава трактата, разросшаяся в книгу, превышающую своим объемом все изложение целой теории? Нет, теперь Дарвину было уж менее легко, чем прежде, сдерживать разрастание труда в таких границах, чтобы можно было вести обработку целыми главами; трактат о половом отборе – один из десяти отделов 4-й главы первоначального трактата, разросшийся в полтора тома; а прибавленный к нему трактат о генеалогии человека – прибавка, вовсе не входившая в план первоначального трактата. Этим способом и продолжалась работа до самой смерти Дарвина: он обрабатывал маленькие кусочки первоначального трактата, разрастающиеся в особые большие статьи или целые книги, печатал прибавочные исследования, не входившие в план трактата, над обработкой которого трудился; и когда умер (в апреле 1882), через двадцать два года после издания «извлечения» из своего трактата, все обработанные куски, взятые вместе, составляли разве одну десятую долю трактата, который был «уже почти кончен» весной 1858 года и который должен был, по расчету автора, сделанному в ноябре 1859 года, быть доведен весь до готовности к печатанию через два или три года, явиться весь целиком в свет в 1862 году.

Но что ж это такое: трактат, работе над которым не было конца, хотя бы автор прожил еще двадцать или хоть и пятьдесят лет, – труд, начатый в 1837 году, молодым, только еще 28-милетним человеком, казавшийся «почти конченным», через 22 года после того, автору, имевшему тогда 50 лет, и получивший обработку лишь нескольких кусков, едва ли составляющих одну десятую» долю его после работы, длившейся еще двадцать два года, до самой смерти труженика, умершего 73-летним стариком, – что это за труд, разрастающийся и разрастающийся без предела росту, и как мог он разрастаться до такой несообразности с размером продолжительности самой долгой вероятной человеческой жизни?

Факт до такой степени странен, до такой степени противоречит правилам рассудительной человеческой деятельности, что раз поставлен вопрос о нем, невозможно устранить ответа: способ работы, которого держался Дарвин в труде над трактатом о генеалогическом родстве между видами, был непригоден для успешности труда такого рода.

Есть ученые, которые останавливаются на каждом вопросе, представляющемся им при занятиях и затрагивающем их любопытство, не могут оторваться от него, пока не исследуют его. Когда основной предмет занятия маленький, узкий, то и число возбуждаемых им вопросов не очень велико, и труд исследования всех их удобоисполним. Ученые, любящие этот способ работы, пишут обыкновенно ряд монографий. И когда они пишут монографии, работа у них идет хорошо, основательно и вместе успешно. Дарвин любил такой способ работы, и прежде чем обратил все свои силы на труд над трактатом о родстве видов, написал много монографий.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
Благодаря его добросовестности, даровитости, трудолюбию и учености они были превосходны. При своей страсти всматриваться во все попадающееся на глаза, он сделал во время экспедиции корабля Beagle множество точных, прекрасных наблюдений. Дневник их доставил ему славу великого ученого. Он вполне заслужил ее: книга, изданная им, обогатила науку. Но что такое была эта книга? Сборник мелких монографий, ряд наблюдений над отдельными фактами, соединенных между собою только единством лица, делавшего их, и хронологическим порядком, в каком они были записываемы. Потом Дарвин занимался обработкой коллекций, привезенных им. Из этих его работ особенно знаменита зоология плавания корабля Beagle. Она составляет пять томов. Но это не что-нибудь цельное, связное, полное, – это тоже ряд маленьких монографий. Хронологический порядок «дневника» заменен тут распределением по порядку зоологической классификации. Но это не цельный классификационный трактат, а сборник отрывков, каждый из которых – особая монография, и которые отделены одни от других множеством классификационных пробелов: тут описываются не все семейства животных, а только те виды тех родов тех семейств, какие попадались автору во время его путешествия. Отчасти до этого труда, отчасти после него, Дарвин написал много других монографий, напечатанных особыми книгами или статьями. Знаменитейшая из них – Монография об имеющих стеблевидный стерженек и сидячих усонюгих, составляющая два тома. Прибавлением к ней служит исследование об ископаемых усонюгих, напечатанное особою статьей.

Все это было превосходно. Каждая монография исчерпывала, как это называется, предмет, сообщала о нем все сведения, какие могли быть приобретены добросовестнейшим исследованием, разъясняла, насколько могли быть при данном состоянии науки разъяснены все вопросы, порождаемые изучением предмета. Но это были предметы маленькие; вопросы, возбуждаемые и к изучением, были немногочисленны по каждому из них и вообще не широки, в большинстве случаев очень узки. Потому-то и можно было с успехом вести работы о них исчерпывающим способом.

И вот, этот способ работы, удобоприменимый только в монографических трудах, Дарвин применил к трактату о генеалогических отношениях между нынешними и прежними флорами и фаунами, то есть к предмету, охватывающему всю ботанику, всю зоологию, всю палеонтологию и многие другие отрасли естествознания. Исследовать по всем этим наукам всякие вопросы, какие подвернутся под перо, – исследовать каждый из них монографическим, исчерпывающим способом работы – сообразно ли это с числом лет, какие может прожить на свете самый долговечный человек, разумно ли это, и того ли требуют правила научной работы, тождественные с законами рассудка?

Припомним цифры годов, которыми сам Дарвин отметил фазисы своей работы над трактатом о генеалогических отношениях между видами. Работа начата в 1837 году. В 1842 году теория готова, сделан эскиз ее, в 1844 году теория окончательно пополнена, сделаны выводы из основных ее положений. Итак, теоретическая часть работы закончена; остается только подставить под теоретические положения тот фактический материал, из которого извлечены они. Этот материал уже был собран, изучен раньше; он готов. То есть что ж собственно остается сделать? Остается только переписать набело готовую на черновых листах работу. Идет работа переписывания готовой черновой рукописи набело, – идет четырнадцать лет; весной 1858 года настигает автора неожиданная надобность сообщить свою теорию ученому миру – и оказывается, что трактат «почти кончен», понадобится только еще «два или три» года работы, чтобы «пополнить» его. Но ни трех, ни двух лет, ни года, ни полгода отсрочки не дает статья Уоллеса, она требует безотлагательного обнародования теории, изложенной в трактате. А он в настоящем своем виде не может быть обнародован. Почему же не может? Он «почти кончен»; остается только «пополнить» его, то есть, по общепринятому смыслу этого выражения, прибавить разъяснения мелочей, может быть и любопытных, но не имеющих особенной важности; ученый мир охотно подождет их и два, и три года. Итак, надобно отправить трактат в типографию и при чтении корректур делать, где следует, оговорки: «представляю себе право отложить более подробное разъяснение этого вопроса до того времени, когда получу досуг заняться этим; он любопытен, но не имеет важного значения для трактата, издаваемого мною теперь». Ученый мир привык к таким оговоркам; ни один трактат о предмете широкого содержания не обходится без них. Ах, совсем не то! Трактат не может быть напечатан в настоящем своем виде, потому что еще не существует: автору только угодно воображать, будто он существует; трактата нет; на рабочем столе автора громоздится груда черновых бумаг. «Трактат почти кончен», – это, как видим по дальнейшему ходу дела, значит: автор, сделав множество монографических исследований, полагает, что предмет почти исчерпан

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshevi; он полагает это, потому что в настоящее время ему припоминается не очень много вопросов, кажущихся любопытными; он думает, что на исследование их понадобится не очень много времени; при этом он полагает, что ему не представится никаких других любопытных вопросов; до сих пор было не так: в продолжение четырнадцати лет у него непрерывно возникали из одних любопытных вопросов другие, не менее любопытные; но ему в настоящее время кажется, что вперед не будет этого. За фантазией, будто предмет почти исчерпан, следует фантазия, что работа будет кончена в два, много – в три года. Эти слова «два или три года» значат: «Груда монографий, высящаяся на моем рабочем столе, состоит из десятков групп исследований; эти группы имеют теперь связь между собою только в моих мыслях; связи между ними на бумаге нет; я до сих пор не имел досуга изложить на бумаге соотношения между ними. Теперь займусь этим. Очень многие из монографий остались не закончены, потому что меня отвлекало от них желание исследовать другие любопытные вопросы; я закончу их; кроме того, напишу исследования о тех любопытных вопросах, которые еще не исследованы и которые уже последние, за которыми уже не явятся в моих мыслях никакие другие. Я надеюсь, что кончу все это в два или три года».

Итак, через два или три года трактат будет кончен. Но теперь он – груда черновых бумаг, бессвязных, незаконченных отрывков, непригодных для чтения никому, кроме автора. А статья Уоллеса принуждает автора безотлагательно обнародовать теорию, изложенную в трактате. Преведний очерк, сделанный в 1844 году, не годится теперь: четырнадцатилетняя работа превратила его в мелкие лоскутки, разделенные массами монографий, загроможденные ими. Пришлось сделать новый очерк, или, как автор называет эту свою статью, сделать «извлечение» из трактата. Сделав его и напечатав в Журнале Линнеевского Общества, Дарвин стал перерабатывать и расширять для издания отдельною книгой; объем его расширился так, что переработка сделалась книгой в несколько сот страниц. Эта расширенная переработка «извлечения» – та знаменитая книга, которая произвела переворот в науках об органических существах. Автор и в пятом издании ее, вышедшем в 1869 году, все еще называет ее «извлечением» из трактата, над обработкой которого продолжает трудиться и который за десять лет перед тем надеялся кончить в два или три года; он и теперь все еще надеется довести до конца работу над своим трактатом, продолжая ее прежним способом, все еще не видит, что при его способе работы это груд нескончаемый. За год перед тем, после девятилетней работы, он приготовил к печати, издал первую главу своего трактата: Видоизменение животных и растений под хозяйством человека; девять лет работы – и одна глава готова; остается обработать таким же способом только тринадцать глав; и работнику только еще 60 лет; согласитесь, как же ему не надеяться, что он, продолжая работу тем же способом, доведет ее до конца?

Правила научной работы говорят; если ты взял предметом труда что-нибудь очень широкое, многосложное, сосредоточивай все свои силы на разъяснении основных вопросов, не отвлекайся от них ничем, иначе не достанет у тебя ни времени, ни сил заняться ими, как должно. Число вопросов, возбуждаемых работой над предметом широкого содержания, беспредельно велико; они возникают бесчисленными рядами, и каждому из их бесчисленных рядов нет конца. Хвататься за каждый из этих вопросов, который покажется тебе любопытен, значит превращать научный труд в забаву твоего любопытства, в пустую, праздную игру. Разбирай, необходимо ли для решения основной задачи твоего труда исследовать вопрос, показавшийся тебе любопытным, подвергай исследованию только те вопросы, которые необходимо исследовать для этой твоей главной задачи, и исследуй их лишь настолько, насколько это необходимо для нее; все другие вопросы устраняй, как неуместные в твоём трактате; иначе ты растратишь на них свои силы, свое время, запутаешься в непрерывно и бесконечно расширяющемся лабиринте их, а основные вопросы останутся у тебя неисследованными; ты примешь за несомненные истины какие-нибудь случайно подвернувшиеся тебе суждения, которые вообразишь разрешающими их, и станешь подводить все под вообразившиеся тебе аксиомами фальшиво истолкованные твоим недоразумением чужие мысли, истинный смысл которых остался непонятен тебе по твоей неподготовленности понять их или не замечен тобою в торопливости, с какою ты схватился за них и вырвал их из связи системы, определяющей смысл их.

Были ли известны Дарвину эти условия успешности научного труда над предметами широкого содержания? Быть может. Но в «извлечении» из трактата, над которым работал он с 1844 до 1858 года, в знаменитой книге О происхождении видов, нет ни малейшего следа знакомства с этими требованиями науки; по этой книге видно, что его работа была непрерывным нарушением их.

Например, ему представляется вопрос: каким образом попали на острова животные и растения? Рассудительный ответ был бы: «Исследование этого вопроса не относится к предмету моего труда»; замечу только, что дело ясно само собой: геология доказала, что все острова, населенные сухопутными растениями и животными, были частями материков. Если есть, кроме этого общего объяснения, другие, частные, тем лучше. Но мне недосуг теперь искать их; когда буду иметь досуг, может быть, поинтересуюсь приискать их. Но если я когда-нибудь займусь этим, то в другом труде; в настоящем подобные исследования были бы неуместны». Дарвин совершенно чужд мысли, что по правилам научного труда должен отвечать так. Ему воображается, что он обязан исчерпать вопрос, не разбирая, относится ли вопрос к делу. Он придумывает возражения против общеизвестного объяснения; они ничтожны; но он воображает, что они важны; находит общепринятое решение не относящегося к делу вопроса сомнительным, считает себя обязанным приискать другие объяснения. Не заноятся ли семена растений с материков на далекие острова морскими течениями? Зерна скоро тонут в морской воде, не могут заплывать далеко. Но сухое дерево тонет не так скоро. Дарвин опускает в морскую воду высушенные ветки растений с созревшими стручками и другими вместилищами зерен. Но бывает ли подобное этому в природе? Придумав возражение, очевидно пустое, Дарвин приискивает и опровержение: ветер сломит ветку с созревшими стручками или ягодами; она полечит и высохнет, а они еще не отвалились от нее; буря сбросит ее в море, она поплывет... Что это такое? Натуральная история в занимательных рассказах для детей? Нет, это книга о происхождении видов, пересоздающая науку, книга на пятую или десятую долю глубокомысленная, в остальных долях ребяческая, но неизменно добросовестная и переполненная ученостью. Продолжаем чтение, Дарвин держит ветки с созревшими ягодами или стручками в морской воде; через несколько времени вынимает некоторые, сажает зерна, ждет, дадут ли они ростки, еще через несколько времени вынимает другие ветки, и т. д., и т. д., считает: вот такие-то зерна дали ростки через столько-то дней, а такие-то через столько-то; собирает сведения о подобных наблюдениях; считает, сколько дней нужно, чтобы ветки были донесены морским течением к острову за столько-то миль. Этого объяснения мало; надобно искать других. Дарвин добывает морских птиц, моет их лапки, рассматривает грязь, смываемую с лапок; находит в ней семена; считает: вот сколько видов растений могли вырасти на островах из семян, занесенных птицами вместе с грязью лапок. Придумывает возражение: морские птицы из Америки перелетают иногда, гонимые бурей, через океан в Англию; почему не выросли в Англии американские растения из семян, занесенных ими с грязью на лапках? Это потому... Но читайте сами опровержение этого возражения и дальнейшие исследования о не относящемся к делу вопросе, как могли попадать на острова растения и животные. Впрочем, разумеется, по мнению Дарвина, вопрос относится к делу; он даже показывает связь исследований о нем с основной задачей своего труда. Можно найти связь чего угодно с чем угодно, была бы охота связывать. Нет ничего трудного доказать, что исследование о походе Александра Македонского в Бактрию должно входить в описание Лондона: Ньютон провел последние годы жизни в Лондоне, и в Уэстминстерском аббатстве поставлен памятник ему; а одним из предшественников Ньютона был Эратосфен, а Эратосфен жил в Египте при Птолемах, а Птолемаем Египет достался потому, что был завоеван Александром; а если б Александр был разбит в Бактрии, то египтяне при помощи греков выгнали бы македонян из своей земли; потому ясно, что исследование причин успеха похода Александра в Бактрию должно составлять необходимую часть описания Лондона. А сколько времени отняли у Дарвина исследования о ветках, плывущих по морю, и о грязи на лапках птиц?

Другой пример. Под перо Дарвина подвертывается слово «инстинкт». У него возникает вопрос: как развились инстинкты? Ответ, требуемый правилами научной работы, очевиден: «Это вопрос, праздный для человека, все силы которого должны быть сосредоточены на предмете его труда, на разъяснении происхождения видов; инстинкты не служат классификационными признаками; всякие вопросы о них должны быть устраняемы из труда, имеющего целью разъяснить видоизменения форм». Но вопрос о развитии инстинктов любопытен, и Дарвин пускается в исследование его; чем дальше, тем больше любопытного; и в этот вопрос, которым вовсе не имел права заниматься, когда занимался трудом над своим трактатом, Дарвин углубляется так, что исследование о развитии инстинктов разрастается до объема, далеко превосходящего объем его исследования о развитии органов, и образует целую главу в трактате, в котором совершенно неуместно; это седьмая глава трактата; а исследование о развитии органов, одном из важнейших вопросов основного предмета труда, составляет лишь третью долю пятой главы.

Таким-то образом, увлекаясь вопросами, посторонними основному предмету труда, или вдаваясь в мелочи, Дарвин тратил годы за годами в исследованиях, бесполезных

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe для разъяснения коренной задачи, и, подавляемый массой этой ненужной работы, не имел досуга вникнуть с должным вниманием в существенные вопросы своего труда. Наконец он принужден был внешнею необходимостью – статьей Уоллеса – приостановить на время свои нескончаемые блуждания по сторонам, сделать «извлечение» из постоянно разрастающейся груды черновых бумаг, которую считал трактатом о генеалогическом родстве нынешних видов с прежними. Переработав это «извлечение», издав его отдельною книгой, он снова углубился в исследование мелочей, большею частью не относившихся к делу, и, перенося свою работу, по ходу случайных увлечений, с одной части трактата на другую, мало-помалу доводил некоторые второстепенные или совершенно посторонние основному предмету вопросы до такой широкой разработки, что считал их исчерпанными и печатал особыми книгами или статьями эти части своего трактата или прибавки к нему. Перечислим важнейшие из тех, которые были напечатаны в первые шестнадцать лет до издания книги О происхождении видов. Как монографии, они превосходны, подобно прежним его монографиям, и каждая из них много подвигала вперед изучение вопроса, который разрабатывался в ней. Но на общий ход понятий о генеалогических отношениях между видами они не имели ни малейшего влияния; переворот в науке был произведен исключительно «извлечением», напечатанным в Журнале Линнеевского Общества, и расширенною его редакцией, книгой О происхождении видов. Последующие труды, изданные Дарвином, нимало не содействовали замене прежних ошибочных мнений об истории органических существ новыми: кто из натуралистов, державшихся учения о неизменности видов, перешел от нее к учению о генеалогическом родстве их, тот перешел под влиянием книги О происхождении видов; и начинающие натуралисты учились по ней, а не по следующим книгам Дарвина. Потому коснемся этих его монографий лишь для разъяснения способа работы его над трактатом о родстве между видами.

После книги О происхождении видов он издал монографию О разных приспособлениях цветка орхидей для их оплодотворения. Эта часть 5-го отдела 6-й главы трактата. Цветки орхидей устроены так, что пыль тычинок не может быть переносима на рыльца пестиков ветром; ее переносят на лапках, головках, спинках насекомых, залезающие в мужские цветки орхидей сосать сладкий сок, марающиеся в пыли тычинок, потом залезающие в женские цветки тоже сосать сок и марающие пылью тычинок рыльца пестиков. Что же из того для разъяснения вопроса о происхождении видов? Идет исследование. Оказывается, что яркость окраски и большой размер цветка помогает насекомым отыскивать его. Много ли помогает? В этом ли дело? Не гораздо ли заметнее для насекомых запах сладкого сока? Разве не прилетают насекомые сосать его из цветков, не имеющих яркой окраски и очень маленьких? Это крупный факт; Дарвин забывает о нем, увлекшись исследованием мелкого частного случая. Но пусть собственно величина и яркость окраски цветка привлекают насекомых к орхидеям. Что из того? Вот что: те растения семейства орхидей, у которых цветки были побольше и поярче, нежели у других того же вида или того же рода, или семейства, более привлекали к себе насекомых; потому размножение их шло сильнее; они вытесняли растения своего вида или рода, или семейства с меньшими и менее яркими цветками; таким образом, цветки орхидей становились все великолепнее. Это и оказывается, по мнению Дарвина, одним из наиболее ясных и сильных свидетельств в пользу основной мысли его, что развитие организации было производимо действием естественного отбора. Прекрасно; если углубившись в исследование орхидей, забыть обо всех других растениях, то действительно выходит так. А если вспомнить, что существуют растения, у которых оплодотворение происходит способами более простыми, верными, чем перенесение пыли тычинок с мужских цветков на пестики женских насекомыми, то будет ясно, что развитие цветка орхидей не могло быть результатом естественного отбора: если бы ход дела зависел от него, то не могли бы существовать растения с таким устройством цветка, как орхидеи; они были бы вытеснены растениями, оплодотворение которых совершается способами более простыми и верными и у которых поэтому сила размножения несравненно могущественнее. Итак, если забывать крупные факты, то можно объяснять развитие цветков орхидей действием естественного отбора; а если вспомнить крупные факты, то ясно, что самое существование орхидей опровергает мысль о преобладании естественного отбора в процессе развития организации, что ее повышение производится действием каких-то других сил, преодолевающих его действие. Если бы преобладал он, то не могли бы существовать не только в частности орхидеи, но и вообще никакие растения, имеющие организацию выше тех, которые размножаются по способу мхов и грибов.

Мы не имеем под руками отметки в каком году издана монография о вьющихся растениях, кажется, после исследования об оплодотворении орхидей и раньше исследования о видоизменении животных и растений под хозяйством человека; если

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
наше воспоминание об этом ошибочно, то оно вводит нас в отступление от
хронологического порядка, который желали бы мы соблюсти. Переходим к делу.

Движения и привычки (habits) вьющихся растений – часть 4-го отдела 6-й главы трактата. Свойство растения быть вьющимся не служит классификационным признаком; потому исследование о свойстве некоторых растений быть вьющимися было напрасною тратой времени для человека, трудившегося над разъяснением генеалогических отношений между видами.

Монография об оплодотворении орхидей была напечатана в 1862 году; в 1868 году явилось исследование, превосходящее своим объемом книгу О происхождении видов.

Видоизменение животных и растений под хозяйством человека (under domestication) – это первая глава трактата. Дарвин полагал, что эта книга даст его теории основание более прочное, чем какое могло быть дано кратким изложением первой главы трактата в книге О происхождении видов. Ему казалось, что важность дела в подробностях, которые сообщает он теперь, что они убедят в изменчивости видов значительную часть натуралистов, оставшихся при прежних понятиях после издания книги О происхождении видов. Ровно никакого действия в этом смысле не произвела книга о видоизменении домашних животных и культурных растений. И ожидание, что она убедит кого-нибудь из не убедившихся «извлечением», как называл Дарвин книгу О происхождении видов, было только наивностью человека, придававшего чрезмерную важность мелочам. Всё сколько-нибудь важное для людей, умеющих различать важное от мелочей, было уже сообщено в «извлечении» из этой части трактата. В полном ее изложении были прибавлены тысячи подробностей, драгоценных для разъяснения мелких вопросов; но эти прибавки имеют только техническую важность: никакого влияния на образ мыслей по вопросу об изменчивости или неизменности, видов они не могли иметь. Кого карта Англии не убеждает в том, что Темза течет с запада на восток и впадает в Немецкое море, того не убедит в этом топографическая карта берегов Темзы; эта карта имеет очень большое значение, но только техническое; общие понятия о течении Темзы нисколько не зависят от тех подробностей, которые прибавляет она к очерку Темзы, даваемому общео картой Англии. Дарвин, по своему пристрастию к монографическому исчерпыванию вопросов, постоянно забывал, что мелочи – это не более как мелочи, что крупные вопросы решаются на основании немногих, существенно важных фактов или широких идей, и никакие тысячи мелочей не могут иметь никакого заметного веса при взвешивании аргументов по крупным вопросам. Ошибочная надежда Дарвина, что подробная разработка первой главы его трактата убедит кого-нибудь из тех, кого не убедила первая глава «извлечения», – лишь наивность простодушного человека. Но он сделал громадную научную ошибку, взяв за основание своих соображений о характере действия естественного отбора те результаты, какие производит хозяйственный отбор, делаемый человеком. Хозяин стада, убивая худших животных, не подвергает сберегаемых им лучших тому процессу, которым убивает худших. Если, например, он бьет обухом по лбу тех коров, которых убивает, он не наносит таких же ударов обуха по лбу тем коровам, которых сохраняет. Естественный отбор подвергает каждое животное стада газелей тому процессу, результатом которого оказывается смерть некоторых из них. Самая обыкновенная форма естественного отбора – вымирание излишних существ от недостатка пищи; одни ли умирающие существа подвергаются в этом случае голоду? Нет, все. Так ли поступает хозяин с своим стадом? Улучшалось ли бы его стадо, если б он сдерживал размножение, подвергая всех животных голоду? Переживающие животные слабели бы, портились бы, стадо ухудшалось бы.

В 1871 году Дарвин издал соединенными в одной книге два исследования: о половом отборе и о генеалогии человека.

Исследование о половом отборе – это 2-й отдел 4-й главы трактата. Ставя главною причиною замены прежних видов новыми естественный отбор, Дарвин принимал, как одну из второстепенных видоизменяющих организмы сил, половой отбор. О действии этой силы ему не следовало бы говорить много, потому что сам он считал ее влияние второстепенным. А между тем, исследование о ней разрослось у него до такой степени, что превзошло объемом книгу О происхождении видов, в которой оно составляло лишь один и притом самый меньший по объему отдел из десяти отделов одной главы, с прибавлением некоторых замечаний в одном, тоже маленьком, из одиннадцати отделов другой главы (глава 5, отдел 9: вторичные половые отличия изменчивы). С какою целью исследовал Дарвин действие полового отбора? Хотел ли он сделать полное систематическое обозрение производимых этим отбором так называемых вторичных половых различий по всем классам, семействам, родам и видам животных? Это был бы громадный каталог, вроде так называемых *Genera et species*

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe animalium. Нет, ничего подобного он не хотел сделать, потому что знал: такая работа возможна только как свод частных каталогов отдельных классов животных; а каталогов этих еще не было тогда ни одного (кажется, и теперь еще нет). Предпринимая свое исследование, Дарвин имел цель совершенно разумную, удободостижимую без такой работы, длинна которой превышала бы сравнительную маловажность предмета в его системе понятий о причинах изменения форм. Он хотел только показать, что существует половой отбор и что в некоторых случаях действие этой силы производит довольно значительные результаты. Для этого было бы достаточно привести несколько примеров наиболее крупных и ясных. Он приписывает действию полового отбора, например, развитие рогов у самцов некоторых млекопитающих, развитие клыков у некоторых других, развитие яркой окраски и украшающих форм перьев у самцов некоторых птиц. И достаточно было бы для подтверждения этих мыслей напомнить о рогах оленей, клыках слонов, перьях хвоста павлина. Работа могла бы быть кончена в несколько дней, если не в несколько часов. Но – предмет любопытен, и Дарвин завлекся далеко-далеко за пределы того, чем должен был бы ограничиться по норме, даваемой собственными его понятиями о сравнительной маловажности предмета в системе разъяснений родства нынешних видов с прежними. Он анализирует половые (собственно так называемые вторичные, не относящиеся к органам размножения) различия множества животных разных классов, начиная с довольно низких. Его привлекают особенно те случаи, в которых наиболее трудно разобрать способ действия полового отбора; это коллекция курьезов, подобная тем, какие собирают любители редкостей. Труда и времени потрачено в сто раз больше, чем было нужно; а полного, цельного обзора все-таки не вышло. Впоследствии кто-нибудь, начав составлять его, вероятно, найдет в исследовании Дарвина много материалов, полезных для своего труда; но с точки зрения надобностей теории самого Дарвина, масса работы над исследованием половых различий потрачена совершенно напрасно. И к каким половым особенностям относятся те лоскуты обзора, на которые Дарвин употребил наибольшее количество своего напрасного труда? К различиям окраски, то есть к тем, которые заслуживают наименьшего внимания в трактате, имеющем целью разъяснить происхождение видов, различий между органическими существами по формам устройства. Напомним один пример. Павлин отличается от павы разными украшениями, из которых самое эффектное – длинный хвост, развертывающийся вертикальным веером с великолепным ободом, образуемым яркою разноцветною окраской концов перьев. Ясно, что приобретение такого хвоста павлином имело главными своими причинами какое-то усиление деятельности желез, питающих перья хвоста, и какое-то физиологическое изменение питания опушки концов перьев; от этих причин перья удлинились и получили густоту опушки, яркость ее окраски. Очень большую важность имело также то изменение мускулов, управляющих движениями хвоста, которое дало павлину возможность развертывать хвост вертикальным веером: развернутый, он производит гораздо больше эффекта, чем не развернутый. На вопросы об этих изменениях желез, мускулов и питания концевой опушки перьев и следовало обратить наибольшее внимание. Но они не интересуют Дарвина; он бьется исключительно над вопросом, как из двух боковых пятен конца опушки образовалось одно центральное. Хорошо, пусть этот, сравнительно ничтожный, вопрос интереснее всех важных. Но прежде чем вдаваться в исследование о том, как произвел половой отбор слияние двух боковых пятен в одно, следовало рассмотреть предварительный вопрос: возможно ли считать это слияние результатом полового отбора? Разве те два пятна производили менее эффектное впечатление на паву, чем нынешнее одно? Разве от их слияния в него обод хвоста павлина стал великолепнее? Окраска их была, по мнению самого Дарвина, точно такая же яркая, и распределение ярких цветов в ней было точно такое же, как в нынешнем пятне; а сумма их площадей была больше площади нынешнего пятна: при слиянии их в него срезались очень большие сегменты тех сторон, которыми они были обращены к средней линии длины пера; потому обод веера при раздельности боковых пятен был великолепнее, чем стал по слиянии их; так выходит, если брать за достоверные факты те понятия об окраске и величине боковых пятен, на которых основывает свое исследование Дарвин; следовательно, с его собственной точки зрения должно было бы решить, что слияние двух боковых пятен в одно не могло быть произведено половым отбором, что его произвела какая-то другая сила, перемещавшая окраску по направлению к корням концевой опушки пера, какая-то перемена в питании опушки, действовавшая независимо от полового отбора и наперекор ему. В обе эти ошибки беспрестанно вводит Дарвина его увлечение исследованием мелочей: из-за мелочей он забывает факты более крупные и, углубляясь в придумывание, каким способом данная сила произвела данный результат, он постоянно забывает рассмотреть предварительный вопрос о том, возможно ли приписывать действию этой силы произведение этого результата, не противоположен ли характер этого результата характеру ее, не следует ли поэтому решить, что он произведен действием какой-нибудь другой силы, отбросить

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
приискивание объяснения, которое по необходимости будет фальшивым, и заняться
исследованием, какая другая сила произвела данный результат?

Исследование о генеалогии человека, изданное вместе с исследованием о половом отборе, – прибавка к тому трактату, извлечение из которого составляет книга О происхождении видов. В ней нет ни малейшего упоминания о том, должно ли, по мнению автора, применять к человеку его понятия о родстве нынешних органических существ с прежними, или не должно. Простяк хотел поступить хитро. И схитрил, как умеют хитрить простяки. Все те, обмануть кого хотел он своим молчанием, подняли гвалт при появлении книги О происхождении видов, все в один голос закричали, что он производит человека от обезьяны. Он принялся горячо уверять, что не мог иметь такой мысли, что она по его мнению, нелепа. Никто из кричавших не поверил опечаленному добряку. Все оставили за ним мысль, от которой отрекался он, как от нелепости, никогда не приходившей в голову ему. В тысячу раз было бы ему легче, если б он прямо и вполне высказал в книге О происхождении видов свои понятия о генеалогии человека. Но говорить об этом не входило в план трактата, извлечением из которого была она. Увидев, что хитрость ввела его в беду, и ободрившись примером других натуралистов, высказавших свои понятия об отношениях человека к прежним существам подобной организации, он написал исследование о предмете, которого не хотел касаться, когда составлял план своего трактата. Человек менее наивный знал бы с самого начала, что неизбежно решиться на одно из двух: или, составляя план трактата о генеалогическом родстве нынешних органических существ с прежними, ввести в него исследование генеалогии человека, или отбросить саму мысль о таком трактате.

В 1872 году Дарвин напечатал исследование о выражении чувств у человека и животных, а в 1875 году исследование о насекомоядных растениях. Оба они относятся ко второму отделу пятой главы трактата, говорящему об употреблении и неупотреблении органов. Но не только в первом издании «извлечения», даже и в пятом, вышедшем в 1869 году, нет еще ни одного слова, соответствующего им, то есть не только в 1859 году, но и в 1869 году Дарвин еще не предвидел, что найдет надобным «пополнить» свой трактат этими исследованиями. И действительно, мудро было предусмотреть, что случится так. Насекомоядность некоторых растений не принадлежит к числу классификационных признаков их. О переменах в выражении лица или в состоянии мускулов других частей тела при порывах чувства нечего и говорить, причисляются ли они к видовым отличиям. Потому исследования об этих предметах – работы совершенно неуместные в труде, имеющем целью разъяснить отношения между видами. И, в особенности, следовало ли тратить время на эти ненужные исследования человеку, трудящемуся над своим трактатом уже десятки лет, «е успешему подвинуться в обработке его дальше первой главы и уже имеющему больше шестидесяти лет от роду? Кажется, он имел бы надобность помнить, что ему должно дорожить временем, не терять месяцев за месяцами, годов за годами на блуждания по сторонам от основного предмета труда. Но подвернулись неуместные вопросы, показались любопытными и отвлекли труженика от предмета его работы; впрочем, нет, не отвлекли: он доказывает, что исследованиями о них разъясняется родство между видами. Что ж, разумеется, можно приплетать что угодно к чему угодно, было бы желание.

На 1875 году мы остановимся, потому что не имеем под руками хронологического списка частей трактата, изданных Дарвином в последующие годы. Это жаль. Но и обзор тех частей, которые были изданы им в первые шестнадцать лет по окончании книги О происхождении видов, достаточно показывает, как успешно и систематично шла у неутомимого труженика обработка основных его понятий о родстве между видами.

Он обработал первую главу трактата, служащую предисловием к изложению его теории. На этом и остановилась систематическая обработка трактата. После того, то есть с 1868 года до конца жизни, он уж только блуждал по лабиринту черновых бумаг, масса которых все разрасталась и становилась все хаотичнее; от времени до времени он останавливался над какой-нибудь группой этих бумаг и обрабатывал какой-нибудь кусок трактата, относившийся к вопросу или мелочному, или постороннему основной задаче, издавал этот кусок, не имеющий связи ни с теми, которые были изданы раньше, ни с тем, к обработке которого переходил он.

Теория должна была излагаться во второй, третьей и четвертой главах трактата. Глава вторая предназначена была для исследования перемен форм растений и животных в естественном их состоянии, независимо от человека; она должна была служить подготовкой к изложению существеннейших частей теории, к разрешению

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
вопроса о том, какая сила произвела развитие органических форм; решение этого
вопроса должно было составлять содержание главы третьей (имевшей своим
заглавием: Борьба за жизнь) и главы четвертой (заглавие которой было;
Естественный отбор, результат борьбы за жизнь). Из двадцати двух отделов этих
трех глав Дарвин успел до конца жизни обработать только один отдел, именно
второй отдел четвертой главы, излагающий учение о половом отборе, – один отдел
из двадцати двух, и притом отдел, посвященный изложению действий не борьбы за
жизнь, а другой силы – силы соперничества между самцами за обладание самкой или
между самками за обладание самцом. Из учения о борьбе за жизнь, действия которой
составляют, по теории Дарвина, основной элемент истории развития органических
форм, и о производимом ею естественном отборе, об этой существеннейшей черте его
теории, бедный труженик не успел обработать ни одного кусочка до самой своей
смерти. Он умер, – припомним цифры, – он умер в 1882 году, теория была готова у
него в 1844 году. Работа, неутомимо веденная тридцать восемь лет, ушла на
исследования или мелочные, или посторонние предмету труда, так что в продолжение
тридцати восьми лет ни одно из коренных положений теории не могло быть
подвергнуто автором внимательному разбору, по недостатку времени, и пришедшие на
мысль ему при начале труда решения основных вопросов остались непроверенными.

Тридцать восемь лет напрасной траты сил на блуждания по сторонам от основного
предмета труда – история науки едва ли представляет другой пример такого
нарушения правил научной работы.

А между тем, принято превозносить похвалами способ работы Дарвина над его
трактатом. Источник их – то, что эта нескончаемая, безрассудная работа имеет
качество очень эффективное. Много содействуют горячности их и нравственные
достоинства автора, отражающиеся в его работе: неутомимое трудолюбие,
безусловная добросовестность, искреннейшая скромность, доброжелательнейшая
готовность признавать чужие заслуги, отдавать полную справедливость трудам
соперников, кротость незлобивой души, непоколебимая никакими нападениями врагов;
эти прекрасные черты человека возбуждают во всяком честном человеке уважение к
его труду. Но существенная причина похвал его способу работы все-таки не
нравственные достоинства ее, а то, что результат ее очень эффектен: набирая и
набирая подробности за подробностями и анализируя всяческие мелочи, Дарвин
подавляет массой учености мысль человека, не умеющего или забывающего
рассматривать, к какому разряду знаний принадлежат материалы, из которых одних
сложены все груды учености, производящие эффект своими размерами, по каким
нормам производятся анализы и какими особенностями отличается ум, громоздящий
эти груды, производящий эти анализы.

С качествами очень доброго, безусловно честного, чрезвычайно благородного
человека в Дарвине соединялись некоторые из качеств великого ученого: сильный
ум, громадный запас знаний и при всей его громадности, не ослабевающее до конца
жизни влечение увеличивать его, учиться и учиться. Но мы видели, что этот ум,
хотя и сильный, имел склонности, несовместные с успешностью работы над
разъяснением широких, многосложных вопросов: он с неудержимой страстью вдавался
в исследования или мелочные, или посторонние основному предмету труда,
нескончаемо тратил время на собиранье длинных перечней, не прибавляющих ничего к
разъяснению, даваемому немногими примерами, на разработку вопросов, не
относящихся к делу; теряясь в массах мелочей и в далеких блужданиях от предмета,
он упускал из вида крупные факты, не имел досуга исследовать существенные
вопросы. Была в уме Дарвина и другая особенность, несовместная с успешностью
труда над разъяснением законов жизни, многосложных и запутанных: ребяческая
наивность. Нормы, по которым Дарвин производил анализы фактов жизни, были клочки
оптимической философии в популярной переделке, подводящей всякие факты без
всякого исключения под простонародную поговорку: «все на свете к лучшему». Человек,
руководящийся в своих суждениях подобными мыслями, не имеет научной
подготовки к пониманию законов жизни, какова бы ни была обширность его
специальных сведений. Но и в запасе специальных знаний были у Дарвина пробелы, о
пополнении которых он не заботился, не догадываясь, по своей наивности, что,
кроме сведений, надобных для монографических исследований, существует другой
разряд специальных знаний, в которых нет необходимости монографисту, но без
которых невозможно основательное исследование вопросов очень широких. Мы увидим
эти пробелы, обратив внимание на некоторые черты его рассказа о том, как
возникла у негр мысль об изменчивости, видов, и о том, как искал он разъяснения
истории изменений форм организмов.

Натуралист, правда, еще очень молодой, конечно, еще не успевший приобрести

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
такого количества специальных знаний, какое имеют первоклассные ученые в 35 или 40 лет, но все-таки натуралист и, притом, уже способный обогатить науку превосходными наблюдениями и очень основательными выводами из них, – следовательно, уже имеющий очень много специальных знаний, плывет из Англии к восточному берегу Южной Америки, посещает его в нескольких местах, делая наблюдения и, между прочим, изучая животных, делает потом такие же наблюдения по западному берегу Южной Америки, приплывает, наконец, к Галапагосскому архипелагу и «удивляется», даже не просто, а «очень удивляется», увидев, что животные этого архипелага похожи на животных ближайшего берега Южной Америки, но не одинаковы с ними. Как же возможно было, чтоб он удивился этому? Предположим наибольшую правдоподобную скудость запаса специальных знаний у него; все-таки странно, что в его знаниях мог быть пробел, оставивший место удивлению при виде того, что он увидел. Правда, зоологическая география была тогда разработана гораздо меньше, чем теперь; но все-таки общеизвестным фактом было уже и тогда то, что фауны островов, лежащих далеко от континентов, обыкновенно состоят из видов сходных, но не одинаковых с видами ближайших частей континентов. И мало того, что он «очень удивился» тогда; через двадцать пять лет он, уже давно ставший первоклассным натуралистом, рассказывая во «Введении» к книге о происхождении видов этот факт, не находит в нем ничего странного. То же самое неведение о его странности остается и еще через десять лет, в пятом «здании» книги. Как понять это неведение? Очевидно, что мысли Дарвина о том, какие знания нужны натуралисту, оставались односторонними и в 1859, и в 1869 году, как были односторонними его заботы о приобретении знаний до отплытия из Англии в конце 1831 года: он дорожил только сведениями, надобными монографисту; плохое знакомство с отделами сведений, относящимися к широким фактам, продолжало казаться ему не странным, потому что оставалось у него плохим, и он даже не замечал, что оно остается плохим, считая этот отдел знаний маловажным.

Неожиданный факт, удививший молодого натуралиста на Галапагосских островах, привел его к мысли, что животные этого архипелага – видоизмененные потомки предков, другие потомки которых, вероятно, тоже видоизменившиеся, живут в ближайшей части Южной Америки. Мысль правильная. Но опять странный пробел в знаниях: молодому натуралисту не припомнилось, что были великие натуралисты, говорившие о генеалогическом родстве между видами. Как мог он уехать из Англии, не зная этого? Хорошо; не знал, то не знал. Допустим, что он, предполагавший быть монографистом, был прав, считая ненужным знакомиться с трудами натуралистов, устаревшими в своих мелочных подробностях, потому непригодными для монографией, пособиями для которого должны служить новейшие книги. Но вот он возвратился в Англию и, хоть принужденный работать, главным образом, над приготовлением к печати фактических результатов своего путешествия, трудится и над разъяснением своей мысли о генеалогическом родстве между видами. Это уже не монографическая задача. Одно из основных правил научной работы говорит, что человеку, желающему сформировать себе правильные понятия по очень широкому вопросу, по которому современные специалисты имеют ошибочные мнения, необходимо навести справки о мнениях прежних великих специалистов; но это правило научной работы над разъяснением широких вопросов неизвестно молодому – теперь, впрочем, уже не очень молодому, двадцативосьмилетнему – натуралисту, задумавшему пересоздать науку об органических существах. Он не знает, что ему следует навести справки о мнениях прежних великих натуралистов, мысли которых о родстве между видами называли не заслуживающими внимания учителя его, ученики Кювье. Он пришел к убеждению, что теория неизменности видов, изложенная Кювье, ошибочна; и он не догадывается, что для него, противника Кювье, не должны быть авторитетными отзывы учеников Кювье о мыслях натуралистов, противник которых был Кювье. Он продолжает верить своим учителям, что мысли этих натуралистов о родстве между видами не заслуживают внимания, и, год за год, работает над приискыванием объяснения изменений форм организмов, не догадываясь, что не мешало бы ему справиться о мнениях прежних трансформистов. Он не находит объяснения, бродит в потемках. И вдруг – о, радость – объяснение нашлось. Оно нашлось – о, чудо из чудес! – в трактате о политической экономии, – в трактате, написанном с целью оправдать торийское министерство, при поддержке большинства вигов отвергающее проекты политических реформ, предлагаемые меньшинством вигов. Как возможно было сделать в книге подобного содержания находку, надобную для пересоздания науки об отношениях между розой, сосной и мхом, между слоном, орлом и сельдью? Случай удивительный по своей несообразности с правилами здравого смысла, но, помимо этого своего свойства, очень простой, совершенно натуральный. Если человек, желающий стать живописцем, не знает, что учиться живописи надобно у живописцев, то в своих поисках учителя он, зашедши к столяру, научится живописи у этого мастера: столяр не живописец, это правда; но умеет чертить карандашом фигуры

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshev
стульев и столов; он научит этому; что ж, и то хорошо. Разве ж это не живопись?

Итак, пересоздавать естествознание надобно на основании политического памфлета. Прекрасно. Но если уж пришлось заимствовать у Мальтуса теорию, объясняющую изменения форм растений и животных, то следовало, по крайней мере, вникнуть в смысл учения Мальтуса. Дарвин не позаботился и об этом. Он не догадался разобрать, какой смысл имеет у Мальтуса мысль, озарившая его, утомленного блужданием в темноте. Если бы он правильно понял восхитившую его мысль учителя, – теория, построенная на ней, была бы ошибочна только тем, что приписывала бы преобладающее влияние на ход изменений органических форм действию силы, имеющей лишь второстепенное значение в этом отношении, оставляла бы без внимания другие силы, влияние которых на изменение форм организмов гораздо могущественнее; она давала бы слишком узкое объяснение фактам, но не искажала бы охватываемую ею (маленькую долю истины прибавкой лжи, примешанной к ней по недоразумению. Вышло иначе. В восторге от внезапного озарения ума, Дарвин вырвал из аргументации Мальтуса очаровавшую его мысль, не потрудившись рассмотреть мыслей, с которыми она соединена у его учителя и которыми определяется ее смысл. Он предположил в ней смысл, соответствующий его привычным понятиям о вещах, не догадываясь, что этот смысл несообразен с понятиями его учителя, и построил на фальшивом понятии обрывке публицистической защиты торийского министерства, подерживаемого большинством вигов, теорию развития органической природы. Таков источник теории благотворности борьбы за жизнь; он – грубое недоразумение.

Мальтус говорит, что каждый вид органических существ имеет силу размножаться; что по действию этой силы количество существ каждого вида становится и остается превышающим количество пищи, находимой этими существами; что потому некоторые из них подвергаются голоду и погибают или прямо от него, или от болезней и других бедствий, производимых им.

Все это правда. Но для чего Мальтус выставляет ее на вид? Он хочет показать, от чего происходят бедствия, которым подвергаются люди, когда чрезмерно размножаются, и показывает, что в этом случае причина их бедствий – чрезмерное размножение: они размножаются, как неразумные существа, и подвергаются бедствиям, каким подвергаются через свое размножение неразумные животные. О чем же говорит Мальтус? О бедствиях и причине бедствий. Что такое, по его понятиям, бедствия? Они, по его понятиям, бедствия, и только; зло, и только. Видит ли он что-нибудь хорошее в причине бедствий, о которой говорит, в чрезмерности размножения? Ничего хорошего в ней он не видит: она – причина бедствий, и только; причина зла, и только.

Так это по Мальтусу. И на самом деле так. Он не прав лишь тем, что производит все бедствия от одной причины – от чрезмерности размножения; есть и другие причины их, совершенно различные от нее; они есть не только у людей, но и у разумных животных и у растений. Например, когда молодые сухопутные млекопитающие, играя, забудут смотреть себе под ноги, забегут в болото и утонут, или когда буря ломает дерево: – это бедствия, происходящие от причин, не имеющих ничего общего ни с недостатком пищи, ни с чрезмерностью размножения. Но в том, что чрезмерное размножение производит только бедствия и что бедствия – это бедствия, и только бедствия, Мальтус прав, по свидетельству физиологии животных и растений и прикладных ее наук, патологии и терапии их.

Итак, по Мальтусу, бедствия, производимые чрезмерностью размножения, – бедствия, и только, зло, и только, и причина, производящая их, чрезмерность размножения – причина бедствий, и только, причина зла, и только. Но Дарвин не был подготовлен к пониманию такого взгляда на вещи; у него даже не было предположения, что такой взгляд на вещи возможен, потому что привычные ему понятия о вещах были совершенно иные и были привычны ему до такой степени, что казались единственно возможными. Эти понятия о вещах, казавшиеся ему единственно возможными, были те, по которым бедствия считаются не бедствиями, а благами, или, в случаях крайнего неудобства признавать их благами, считаются источниками благ. Такой способ понимать вещи называется оптимистическим. Держась этого образа мыслей и не предполагая возможности иного, Дарвин был убежден, что Мальтус думает о бедствиях подобно ему, считает их или благами, или источниками благ. Те бедствия, о которых говорит Мальтус, – голод, болезни и производимые голодом драки из-за пищи, убийства, совершаемые для утоления голода, смерть от голода, – сами по себе, очевидно, не блага для подвергающихся им; а так как они очевидно, не блага, то из этого, по понятиям Дарвина, следовало, что их должно считать источниками благ. Таким образом у него вышло, что бедствия, о которых говорит

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
Мальтус, должны производить хорошие результаты, а коренная причина этих бедствий, чрезмерность размножения, должна считаться коренной причиной всего хорошего в истории органических существ, источником совершенствования организации, тою силой, которая произвела из одноклеточных организмов такие растения, как роза, липа и дуб, таких животных, как ласточка, лебедь и орел, лев, слон и горилла. На основании такой удачной догадки относительно смысла заимствованной у Мальтуса мысли (построилась в фантазии Дарвина теория благодетельности борьбы за жизнь. Существенные черты ее таковы. История органических существ объясняется мыслью Мальтуса, что они, чрезмерно размножаясь, подвергаются недостатку пищи и часть их погибает или от голода, или от его последствий, из которых особенно важны в этом отношении два: борьба за пищу между существами, живущими одинаковою пищей, и борьба между двумя разрядами существ, пожираемыми и пожирающими; совокупность фактов, производимых голодом и его последствиями, мы будем называть борьбою за жизнь, а результат борьбы за жизнь, то есть гибель существ, не способных выдержать эту борьбу, и сохранение жизни только существами, способными выносить ее, будем называть естественным отбором; сравнивая прежние флоры и фауны между собою и с нынешними флорой и фауной, мы видим, что некогда существовали только растения и животные низкой организации, что растения и животные высокой организации возникли позднее и что совершенствование организации шло постепенно, а соображая данные сравнительной анатомии и эмбриологии, находим, что все растения и животные, имеющие организацию более высокую, чем одноклеточные организмы, произошли от одноклеточных организмов; а так как коренная причина изменений органических форм – борьба за жизнь и естественный отбор, то: причина совершенствования организации, источник прогресса органической жизни – борьба за жизнь, то есть голод и другие производимые им бедствия, а способ, которым производит она совершенствование организации, – естественный отбор, то есть страдание и гибель.

И эту теорию, достойную Торквемады, сочинил добряк, покинувший изучение медицины по неспособности выносить вид операций в хирургической клинике, где приняты все меры для смягчения страданий оперируемого. Мальчики, растущие в обществе людей, загрубевших от бедности, то есть главным образом от недостатка пищи, – грубые, невежественные, злые мальчики, когда мучат мышонка, не думают, что действуют на пользу мышам; а Дарвин учит думать это. Изволите видеть: мыши бегают от этих мальчиков; благодаря тому в мышах развиваются быстрота и ловкость движений, развиваются мускулы, развивается энергия дыхания, совершенствуется вся организация. Да, злые мальчики, кошки, коршуны, совы – благодетели и благодетельницы мышей. Полно, так ли? Такое бегание полезно ли для развития мускулов и энергии дыхания? Не надрываются ли силы от такого бегания? Не ослабевают ли мускулы от чрезмерных усилий? Не портятся ли легкие? Не получается ли одышка? По физиологии, да: результат такого бегания – порча организма. И беганием ли ограничивается дело? Не сидят ли мыши, спрятавшись в норах? Полезно ли для мышей, млекопитающих животных, то есть существ с сильною потребностью движения и очень сильною потребностью дыхания, неподвижное сидение в душных норах? По физиологии, не полезно, а вредно. Но стоит ли соображать, что говорит физиология? Есть книга Мальтуса; достаточно выхватить несколько строк из нее, и – готова теория, объясняющая историю органических существ.

Что постыдятся сказать в извинение своих злых шалостей невежественные мальчики, то придумал и возвестил миру человек умный, человек очень добрый и – натуралист, которому, кажется, следовало бы помнить основные истины физиологии; вот до какого помрачения памяти и рассудка может доводить ученое фантазерство, развивающее ошибочную догадку о значении непонятных чужих слов!

Много дурного говорил Мальтус; ему нельзя было обойтись без того; он хотел защищать политику коалиции тори и большинства вигов, вызванную, историческими обстоятельства, это правда, но тем не менее, вредную для них и его родины политику, о которой сам он знал, что она несправедлива и вредна; дурную книгу написал он, недобросовестную, и заслуживает за то порицания. Но в том, что взвел на него благодарный ученик, он не виноват; таких мерзостей он не внул; напрасно Дарвин воображал себя его учеником, – он искажитель Мальтуса; напрасно он называет свою теорию применением его теории к вопросу о происхождении видов – это не применение теории Мальтуса, а извращение смысла его слов – извращение грубое, потому что истинный смысл его слов ясен. Он считает чрезмерность размножения причиной бедствий, и только; а бедствия он считает бедствиями, и только. В этом он верен истине, верен естествознанию. Дарвин называет совокупность результатов чрезмерного размножения борьбою за, жизнь; хорошо; что

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe же такое борьба за жизнь с точки зрения, на которую ставит своих читателей Мальтус? Совокупность бедствий, и только бедствий. Результат борьбы за жизнь Дарвин называет естественным отбором; хорошо; что же такое, сообразно понятиям Мальтуса, естественный отбор? Никак не благо, а непременно нечто дурное, потому что чрезмерность размножения не производит, по его понятиям, ничего хорошего, производит только дурное.

Так это по Мальтусу. Совершенно так, как по физиологии. Мальтус нам не мил и не авторитетен. Но пренебрегать физиологией не следует.

Припомним же, что такое, по физиологии растений и животных, бедствие в жизни индивидуального существа и какое влияние на детей имеют, по физиологии, бедствия родителей.

Физиология говорит: бедствие в жизни индивидуального органического существа – нарушение хорошего хода функций организма, и у организмов, имеющих способность ощущения, – нарушение, соединенное с ощущением боли, когда касается частей организма, в которых находится способность ощущения; если нарушение тяжело и продолжительно, оно имеет результатом в некоторых случаях смерть, во всех других – порчу здоровья, порчу организма; то же самое, если оно хотя и не тяжело и непродолжительно, но повторяется часто.

Какое влияние на организацию потомков имеет, по физиологии, порча здоровья, порча организации родителей? Организмы, имеющие испорченное здоровье, рожают организмы, имеющие прирожденную испорченность здоровья; существа, имеющие испорченную организацию, рожают существа, имеющие прирожденную испорченность организации. И если ход жизни идет в этом направлении через ряд поколений, то с каждым новым поколением размер результата увеличивается, потому что он – сумма порч прежних поколений, у каждого из которых прирожденная испорченность увеличивалась порчею, производимую бедствиями собственной жизни.

Как называется на языке физиологии порча организма, возрастающая по ряду поколений? Она называется вырождением. И как называется вырождение, состоящее не только в ухудшении здоровья организма, но и в изменении самой организации? Оно называется понижением организации, деградацией).

Вот что такое, по физиологии, результат борьбы за жизнь – понижение организации; вот что такое, по физиологии, естественный отбор – сила, понижающая организацию, сила деградирующая.

Но зачем помнить физиологические законы, когда есть Мальтус? Хорошо; Мальтус важнее физиологии, то пусть будет важнее. Но и мысль Мальтуса, рекомендуемая нам взамен физиологии, ведет к тому же понятию о естественном отборе. Ход вывода прост и ясен.

Чрезмерность размножения производит только бедствия; естественный отбор – результат чрезмерного размножения; спрашивается, что такое естественный отбор, благо или зло? Кажется, не очень мудрено сообразить: он – зло. Что такое зло в применении к понятию об организации? Понижение организации, деградация.

Насколько видоизменяются организмы действием естественного отбора, они деградируются. Если б он имел преобладающее влияние на историю органических существ, не могло бы быть никакого повышения организации. Если предками всех организмов были одноклеточные организмы, то при преобладании естественного отбора не могли бы никогда возникнуть никакие организмы хотя сколько-нибудь выше одноклеточных. А если одноклеточные организмы не первобытные формы органической жизни, если первым фазисом существования жизни, ставшей впоследствии органическою, было существование микроскопических кусочков органического, но еще не организовавшегося вещества, называемого теперь протоплазмой, то из этих неорганизованных кусочков протоплазмы не могли, в случае преобладания естественного отбора, возникнуть никакие организмы, ни даже самые низшие разряды одноклеточных существ; и мало сказать, что из них не могли возникнуть никакие организмы, – нет, не могли бы продолжать своего существования даже и эти кусочки протоплазмы: каждый из них в самый момент возникновения был бы уничтожаем действием естественного отбора, разлагался бы на неорганические комбинации химических элементов, более устойчивые в борьбе, чем протоплазма. А если первобытными существами были не бесформенные кусочки протоплазмы, а одноклеточные организмы, то и о них следует сказать, что они под преобладанием

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
естественного отбора не только не могли бы повышаться в организации, но не могли
бы и продолжать свое существование: он отнимал бы у «их организацию, превращал
бы их кусочки бесформенного органического вещества, а его превращал бы в
неорганические соединения.

Но было не так. Из первобытных существ, имевших очень низкую организацию или
даже не имевших никакой организации, бывших бесформенными кусочками протоплазмы,
развились растения и животные очень высокой организации. Это значит: история тех
кусочков протоплазмы или одноклеточных организмов, которые были первыми предками
высокоорганизованных существ, и история следующего ряда предков этих существ шла
в направлении, противоположном действию естественного отбора, под влиянием
какой-то силы или комбинации сил, противоположной ему и перевешивавшей его.

Одна ли была эта сила или комбинация нескольких сил? Прежние трансформисты
нашли, что повышение организации производилось действием не одной силы, а
нескольких сил; и некоторые из этих сил были определены ими. Нынешние
трансформисты пополняют открытия прежних. Должно думать, что ряд этих открытий
далеко не закончен, что перечисление повышающих организацию сил еще остается
неполным. Но по законам физиологии ясно определяется общий характер всех их: все
силы, повышающие организацию – те силы, которые имеют благоприятное влияние на
жизнь индивидуального органического существа, – содействуют хорошему ходу
функций его организма и, если это существо имеет способность ощущения,
возбуждают в нем своим действием ощущения физического и нравственного
благополучия, довольства жизнью и радости.

Добрый читатель или добрая читательница, я утомил вас длиннотою моей статьи.
Простите.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы, составляющие настоящий том, дают представление о философских и
эстетических взглядах Чернышевского. Эти работы – яркая страница в истории
русской теоретической мысли.

Как философ, и эстетик Чернышевский был последовательным материалистом. Ленин
писал: «Чернышевский – единственный действительно великий русский писатель,
который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного
философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов,
Махистов и прочих путаников» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 384).

Замечательной особенностью материалистических воззрений Чернышевского является
их революционный характер. Мыслитель связывал философию и эстетику с задачами
революционного преобразования общества, видел социально-политические, классовые
источники борьбы между материализмом и идеализмом.

В работах, включенных в данный том, поставлены и решены Чернышевским основные
вопросы познания объективного мира, исследования форм духовной деятельности
человека, прежде всего такой сложной формы, как искусство. Здесь прекрасно
показана безграничность человеческого незнания, но вместе с тем выявлена
историческая обусловленность знаний. Чернышевский демонстрирует диалектический
взгляд на взаимосвязь между объективной действительностью, ощущениями и
сознанием. Он выдвигает понятие практики как критерия истинности познания,
отвергает попытки идеалистов приписать человеческому сознанию
сверхъестественную, «божественную» силу.

В области исторических идей Чернышевского видны сильные материалистические
тенденции, хотя его учение о социализме и было утопическим: иным оно и не могло
быть в условиях того времени.

Особое значение имели труды Чернышевского по эстетике. Его диссертация стала
революционным манифестом реалистического искусства, определила дальнейшее
развитие науки о прекрасном и материалистического учения об искусстве и
литературе.

Работы Чернышевского по философии и эстетике не утратили своего значения и в
наше время, они активно используются современными учеными и художниками, они
формируют философское и эстетическое сознание современного человека.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
Критика философских предубеждения против общинного владения
[(К вопросам по опостылому делу, статья первая)]
Wie weh', wie weh', wie wehe.

Goethe, «Faust»[10]

Предисловие. – Первобытность общинного поземельного владения свидетельствует ли против предпочтения его личной поземельной собственности? – Необходимо ли у каждого народа каждому учреждению проходить все логические моменты развития? (Регламентация и законодательство).

Долго молчал я в споре, который был поднят мною. Равнодушие, с которым были встречены остальными журналами первые статьи мои и Г. Вернадского, служившие на них ответом, – это равнодушие мало-помалу сменилось чрезвычайно живым участием. Вот уж много времени, как не проходит ни одного месяца без того, чтоб не явилось в разных журналах по нескольку статей об общинном владении. Все говорили об этом вопросе, – я молчал. Большая часть говоривших о нем нападали и на мое мнение, и на мою личность очень сильным образом, – я молчал, хотя в других случаях не отличался способностью оставлять без ответа нападение на то, что считаю справедливым и полезным, и хотя даже друзья мои всегда замечали во мне чрезвычайную, по их мнению даже излишнюю, любовь к разъяснению спорных вопросов горячею полемикою. Я молчал, несмотря ни на интерес, приобретенный для публики вопросом, который так дорог для меня лично, несмотря на бесчисленные вызовы противников, несмотря на частые побуждения от друзей, упрекавших меня и в лености, и в позорной апатии к общему делу, и в трусости. И теперь, когда берусь я за перо, чтобы снова защищать общинное владение, я выдерживаю сильную борьбу с самим собою и не знаю сам, не лучше ли было бы продолжать мне упорное молчание.

Дело в том, что я стыжусь самого себя. Мне совестно вспоминать о безвременной самоуверенности, с которою поднял я вопрос об общинном владении. Этим делом я стал беарассуден, – скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах.

Возобновляя мою речь об общинном владении, я должен начать признанием совершенной справедливости тех слов моего первого противника, Г. Вернадского, которыми он объявлял в самом возникновении спора, что напрасно взялся я за этот предмет, что не доставил я тем чести своему здравому смыслу. Я раскаиваюсь в своем прошлом неблагоприятии, и если бы ценою униженной просьбы об извинении могло поупаться забвение совершившихся фактов, я не колеблясь стал бы просить прощение у противников, лишь бы этим моим унижением был прекращен спор, начатый мною столь неудачно.

«Как? Неужели человек, так громко провозглашавший непобедимость доводов в пользу общинного владения, поколебался в своем убеждении возражениями противников, бессилие которых так высокомерно осмеивал в начале битвы? – подумает читатель. – Неужели он чувствует себя побежденным теми фактами и силлогизмами, которые противопоставлены ему?» О, если бы мой стыд перед самим собою происходил из этого источника! Быть побеждену учеными доводами, конечно, неприятно было бы для самолюбия, особенно когда при этом наносится еще оскорбление личности побеждаемого; но в таком случае скорбь состояла бы в чувстве мелочном, пошлости которого отняла бы силу открыто признаваться перед публикою в своем стыде. Мой стыд другого рода, и как ни тяжел он, он не боится огласки.

Не возражениями противников позорится моя безрассудная надежда на победу. Пусть противники многочисленны; пусть возражения громадны по объему и количеству; пусть даже некоторые из противников принадлежат к тем людям, одобрением которых я дорожил в других случаях, порицание которых было бы горько для меня в других делах: не ими смущен я. С самого начала я говорил, что по вопросу об общинном владении против меня будет огромное большинство русских ученых и мыслителей и те литературные партии, которые уважаются мною выше всех остальных после той, к которой принадлежу я сам. Факт, предвиденный и предсказанный мною самим, не мог смутить меня. Напротив, я удивлялся, не встретив враждебности к защищаемому мною делу в некоторых из наших публицистов, имеющих наиболее авторитета во мнении публики и моем собственном. Отрадней для меня неожиданностью было, что эти люди или не напали на защищаемое мною мнение, или даже выражали свое сочувствие к нему[11]. Не многочисленности противников был удивлен я, а тем, что их не оказалось еще гораздо больше; удивлен, что в их рядах нет ни одного из тех ученых, противоречие которых было бы для меня действительно тяжело. Если не произвела на меня впечатления огромность числа писателей, восставших против

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
общинного владения, то еще меньше могли поколебать мое убеждение доводы, ими выставленные. В начале спора я указывал обыкновенные источники возражений против общинного владения и книги, руководящие мыслями людей, от которых ожидал я противоречия. Мои предположения, что против меня будут повторять чужие слова, давно известные не мне одному и давно опровергнутые не мною, а европейскими писателями, – эти предположения сбылись даже выше всех моих ожиданий. Ни одного нового или самостоятельного соображения не было представлено русскими противниками общинного владения; все их понятия были целиком взяты из устарелых книг и даже не применены к частному вопросу, к которому большею частью вовсе не шли. Из немногих фактов, на которых опирались эти соображения, также не было почти ни одного, который бы прямо шел к делу: а если некоторые и шли к делу, то были подбираемы так неосмотрительно, что свидетельствовали в сущности не против общинного владения, а в пользу его. Словом сказать, возражения были до того избиты, что, признаюсь, я не имел интереса прочесть до конца почти ни одной из статей против общинного владения, которые появлялись после того, как я поместил свою последнюю статью против г. Вернадского в ноябрьской книжке «Современника» прошлого года; с первых же страниц каждого возражения я видел, что бесполезно читать эти бледные повторения того, что уже давно наскучило мыслящему человеку в сотнях плохих французских книжек о политической экономии; даже приятно читать гневную брань против себя, приятность, выше которой нет ничего для писателя, любящего колебать старые и надменные предрассудки, не могла пересилить скуку, приносимую вялыми повторениями общих мест старинной экономической школы. Только теперь, решившись возобновить свои статьи об общинном владении, я стал читать эти возражения и убедился, что не сделал ошибки, предположив их вовсе не заслужившими прочтения.

Итак, не сила противников заставляет меня признать, что я заблуждался, начав говорить в защиту общинного владения. Напротив, со стороны успеха именно этой защиты я могу признать за своим делом чрезвычайную удачу: слабость аргументов, приводимых противниками общинного владения, так велика, что без всяких опровержений с моей стороны начинают журналы, сначала решительно отвергавшие общинное владение, один за другим делать все больше и больше уступок общинному поземельному принципу. Теперь нет уже сомнения в том, что большинство литературного мира считает нужным сохранить от вторжения личной частной собственности, по крайней мере на ближайшее время, те части земли, которые до сих пор оставались собственностью или владением общества. Такая уступка после первоначального совершенного и резкого отвержения общественной поземельной собственности во всех ее видах могла бы внушать мне некоторую гордость. Но я стыжусь себя.

Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сделать это, как могу.

Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения. Примеры малой выгоды ее при противном условии часто встречаются у нас по дворянским именам, обремененным долгами. Бывают случаи, когда наследник отказывается от получения огромного количества десятин, достоящихся ему после какого-нибудь родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов, доставляемых помещьем. Он рассчитывает, что излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, не стоит хлопот и других неприятностей, приносимых владением и управлением. Потому, когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то по крайней мере предполагает, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою, если он находит выгодным для себя ввод во владение. Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получение ренты.

На предположении этих двух условий была основана та горячность, с какою я выставил общинное владение необходимым довершением гарантий благосостояния.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
Меня упрекают за любовь к употреблению парабол. Я не спорю, прямая речь действительно лучше всяких приточных сказаний; но против собственной природы и, что еще важнее, против природы обстоятельств идти нельзя, и потому я останусь верен своему любимому способу объяснений. Предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собой разумеется, что если я это делал из расположения собственно к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях? «Человек самолюбив», и первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне самому. «Как был я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?» Вторая моя мысль – о вас, предмете моих забот, и о том деле, одним из обстоятельств которого я так интересовался: «Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение!» Досада за вас, стыд за свою глупость – вот мои чувства.

Но довольно мне говорить о своих чувствах и о собственной личности. Как бы то ни было, но почил в ход глупым образом начатое мною дело об общественном владении. Не все смотрят на него с тем чувством отвращения и негодования, какое внушает оно мне теперь, по разрушении надежд, в которых было начато мною. Теперь, я уже сказал, я желал бы, быть может, чтобы все оно пропало. Другие, напротив, хлопочут о том, чтобы привести его к концу, все больше и больше, склоняясь (к тем мнениям, какие были выражены мною при начале спора об общественном владении. Дело это уже не может быть брошено. А если дело, которому лучше было бы быть брошено, уже не может быть брошено, то нечего делать, надобно участвовать в его ведении.

Резким полемическим тоном был начат мною спор, об общественном владении. Крик этот имел одну цель: заставить обратить внимание на предмет его. Теперь общее внимание обращено на предмет речи и нет надобности ей переступить границы спокойного изложения, чтобы быть выслушанной.

Но, последняя дань полемическому тону, от которого я отказываюсь во вопросу об общественном владении: мало того, что возможно мне обойтись без полемики, – было бы недобросовестно с моей стороны пользоваться этим оружием тогда, когда нужно не столько обличение ошибок, сколько пополнение пробелов, производимых незнанием или забывчивостью. Дозволительно ли полемизировать против человека, который не соглашается с вами только потому, что не знает первых четырех действий арифметики или не подумал о результате, получаемом из сложения двух с двумя? Говорить с ним горячим тоном – это и бесполезно для него, и совестно для вас. Он нуждается в уроке из «начатков учения», – в уроке, изложенном с такою популярностью, которая была бы доступна его силам и пробуждала бы деятельность его мысли.

Степень знакомства с современною наукою и привычки к самостоятельному мышлению, обнаруженная противниками общественного владения, предписывает мне стараться о всевозможной популярности при следующем изложении первоначальных понятий, касающихся вопроса о различных видах собственности на землю, владения и пользования землею. Итак, читатель Простит мне, если найдет, что большая часть наших страниц посвящена изложению фактов и соображений слишком элементарных: при составлении настоящих статей я имел в виду не тот уровень знаний и сообразительности, какой предполагается в большинстве публики, а только тот, какой обнаружен противниками общественного владения.

Прежде нежели вопрос об общине приобрел практическую важность с началом дела об изменении сельских отношений, русская община составляла предмет мистической гордости для исключительных поклонников русской национальности, воображавших, что ничего подобного нашему общинному устройству не бывало у других народов и что оно таким образом должно считаться прирожденною особенностью русского или славянского племени, совершенно в том роде, как, например, скулы более широкие, нежели у других европейцев, или язык, называющий мужа – муж, а не mensch, homo или l'homme и имеющий семь падежей, а не шесть, как в латинском, и не пять, как

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe в греческом. Наконец, люди ученые и беспристрастные показали, что общинное поземельное устройство в том виде, как существует теперь у нас, существует у многих других народов, еще не вышедших из отношений, близких к патриархальному быту, и существовало у всех других, когда они были близки к этому быту. Оказалось, что общинное владение землею было и у немцев, и у французов, и у предков англичан, и у предков итальянцев, словом сказать, у всех европейских народов; но потом при дальнейшем историческом движении оно мало-помалу выходило из обычая, уступая место частной поземельной собственности. Вывод из этого ясен. Нечего нам считать общинное владение особенною прирожденною чертою нашей национальности, а надобно смотреть на него как на общую человеческую принадлежность известного периода в жизни каждого народа. Сохранением этого остатка первобытной древности гордиться нам тоже нечего, как вообще никому не следует гордиться какою бы то ни было стариною, потому что сохранение старины свидетельствует только о медленности и вялости исторического развития. Сохранение общины в поземельном отношении, исчезнувшей в этом смысле у других народов, доказывает только, что мы жили гораздо меньше, чем эти народы. Таким образом оно со стороны хвастовства перед другими народами никуда не годится.

Такой взгляд совершенно правилен; но вот наши и заграничные экономисты устарелой школы вздумали вы-«есть из него следующее заключение: «Частная поземельная собственность есть позднейшая форма, вытеснившая собою общинное владение, оказывавшееся несостоятельным перед нею при историческом развитии общественных отношений; итак, мы подобно другим народам должны покинуть его, если хотим идти вперед по пути развития».

Это умозаключение служит одним из самых коренных и общих оснований при отвержении общинного владения. Едва ли найдется хотя один противник общинного владения, который не повторил бы вместе со всеми другими: «Общинное владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная поземельная собственность – вторичная форма; как же можно не предпочитать высшую форму низшей?» Нам тут странно только одно; из противников общинного владения многие принадлежат к последователям новой немецкой философии; одни хвалятся тем, что они шеллингисты, другие твердо держатся гегелевской школы; и вот о них-то мы недоумеваем, как не заметили они, что, налегая на первобытность общинного владения, они выставляют именно такую сторону его, которая должна чрезвычайно сильно предрасполагать в пользу общинного владения всех, знакомых с открытиями немецкой философии относительно преемственности форм в процессе всемирного развития; как не заметили они, что аргумент, ими выставляемый против общинного владения, должен, напротив, свидетельствовать о справедливости мнения, отдающего общинному владению предпочтение перед частною поземельною собственностью, ими защищаемую?

Мы остановимся довольно долго над следствиями, к каким должна приводить первобытность, признаваемая за известною формою, потому что по странной недогадливости именно эта первобытность служила, как мы сказали, одним из самых любимых и коренных аргументов наших противников.

Мы – не последователи Гегеля, а тем менее последователи Шеллинга. Но не можем не признать, что обе эти системы оказали большие услуги науке раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития. Основной результат этих открытий выражается следующей аксиомою: «По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого оно отправляется». Эта мысль заключает в себе коренную сущность шеллинговой системы; еще точнее и подробнее раскрыта она Гегелем, у которого вся система состоит в проведении этого основного принципа чрез все явления (мировой жизни от ее самых общих состояний до мельчайших подробностей каждой отдельной сферы бытия. Для читателей, знакомых с немецкою философиею, последующее наше раскрытие этого закона не представит ничего нового; оно должно служить только к тому, чтобы выставить в полном свете непоследовательность людей, не замечавших, что дают оружие сами против себя, когда налегают с такою силою на первобытность формы общинного владения.

Высшая степень развития по форме сходна с его началом, – это мы видим во всех сферах жизни. Начнем, с самой общей формы процесса бытия на нашей планете. Газообразное и жидкое состояние тел – вот исходная точка, от которой пошло вперед образование нашей планеты и жизни в ней. Великим шагом вперед было сгущение газов и отверждение жидкостей в минеральные породы. В благородных металлах и драгоценных камнях планетный процесс дошел до совершенства в этом направлении. Сравните вековую неразрушимость и чрезвычайную плотность золота и

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
платины, еще большую неразрушимость и страшную крепость рубина и алмаза с шаткостью формы, с быстрым процессом химических изменений в газе и жидкости, вы увидите две противоположные крайности. Но что же затем? Истоцилась ли жизнь природы достижением крайней прочности, плотности и неподвижности в минеральном царстве? Нет, мало-помалу на минеральном царстве возникает растительное. С одного шага природа от страшной плотности минералов возвращается к меньшей плотности жидкостей: удельный вес дерева занимает средину между удельным весом разных жидкостей. Мало этого сходства в удельном весе: минеральное основание дерева (обнаруживающееся пепельным остатком по его разложению) принимает в соединение с собой очень значительную массу материи в жидком состоянии: все дерево проникнуто жидким соком, который и составляет двигатель его жизни. Но от неподвижности минерального царства осталась в дереве неподвижность на месте, которое раз занято целым организмом, и неизменность в расположении частей, какое раз приняли он» одни относительно других. Внешняя форма дерева также тверда; она только нечувствительно расширяется временем в объеме, но за этим исключением постоянно сохраняет одно и то же очертание. Природа вступает в новый фазис развития, за растительным царством производит животное, и этим шагом она еще приближается к формам бытия, предшествовавшим минеральному царству. В организме животного жидкие элементы занимают еще гораздо больше места, нежели в растении. Они даже достигают самостоятельного отделения от твердых частей, огромными массами собираясь в жилах, в сердце, в желудке и других резервуарах животного организма. Твердая основа, которая в растении представлялась на первом плане, в животном отступает вовнутрь, облекаясь мягкими покровами мяса и жира; теряя наружное значение, она теряет и ту центральную важность, какую имела в дереве, где все до самой сердцевины было твердо: в животном центральные части, важнейшие по своему значению для организма, так же не тверды, как и наружные покровы остова; твердый остов удерживается единственно как опора для мягких частей. Мало того, что жидкость изгнала минеральную твердость из центральных органов: в эти органы проникли газы: животный организм наполнен воздухом, значительными массами, сосредоточивающимися в двух основных органах центральной жизни, в легких и в желудке. От минерального царства в растении сохранялось постоянство внешней формы; в животном наружные очертания постоянно изменяются от непрерывной смены разных положений тела. Не осталось и неподвижности целого организма на одном месте: как частицы воды по закону тяготения и под ударами волн атмосферы вечно движутся с места на место, так и животный организм вечно движется с места на место. Животная жизнь становится все интенсивнее и интенсивнее; проходя от ленивого моллюска, почти прикованного к месту, через высшие формы организма до млекопитающих, она достигает своего зенита в человеке. В чем же состоят материальные отличия этого высшего животного организма от низших? В человеке гораздо более развита нервная система и особенно головной мозг. Что же это за масса, развитие которой составляет венец стремлений природы? Масса мозга – нечто такое неопределенное по своему виду, что как будто бы уже составляет переход от мускулов, имеющих столь определительные качества по своей форме и внутреннему составу, к какому-то полужидкому киселю вроде тех, которыми начинается превращение неорганической материи в органическую. Этот бесформенный кисель сохраняет известное очертание только потому, что удерживается внешними костяными оградками; освободившись от них, он расплывается, будто кусок жидкой грязи. В его химическом составе самый характеристичный элемент – это фосфор, имеющий неудержимое стремление переходить в газообразное состояние; венец животной жизни, высшая ступень, достигаемая процессом природы вообще, нервный процесс состоит в переходе мозговой материи в газообразное состояние, в возвращении жизни к преобладанию газообразной формы, с которой началось планетное развитие.

Иной читатель посмеется над этими геологическо-физиологическими рассуждениями в статье о юридическом и социальном вопросе. Мы сами готовы были бы смеяться над обзорами теллурической жизни, служащими подкреплением политико-экономических истин, если б не замечали, как много зависит тот или другой взгляд на какой-нибудь, по-видимому, чисто практический и очень специальный вопрос от общего философского воззрения. В настоящем случае чтение статей против общинного владения убедило нас, что нерасположение к этой форме поземельных отношений основано не столько на фактах или понятиях, специально относящихся к данному предмету, сколько на общих философских и моральных воззрениях о жизни. Мы думаем, что истребить предубеждения по частному вопросу, нас занимающему, можно только изложением здравых понятий, противоположных отсталым философам или философским и моральным недосмотрам, которыми держатся эти предубеждения. Потому продолжаем философско-физиологические очерки отношений между разными формами жизни, как бы ни казались забавны такие эпизоды в статьях, которые собственно должны бы ограничиваться сферой специальности. Если такие эпизоды и

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe действительно забавны, то мы утешаемся мыслию, что они будут не бесполезны.

Кто не хотел подумать об общих истинах, изложенных в Гумбольдтовом «Космосе» тот, конечно, принуждает говорить о них и тогда, когда дело идет о каком-нибудь специальном вопросе.

От общего теллурического процесса перейдем к соотношению форм в более тесных сферах и прежде всего взглянем, например, на характер животной жизни в разных ступенях ее развития. Мы уже видели, что высшее произведение этой жизни, мозговая масса, характером своим напоминает какой-то кисель, почти лишенный тех форм и качеств, какими отличается вообще мясо, составляющее преобладающий элемент животного царства. Низшая ступень животной жизни, проявляющаяся в моллюсках и слизняках, имеет совершенно тот же характер: тело устрицы своим студенистым качеством скорее сходно с мозгом, нежели с мясом. Итак, мы видим опять три формы, из которых высшая (мозг) представляется как будто бы возвращением от второй (мяса) к первобытной форме (студенистое вещество).

Возьмем еще теснейшую сферу жизни, именно два высшие разряда из трех обширных классов, принимаемых Ламарком, *animalia articulata* и *animalia intelligentia*[12]. С того момента, как проявляется первый признак интенсивности в животной жизни возникновением членораздельности (*animalia articulata*), мы видим, что каждая из отдельных частей, на которые подразделился организм, имеет как будто бы свою самобытную жизнь, кроме общей жизни целого организма. Из этих низших животных есть такие, которые можно делить на несколько частей, и каждая часть преспокойно будет жить по отделению от других. Чем выше мы будем подниматься, по лестнице форм, тем сильнее и сильнее общая жизнь целого организма будет брать перевес над жизнью отдельных членов, и, наконец, в разряде рыб преобладание общей жизни целого организма становится до того громадно, что даже исчезают все отдельные члены, и целый организм сливается в один плотный кусок без всяких перехватов и отростков. Но поднимемся еще выше, и в разрядах птиц и млекопитающих мы уже видим возобновление прежних форм организма, у которого к основному стержню примыкают отростки с различными перехватами по внешней форме. Однако, если по наружности птица и млекопитающее составляют как будто возвращение от одного плотного куска рыбы к членораздельным формам насекомых, то внутренняя жизнь, жизнь ощущений и стремлений, остается в птице и млекопитающем, как в рыбе, вся сосредоточена в одном общем органическом чувстве с подавлением самобытного значения стремлений, свойственных отдельным органам. Зрение, слух, обоняние для млекопитающего имеют только то значение, что служат средствами для приискания пищи, различения предметов и местностей, удобных и здоровых для целого организма, от нездоровых или неудобных и для избежания опасностей. Даже вкус служит почти только для рассортировки различных питательных материалов по степени их здоровости для целого организма. Конечно, кошка должна чувствовать разницу вкуса между грубою говядиной или пулярдкой; но дайте ей вдруг два куска того и другого мяса, она не станет делать выбор между ними и начнет есть тот, который больше или который скорее попался ей под морду. Даже осязание очень мало служит для животных источником удовольствий, независимых от общих потребностей жизни целого организма. Даже половой инстинкт не занимает их собою как самобытный источник ощущений: его отправления служат только средством для освобождения организма от частиц, излишнее накопление которых расстраивает общий порядок в жизни целого организма. Можно сказать, что все ощущения животных и все их стремления являются только видоизменениями общих потребностей и чувств целого организма, именно отправления желудка и чувства здоровья или болезни. Совершенно не такова жизнь человека. Каждое из его чувств достигает самобытного интереса для него; глаз, ухо и каждый из других органов чувств становится в человеке как будто каким-то самобытным организмом с собственной жизнью, с своими особенными потребностями и удовольствиями. Человек не только по внешней форме, как млекопитающее, но и по самой сущности своей жизни представляется как будто бы собранием нескольких сросшихся самобытных организмов, и общая жизнь всего организма удерживает за собою значение как будто только потому, что служит общему поддержкою развития этих отдельных жизней. Чем выше поднимается человек в своем развитии, чем цивилизованнее становится он, то есть чем человечнее становится его жизнь, тем больший и больший перевес берут эти частные стремления каждого органа к самостоятельному развитию своих сил и наслаждению своею деятельностью. Ощущения, доставляемые зрением, слухом и другими физическими чувствами, различные нравственные ощущения, игра фантазии, деятельность мышления все решительнее заслоняют собою интересность общего органического процесса для самого индивидуума, и, наконец, этот процесс (питание) сохраняет только тот интерес, какой придается ему наслаждениями отдельного органа вкуса, и вместо

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe самобытного значения он представляется только средством к удовлетворению частного гастрономического интереса или теряет всякую занимательность для индивидуума. Цивилизованный человек, если развит нормально, говорит подобно Сократу: «Я ем только для того, чтобы жить сердцем и головою»; если развит дурным образом, говорит: «Я ем для того, чтобы (наслаждались мой язык и небо». Но никогда цивилизованный человек не чувствует, чтобы сама по себе, без частных гастрономических удовольствий, еда представлялась ему очень занимательным процессом.

Таким образом, в конце развития собственно животной жизни, в жизни цивилизованного человека мы видим как будто возвращение той самой формы, какую имела животная жизнь при первом начале своей интенсивности: в цивилизованной жизни человека, как в существовании артикулированных животных, общая жизнь организма решительно отступает на второй план сравнительно с самобытными отправлениями отдельных органов.

Мы обозрели все сферы материальной жизни, начиная общими теллурическими явлениями ее и переходя к сферам все теснейшим и теснейшим, до царства интенсивной животной жизни, и повсюду видели неизменную верность развития одному и тому же закону; высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытному началу развития. Само собою разумеется, что при сходстве формы содержание в конце безмерно богаче и выше, нежели в начале, но об этом мы будем говорить после.

Быть может, наш очерк материального развития от теллурических состояний до мозговой деятельности был слишком длинен; но мы хотели многочисленными подробностями показать неизменную верность природы тому закону; на речь о котором не к выгоде себе навели полемику наши противники, с необдуманным торжеством налегая на первобытность осуждаемой ими формы одного из общественных учреждений. Мы хотим показать всеобщее господство излагаемого закона во всех проявлениях жизни, и, окончив обзор материальных явлений с этой точки зрения, обратимся к такому же очерку нравственно-общественной жизни, составляющей другую великую часть планетарного развития.

Наш очерк растянулся бы на целые томы, если бы мы захотели упоминать о каждой сфере нравственно-общественного развития, в процессе которой повторяется общий закон, о котором мы говорим. Какую бы сторону жизни ни взяли мы, везде увидим господство общей нормы, открытой новою немецкою философиею, и, приведя наудачу несколько примеров, мы просили бы людей, которые захотели бы сомневаться в общем владычестве этой нормы, указать хотя один факт, на развитии которого не отпечатлевалась бы она.

Начнем хотя с общего органа умственной и общественной жизни, с языка. Филология показывает, что все языки начинают с того самого состояния, представителем которого служит обыкновенно китайский: в нем нет ни склонений, ни спряжений, вообще никаких грамматических видоизменений слова (флексий); каждое слово является во всех случаях речи в одной и той же форме: «я иди дом» говорит китаец вместо нашего «я иду домой». Но язык начинает развиваться, и являются флексии; число их все возрастает и достигает той гибкости всего внутреннего состава слова, какую видим [мы] в семи[ти]ческих языках, достигает того страшного изобилия грамматических наращений, какое видим в татарском языке, где глагол имеет семь или восемь наклонений, несколько десятков времен, целые десятки деепричастий и т. д. В нашей семье на высшей точке этого периода стоит санскритский язык. Но развитие идет далее, и в латинском или в старославянском уже гораздо менее флексий, нежели в санскритском. Чем дальше живет язык, чем выше развивается народ, им говорящий, тем более и более обнажается он от прежнего богатства флексий. Нынешние славянские наречия беднее ими, нежели старославянский; в итальянском, французском, испанском и других романских языках флексий меньше, нежели в латинском; немецком, датском, шведском, голландском меньше, нежели в старонемецком, и, наконец, английский язык, служащий указанием цели, к которой идут по отношению к своим флексиям все другие европейские языки, почти совершенно уже отбросил все флексии. Подобно китайцу англичанин буквально говорит уже «я иди дом». В начале нет падежей, в конце развития также нет падежей; в начале нет различия по окончаниям между существительным, прилагательным и глаголом, – в конце развития тоже нет различия между ними (like – 1. похожий, 2. сравнивать; love – 1. любить, 2. любовь).

В грамматическом устройстве языка конец сходен с началом. То же самое во всех

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
формах общежительной и умственной жизни, общим условием для существования
которой служит язык. Берем прежде всего внешние черты общежития и, во-первых,
ту, для которой язык служит не только условием, но и материалом: способ
выражения в обращении между людьми.

Вне цивилизации человек безразлично говорит одинаковым местоимением со всеми
другими людьми. Наш мужик называет одинаково «ты» и своего брата, и барина, и
царя. Начиная полироваться, мы делаем различие между людьми на «ты» и на «вы».
При грубых формах цивилизации «вы» кажется для нас драгоценным подарком
человеку, с которым мы говорим, и мы очень скупы на такой почет. Но чем
образованнее становимся мы, тем шире делается круг «вы», и, наконец, француз,
если он только скинул сабо, почти никому уже не говорит «ты». Но у него осталась
еще возможность, если захочет, кольнуть глаза наглецу или врагу словом «ты».
Англичанин потерял и эту возможность: из живого языка разговорной речи у него
совершенно исчезло слово «ты». Оно может являться у него только в тех случаях,
когда по-русски употребляются слова «понеже», «очеса» и т. п.; слово «ты» в
английском языке так же забыто, как у нас несторовское «он-сиця» вместо «этот».
Не только слугу, но и собаку или кошку англичанин не может назвать иначе, как
«вы». Началось дело, как видим, безразличием отношений по разговору ко всем
людям, продолжалось разделение их на разряды по степени почета (немцы,
достигнувшие апогея в этом среднем фазисе развития, ухитрились до того, что
устроили целых четыре градации почета: 1) Du – это черному народу; 2) Er – это
по выражению [г. н. до Безобразова] для среднего, рода людей; 3) Ihr – это для
[человеков], занимающих средину между людьми среднего рода и благородными; 4)
Sie – для благородных потомков великороссийских, суздальских и
ост-прейссенских домов, приходит в результате снова к безразличному обращению со
всеми людьми.

То же самое и в costume. В патриархальном народе шейх носит точно такой же
бурнус, как и последний из бедуинов его племени, и предок великороссийского
потомка [г. н. до Безобразова] носил такую же рубашку с косым воротом, какую
носили тогда люди не только среднего, но и подлого рода. Мы вступили в область
цивилизации и [г. н. до Безобразова] надел сюртук, которого не носят люди подлого
рода; но люди среднего рода уже начинают носить такой же сюртук и, к нашему
ужасу, все без исключения уже надели пальто, которым прежде отличался от них
потомок великороссийского рода; даже люди подлого рода многие надели пальто, и
мы с горестью предвидим скоро день, когда потомки великороссийских родов у себя
дома будут носить точно такие же блузы, какие уже приняты у петербургских
мастеровых, и когда все без исключения люди даже самого подлого рода будут
ходить по улицам в пальто такого же покроя, как великороссийские потомки.

Вместе с личным местоимением второго лица и костюмом проходит три фазиса
развития и вся манера держать себя. Человек нецивилизованный и неученый прост в
разговоре, натурален во всех движениях, не знает заученных поз и искусственных
фраз. Но едва помазался он лоском образованности школьной и светской, он
начинает держать себя и говорить так, как не умеет простой человек. Развиваясь
мало-помалу, это искусство достигает блистательного цвета в разных педантах и
педантках науки и светской жизни, в *précieuses* [13], изображенных Мольером, в
гоголевских дамах «приятных во всех отношениях» и уездных франтах. Но человек
истинно ученый и человек, получивший истинно светское образование, говорит и
ходит, кланяется, садится и встает с такою же простотою и непринужденностью, как
совершенно простой человек в своем кругу.

Надобно ли говорить, что подобно этим чертам обращения все общественное
устройство стремится к возвращению от рангов и разных других подразделений по
привилегиям всякого рода к тому однообразному составу, из которого выделились
все бесчисленные рубрики? Распространяться об этом мы не имеем нужды: люди,
непоследовательность которых принудила нас делать этот очерк, все утверждают о
себе, что они знакомы с политической экономией; в какой угодно экономической
книжке, даже в Ж.-Б. Сэ и Мишеле Шевалье, найдут они подробнейшее и прекраснейшее
объяснение той цели, к которой идет ныне общество по отношению к выделившимся из
общего права элементам.

От общего характера общественной жизни и общественного состава перейдем ли к
анализу специальных отправлений общественного организма, повсюду увидим тот же
путь развития. Возьмем в пример хотя администрацию. Вначале мы видим маленькие
племена, из которых каждое управляется совершенно самостоятельно и соединяется в
общий союз с другими однородными племенами только в немногих случаях, требующих

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
общего действия, например на случай войны и других отношений к иным народам, также для предприятий, превышающих средства отдельного племени, каковы, например, громадные постройки вроде вавилонской башни и циклопических стен. Каждый член племени связан с другими не только законодательными обязательствами, но живым личным интересом по знакомству, родству и соседским общим выгодам. Каждый член принимает личное и активное участие во всех делах, касающихся того общественного круга, к которому принадлежит. Ученым образом подобное состояние называется самоуправлением и федерацией. Мало-помалу мелкие племена сливаются и сливаются, так, что, наконец, исчезают в административном смысле в громадных государствах, каковы, например, Франция, Австрия, Пруссия и т. д. Административный характер обществ на этой ступени развития – бюрократия, составляющая полнейший контраст первобытному племённому быту. Административные округа распределяются все с меньшим и меньшим отношением к независимым от центрального источника интересам, лежащим в самих жителях. Ни в Пруссии, ни в Австрии округ, соответствующий нашему уезду, не имеет живой связи между своими частями; сохранились живые связи составных частей только в более широком разграничении провинций. Но это является уклонением от общего правила, и при первой возможности производится реформа, какую успела уже совершить Франция разделением на департаменты, лишённые органического единства, взамен прежних провинций. Члены административного округа, не имея между собою живой связи ни по своей истории, ни по своим материальным интересам, с тем вместе лишены прежнего полновластия в управлении делами округа. Всем заведуют особенные люди, называемые чиновниками и полицейскими, по своему происхождению и личным отношениям не имеющие связи с населением округа, передвигающиеся из одного округа в другой чисто только по соображению центральной власти, действующие по ее распоряжению, обязанные отчетом только ей. Житель округа по отношению своему к администрации есть лицо чисто пассивное, *materia gubernanda*. Надобно ли говорить о том, что на этой степени общество не может остановиться? Швейцария и Северо-Американские Штаты по административной форме представляются совершенным возвращением от бюрократического порядка к первоначальному быту, какой имели люди до возникновения обширных государств.

Не касаясь политического устройства, история которого также могла бы служить ярким подтверждением доказываемого нами общего господства нормы развития, [14] мы приведем в пример только еще два общественных учреждения.

Сначала общество не знает отдельного сословия судей: суд и расправа в первобытном племени творится всеми самостоятельными членами племени на общем собрании (мирской сходке). Мало-помалу судебная власть отделяется от граждан, делается монополией особенного сословия; гласность судопроизводства исчезает, и водворяется тот порядок процесса, который нам очень хорошо известен; он был и во Франции, и в Германии. Но вот общество развивается далее, вместо судей произнесение приговора вручается присяжным, то есть простым членам общества, не имеющим никакого ученого приготовления к юридической технике, и возвращается первобытная форма суда (1. судит общество; 2. судят юристы, назначаемые правительственной властью; 3. судят присяжные, то есть чисто представители общества).

Как суд, так и военное дело в первобытном обществе составляет принадлежность всех членов племени, без всякого специализма. Форма военной силы везде сначала одна и та же: ополчения, берущиеся за оружие с возникновением войны, возвращающиеся к мирным промыслам в мирное время. Особенного военного сословия нет. Мало-помалу оно образуется и достигает крайней самобытности при долгих сроках службы или вербовке по найму. На нашей памяти еще было то время, когда у нас солдат становится солдатом на всю свою жизнь, и, кроме этих солдат, никто не знал военного ремесла и не участвовал в войнах. Но вот сроки службы начинают сокращаться, система бессрочных отпусков все расширяется. Наконец (в Пруссии) дело доходит до того, что решительно каждый гражданин на известное время (два, три года) становится солдатом, и солдатство не есть уже особенное сословие, а только известный период жизни каждого человека во всяком сословии. Тут особенность его сохранилась только в условии срочности. В Северной Америке и Швейцарии нет уже и того: совершенно как в первобытном племени, в мирное время войско не существует, на время войны все граждане берутся за оружие. Итак, опять три фазиса, из которых высший представляется по форме совершенным возвращением первобытного; 1) отсутствие регулярных войск; милиция на время войны; 2) регулярные войска; никто, кроме специально носящих мундир, не призывается и не способен участвовать в войне; 3) снова возвращается всенародная милиция, и регулярного войска в мирное время нет.

От устройства военной силы перейдем ли к ее действию, увидим ту же норму развития. В первобытных битвах сражается отдельный человек против отдельного человека, сражение есть громадное число поединков (битвы у Гомера; все битвы дикарей). Но вот состав бьющейся армии получает все больше и больше плотности, и действие отдельных людей сменяется действием массы; в XVII, XVIII столетиях этот фазис достигает своего зенита. Огромные массы стоят друг против друга и стреляют батальным огнем или идут в штыки, – тут нет отдельных людей, есть только батальоны, бригады, колонны. Русский солдат времен Кутузова стрелял ли в отдельного врага? Нет, целый полк стрелял только в целый неприятельский полк. Неужели на этом остановилось развитие? Нет, появились штуцера, и прежний плотный строй рассыпался цепью стрелков, из которых каждый действует также против одиночного врага, и битва снова принимает гомерическую форму бесчисленного множества поединков.

Мы хотели закончить этим примером. Но зачем же останавливаться на мрачных мыслях о битвах? Дадим для десерта что-нибудь более приятное. Мы пишем не для обыкновенных читателей, а для экономистов отсталой школы; для них самая интересная вещь – внешняя торговля, и для их удовольствия мы займемся этим драгоценным предметом.

У дикарей нет таможенных пошлин, нет ничего подобного протекционизму; каждый торгует с иностранцем на тех же самых правах, как с одноплеменником, сбывает товары за границу и покупает иноземные товары точно с той же степенью свободы, с какою идет торговля в пределах самого племени туземными произведениями. Но вот люди цивилизуются, начинают заводить фабрики; через несколько времени у них является протекционная система. Иноземные товары облагаются высокими пошлинами и подвергаются запрещению для покровительства отечественной промышленности. Неужели на этом остановится прогресс? О нет, вот являются Кобден, Роберты Пили и за этими действительно замечательными людьми маленькие и миленькие существа вроде Бастиа; они доказывают, что протекционизм и несправедлив и вреден, под их влиянием тарифы начинают понижаться, понижаться, и общества стремятся к тому самому блаженству свободной заграничной торговли, которым пользовались в первобытные времена своей неразвитости.

Раз начавши говорить о предметах, приятных для экономистов отсталой школы, мы не можем удержаться от желания еще порадовать их беседою, им любезною. Еще больше, нежели о заграничной торговле, любят они говорить о биржевых оборотах, – каково же будет их удивление, если мы скажем, что и биржа, этот предмет их любви и гордости, возникает именно по закону возвращения каждого явления при высшем его развитии к его первобытному началу в формальном отношении. «Как? Вы говорите, что основные формальные черты биржевой торговли – повторение тех качеств, которыми отличается торговля дикарей?» – спросят наши противники. «Точно так, и вы этому не дивитесь бы, если бы умели понимать смысл того, что излагается в ваших же собственных книгах», отвечаем мы. Чем торговля, являющаяся по возникновении биржи, отличается по форме от торговли периода, предшествующего бирже? Она ведется в известном, одном, исключительном месте, в известное, одно, исключительное время – неужели вы не замечали до сих пор» что это – черты, принадлежащие базарам и ярмаркам? Теперь вы сами можете построить тройственную формулу, вас удивившую.

У племен и народов, где торговое движение чрезвычайно слабо, оно недостаточно для того, чтобы поддерживаться постоянно и повсеместно, и потому для него удобнее сосредоточиваться в известные сроки в известных местах. Таким образом оно производится на ярмарках и базарах. Но вот торговля развивается. В каждом городе купец имеет ежедневно покупателей (потребителей), повсюду являются лавки и магазины, открытые в течение круглого года ежедневно. С другой стороны, купцов так много и запрос их к производителям так постоянен, что производитель может продать им свой продукт, когда и где ему самому удобнее, – зачем же он станет дожидаться ярмарки или базарного дня? Таким образом ярмарки и базары, существовавшие в Париже, когда этот город в торговом отношении уподоблялся Козьмодемьянску и Царевкокшайску, исчезли. Но что же далее? Как возникает биржа? Покупщиков и продавцов становится так много, у каждого из них так много торговых дел и справок, что он не успевает управиться с ними, если бы должен был искать поодиночке каждого из нужных ему людей. Потому необходимо назначить место и время, где и когда сходились бы все эти занятые торговыми оборотами люди. Таким образом возвращается первобытное ограничение торговых сделок известным местом и временем.

Мы нарочно изложили ход этого факта с некоторою подробностью, чтобы видна была совершенная противоположность причин, восстанавливающих первобытную форму в конце развития, с причинами от которых зависело ее существование при начале развития. Доходя до высокой интенсивности, те самые обстоятельства, которые в менее сильной степени были враждебны первобытной форме, обращаются в неизбежный вызов к ее восстановлению. Первобытная ограниченность торговли известным местом и временем (ярмарки и базары) была следствием малочисленности торговых сделок. Когда они становятся довольно многочисленными, эта многочисленность действует отрицательно, разрушительно на первобытную форму; но вот торговые сделки, вместо того чтобы быть просто «довольно многочисленными», становятся «чрезвычайно многочисленными», – первобытная форма возвращается. Избыток качества действует на форму способом, противоположным тому способу, каким действовала более слабая степень того же качества.

Чтобы эта формула была яснее, мы дадим грамматическое выражение ее терминам. Превосходная степень действует на форму способом, противоположным тому, каким действует простая положительная степень. Если, например, человек, имеющий некоторую справедливость («справедливы», просто, в положительной степени), смотрит на человека, совершившего преступление, как на преступника, на человека, преданного низкому пороку, как на человека низкого, гнушается ими обоими, считает достойным казни одного, претерпеваемых несчастий другого (степень справедливости, выражаемая поговоркою «поделом вору и мука», выражаемая также уголовными законами и тем «древним» законом, который говорил: «люби своего друга, ненавидь своего врага»), то человек чрезвычайно или совершенно справедливый относится и к преступнику или порочному обратным образом: он видит в нем несчастного, заслуживающего не презрения или отвращения и ненависти, а сострадания и помощи:

«Слышасте, яко речено бысть древнимъ: возлюбиши искренняго твоего, и возненавидиши врага твоего. Азь же глаголю вам: любите враги ваша, благословите клянущія вы, добро творите ненавидящимъ вас» [15].

И неужели это и есть разрушение, отвержение древнего закона? Нет, это есть его, исполнение, его завершение:

«Не мните, яко придох разорити закон и пророки: не придох разорити, но исполнити» [16].

Да, это не только заповедь любви и кротости, это – заповедь совершенной справедливости; высшая справедливость не находит преступников, она находит в дурном человеке только несчастного заблудшего, не подлежащего взысканию: *Summum jus – summa injuria, pariter ac nullum jus*. При отсутствии справедливости преступник избегает закона возмездия; при водворении законного порядка он подвергается возмездию, око за око и зуб за зуб; но когда водворяется полная справедливость, преступник изъимается от возмездия, *nemini fit injuria*, никто не подвергается страданию ни даже во имя справедливости [17].

Собираясь закончить этот очерк, мы хотели представить в заключение его два примера, – и представили четыре или пять, потому только, что не остереглись от множества фактов, представляющихся в подтверждение общей нашей мысли повсюду, к какой бы сфере бытия мысль ни обратилась. Но довольно, довольно. Наш очерк никогда не кончился бы, если мы не сделаем над собою усилия и не остановимся от продолжения этих подтверждений, являющихся нашему анализу в бесчисленном множестве. Общий ход планетарного развития, прогрессивная лестница классов животного царства вообще, высшие классы животных в особенности; физическая жизнь человека, его язык, обращение с другими людьми, его одежда, манера держать себя, все его общественные учреждения – администрация, войско и война, судопроизводство, заграничная торговля, торговое движение вообще, понятие о справедливости – каждый из этих фактов подлежит той норме, о которой мы говорим: повсюду высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытной форме, которая заменялась противоположною на средней степени развития; повсюду очень сильное развитие содержания ведет к восстановлению той самой формы, которая была отвергаема развитием содержания не очень сильным [18].

Все изложенное нами должно было быть знакомо тем противникам общинного владения, которые называют себя последователями Шеллинга и Гегеля. Каким же образом не догадались они, что, налегая на первобытность этой формы отношений человека к

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
земле, они тем самым указывают в общинном владении черту, сильнейшим образом
предрасполагающую к возвышению общинного владения над частного поземельную
собственностью? Как могли они переносить вопрос на почву столь невыгодную для
них? Тут один ответ возможен: Quern Jupiter perdere vult[19] и т. д., то есть в
русской более мягкой форме: кому по натуре вещей нельзя не проиграть дела, тот в
довершение своей беды сам делает гибельные для себя недосмотры.

Неужели в самом деле правдоподобно, чтобы один только факт поземельных отношений
был противоречием общему закону, которому подчинено развитие всего материального
и нравственного мира? Неужели вероятно, чтобы для этого одного факта
существовало исключение из закона, действующего столь же неизменно и неизбежно,
как закон тяготения или причинной связи?[20] Неужели при одной фразе «общинное
владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная собственность
вторая, последующая форма», – неужели при одной этой фразе не пробуждается в
каждом, кто знаком с открытиями великих немецких мыслителей, сильнейшее,
непреодолимое предрасположение к мнению, что общинное владение должно быть и
высшею формою этих отношений?

Действительно, норма, изложенная нами и несомненная для каждого, хотя несколько
знакома с современным положением понятий об общих законах мира, неизбежно
ведет к такому построению поземельных отношений:

Первобытное состояние (начало развития). Общинное владение землею. Оно
существует потому, что человеческий труд не имеет прочных и дорогих связей с
известным участком земли. Номады не имеют земледелия, не производят над землею
никакой работы. Земледелие сначала также не соединено с затратою почти никаких
капиталов собственно на землю.

Вторичное состояние (усиление развития). Земледелие требует затраты капитала и
труда собственно на землю. Земля улучшается множеством разных способов и работ,
из которых самую общую и повсеместную необходимо представляет удобрение.
Человек, затративший капитал на землю, должен неотъемлемо владеть ею; следствие
того – поступление земли в частную собственность. Эта форма достигает своей
цели, потому что землевладение не есть предмет спекуляции, а источник
правильного дохода.

Вот две степени, о которых толкуют противники общинного владения; но ведь только
две, где же третья? Неужели ход развития исчерпывается ими?

Промышленно-торговая деятельность усиливается и производит громадное развитие
спекуляции; спекуляция, охватив все другие отрасли народного хозяйства,
обращается на основную и самую обширную ветвь его – на земледелие. Оттого
поземельная личная собственность теряет свой прежний характер. Прежде землею
владел тот, кто обрабатывал ее, затрачивал свой капитал на ее улучшение (система
малых собственников, возделывающих своими руками евой участок, также система
эмфитеозов и полоничества по наследству, с крепостною зависимостью или без
нее); но вот является новая система: фермерство по контракту; при ней рента,
возвышающаяся вследствие улучшения, производимых фермером, идет в руки другому
лицу, которое или вовсе не участвовало, или только в самой незначительной
степени участвовало своим капиталом в улучшении земли, а между тем пользуется
всею прибылью, какую доставляют улучшения. Таким образом личная поземельная
собственность перестает быть способом к вознаграждению за затрату капитала на
улучшение земли. С тем вместе обработка земли начинает требовать таких
капиталов, которые превышают средства огромного большинства земледельцев, а
земледельческое хозяйство требует таких размеров, которые далеко превышают силы
отдельного семейства и по обширности хозяйственных участков также исключают (при
частной собственности) огромное большинство земледельцев от участия в выгодах,
доставляемых ведением хозяйства, и обращают это большинство в наемных
работников. Этими переменами уничтожаются те причины преимущества частной
поземельной собственности перед общинным владением, которые существовали в
прежнее время. Общинное владение становится единственным способом доставить
огромному большинству земледельцев участие в вознаграждении, приносимом землею,
за улучшения, производимые в ней трудом. Таким образом общинное владение
представляется нужным не только для благосостояния земледельческого класса, но и
для успехов самого земледелия; оно оказывается единственным разумным и полным
средством соединить выгоду земледельца с улучшением земли и методы производства
с добросовестным исполнением работы. А без этого соединения невозможно вполне
успешное производство.

Таково сильнейшее, непреодолимое расположение <Мысли, к которому приводит каждого знакомого с основными воззрениями современного мирозерцания именно та самая черта первобытности, которую выставляют к решительной невыгоде для себя в общинном владении его противники. Именно эта черта заставляет считать его той формой, которую должны иметь поземельные отношения при достижении высокого развития; именно эта черта указывает в общинном владении высшую форму отношений человека к земле.

Действительно ли достигнута в настоящее время (наша цивилизация) та высокая степень, принадлежностью, которой должно быть общинное владение, этот вопрос, разрешаемый уже не помощью логических наведений и выводов из (общих мировых законов, а анализом фактов, был отчасти рассматриваем нами в прежних статьях об общинном владении и с большою полнотою будет переисследован нами в следующих статьях, которые обратятся к изложению специальных данных о земледелии в Западной Европе и у нас. Настоящая статья, имеющая чисто отвлеченный характер, должна довольствоваться только логическим развитием понятий, знание которых представляется одним из условий для правильного взгляда на дело, а искажение или незнание которых послужило основною причиною заблуждения для лучших между противниками общинного владения.

Из числа этих общих понятий за изложенным нами положением современной науки о преемственности форм непосредственно следует понятие о том, каждое ли отдельное проявление общего процесса должно проходить в действительности все логические моменты с полной их силою, или обстоятельства, благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте, могут в действительности приводить его к высокой степени развития, совершенно минуя средние моменты или по крайней мере чрезвычайно сокращая их продолжительность и лишая их всякой ощутительной интенсивности.

По методу современной науки разрешение вопроса относительно многосложных явлений облегчается рассмотрением его в простейших проявлениях того же процесса. По этой методе всегда стараются начинать анализ с физических фактов, чтобы перейти к нравственным фактам индивидуальной жизни, которая гораздо сложнее, и, наконец, к общественной жизни, которая еще сложнее, а общественную жизнь стараются рассмотреть по возможности в первоначальных ее явлениях, наименее сложных, чтобы облегчить тем анализ чрезвычайно запутанных явлений цивилизации наших стран.

Итак, начнем с процессов, физической природы, например с окисления, которое, достигнув очень высокой интенсивности, становится горением. Посмотрим, каким образом этот процесс достигает степени горения сам по себе, без всяких особенных обстоятельств, например, в дереве.

Ветер наломал огромную кучу высохших деревьев. Под влиянием сырости дерево начинает гнить (разлагаться с поглощением, кислорода). От этого процесса внутри кучи температура все повышается и повышается, гниение все усиливается, с повышением, температуры и мало-помалу достигает той степени окисления, которая называется брожением, Брожение усиливается, температура все возвышается; наконец из середины кучи начинает идти гнилой пар, это значит, температура возвысилась до того, что центр кучи начал сохнуть от собственного жара. Вот через несколько времени вместе паром из одних частей идет из других, уже дым, – центр кучи начал обугливаться. Мало-помалу из черного угля образуется раскаленный, красный уголь; масса раскаленного угля увеличивается, и, наконец, в прилежащих к ней частях, вспыхивает пламя.

Какая длинная постепенность, как, много степеней! 1) проникновение сыростью; 2) гниение; 3) брожение; 4) просыхание; 5) образование черного угля; 6) превращение черного в раскаленный; 7) появление пламени. (Этот путь так длинен и труден, что мы не знаем, удавалось ли разным массам дерева достичь горения по такому пути хоть пять или шесть раз от самого, начала лесов на земле до нашего времени.)

Каждая из этих степеней – логический момент в процессе горения дерева. Сколько времени требует такой ход процесса, мы не беремся решить, но, конечно, требует он не одну и не две недели. Каково же было бы нам, людям, если бы каждый раз, когда нужно нам пламя, мы должны были бы ждать, пока успеем пропитать сыростью огромную массу дерева, потом она станет гнить, начнет бродить и т. д. Не только пришлось бы тогда роду человеческому вымереть всею, не отведав ни щей, ни супа, вымереть с отмерзлыми ушами и пальцами от первой суровой ночи, но и теперь при

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
одном чтении нашего рассказа об этом процессе читателю приходится скучно и чуть ли не тошно от таких длиннейших рассуждений, ведущих – к чему? – к тривиальнейшему замечанию, что гораздо скорее поленья, положенные в печь, зажигаются прикосновением горячей спички или свечи к положенной под них бумаге, бересте или лучине. «Неужели я нуждаюсь в доказательствах к подобным выводам?» – с гневом спрашивает читатель. Нет, вы не нуждаетесь, – спокойно отвечаю я, – но нуждаются в них ученые противники общинного владения, показывающие такую сообразительность в своих выводах, такую наклонность не признавать тривиальнейших истин и науки и обыденной жизни, такую требовательность на доказательства этим трюизмам (как говорят англичане), такую способность понимать смысл самых яснейших фактов, что вот теперь мы принуждены объяснять им, какой смысл имеет тот очень мудреный факт, что спичка при помощи растопки очень быстро зажигает дрова, положенные в печь, а в следующих статьях будем объяснять, что иной человек умирает бездетным, после другого остается один сын, после третьего человек пять сыновей или больше, также объяснять и доказывать, что солнечные лучи согревают землю и т. д., и т. д. Вы скажете: «Глупо и говорить об этом». Совершенная правда. Но что же делать? Не изложи и не докажи мы всего этого подробно, ученые противники общинного владения сейчас закричат: «Мы не видим, на чем основаны ваши выводы!» и «Ваши выводы неосновательны!» Мы не лишены надежды, что по поводу общинного владения принуждены будем написать целую статью в доказательство существования желудка у человека, – сообразите, каково придется вам, читатель, – тогда; утешьтесь же мыслью, что теперь, сравнительно говоря, ваше положение еще довольно сносно. Успокоив вас, продолжаем интересное рассуждение о месте, занимаемом фосфорною спичкою в области философского мирозерцания.

Эта фосфорная спичка даст нам следующие выводы:

- 1) Когда в одном теле известный процесс достиг высокой степени развития (спичка уже зажглась), то при помощи этого тела он может быть доведен до той же степени развития в другом теле гораздо скорее, нежели как достиг бы без помощи этого опередившего пособия (дрова в печи от нашей спички зажигаются скорее, нежели загорелись бы тогда, когда бы процесс окисления их остался без этого пособия).
- 2) Это ускорение совершается посредством соприкосновения (зажженная спичка прикладывается к лучине, а лучина положена подле поленьев).
- 3) Это ускорение состоит в том, что процесс прямо с первой степени пробегает к последней, не останавливаясь на средних (в одну секунду по приложению спички лучина уж производит из себя пламя, через одну минуту производят его и поленья).
- 4) Средние степени, через которые быстро пробегает процесс, вообще могут быть замечены только теоретическим наблюдением, а не практическим чувством (полено, загораясь от лучины, загоревшейся от спички, действительно несколько подвергается гниению, брожению и т. д., но спросите об этом у вашей кухарки – она никогда не замечала, чтобы сухие поленья, будучи подожены, подвергались гниению и т. д. Она, напротив, видит, что они «как только подложишь огонь, в ту же секунду» (простите неграмматичность ее языка) так и вспыхнут». На философском языке это отношение выражается так: «не достигая реального осуществления (то есть имеющего практическую осязаемость), эти логические моменты развития не переходят за границы идеального или логического бытия».
- 5) Если же из быстро пробегаемых моментов некоторые и замечаются практическим ощущением (например, глаз кухарки замечает, что каждая наружная часть полена, прежде нежели даст пламя, несколько чернеет, то есть проходит степень черного обугления, предшествующего вспыхиванию), то они в общем итоге процесса составляют лишь самую ничтожнейшую часть (черные части дерева в каждую данную секунду по массе своей едва ли составляют и одну тысячную часть массы, находящейся в пламени, а по практическому значению своему в отношении к ощущениям и действиям, производимым топкою печи, играют еще менее важную роль, – они разве гомеопатической дозой участвуют в чувстве теплоты, осязаемой кухаркою, стоящею у печи, и в кипячении горшка щей, приставленного кухаркою к огню).

Эти выводы, столь новые в мире науки, мы изложили с возможною полнотою и с приведением элементов факта, из которых они извлечены нами. Мы опасаемся, что противники общинного владения закричат: «бездоказательно, неосновательно!» Мы желали бы предупредить их [справедливые] сомнения и вместо одного факта (зажигание палки спичкою) анализировать столь же ученым образом двадцать,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
тридцать столь же многотрудных для понимания фактов, например закваску теста посредством куска кислого теста или дрожжей, отбирание загнивших яблочек от свежих, чтобы не попортились свежие, и т. д. Но нельзя же быть слишком предупредительными, наша статья и без того уже чересчур длинна. Читателю, вероятно, слишком довольно и одного анализа растапливания печки. Перейдем же от внешнего физического мира к человеческой индивидуальной жизни и посмотрим, как достигает человек сам собою, без посторонней помощи до употребления той же самой фосфорной спички.

Сначала человек не умеет не только зажигать огня, но, и поддерживать зажженного: путешественники говорят о дикарях, которые, подобно обезьянам, любят греться у дерева, зажженного молнией, и горюют, когда оно начинает погасать, но не догадываются подбрасывать в огонь хворосту. Потом человек научается зажигать дерево трением двух кусков дерева – какое торжество для жизни! Но вот придумывают средство ускорять их вспыхивание, вставляя между ними кусок трута. Далее придумывают огниво и кладут на кремь трут. Но трут принимает искру не довольно верно и быстро, – в нем усиливают эту восприимчивость, пропитывая его селитрою. Теперь трут превосходен; но все еще сколько хлопот, чтобы из его тлеющего состояния извлечь пламя: надобно «придуть» его к угольку, потом «придуть» два уголька к лучинке, вложенной между ними. Но вот изобретена серная спичка, прямо сама вспыхивающая от прикосновения к труту: вновь какое великое торжество! Но огниво и кремь кажутся уже слишком хлопотливыми. Вот найдено средство облекать серный конец спички фосфором и упрочивать фосфор в атмосферной среде другими оболочками и примесями.

Какой длинный путь! Человеку нужно было не менее 7 345 лет, чтобы пройти его. Каковы же теперь для каждого отдельного человека результаты того, что некоторые люди дошли столь длинным и трудным процессом до употребления фосфорных спичек? Доставка возможности всем другим людям достичь того же самого, не мучась прохождением этого страшно длинного пути; и выводы для явлений индивидуальной человеческой жизни получаются те же самые, какие были прежде получены нами для явлений физического мира:

1) Когда известный процесс (напр[имер] способ добывания огня) достиг в известном человеке известной степени развития (например, употребления фосфорных спичек), достижение этой степени может быть чрезвычайно ускорено в других людях (именно теперь каким-нибудь дикарям, не умеющим зажигать огня, уже нет нужды тратить 7 345 лет, чтобы достичь до фосфорных спичек – употреблению их каждый может выучиться в две секунды, а приготовлению в два часа).

2) Это ускорение совершается через сближение человека, которому нужно достичь высшей степени процесса, с человеком, уже достигшем ее (именно из Парижа человек с фосфорными спичками приезжает в Центральную Африку или дикарь из Центральной Африки в одно из селений, где уже есть фосфорные спички).

3) Это ускорение состоит в том, что процесс развития с чрезвычайной быстротой пробегает с низшей степени все средние до высшей. (Дикарям нет нужды учиться сначала употреблению огнива, потом употреблению серной спички, – они прямо берутся за фосфорную спичку.)

4) При этом ускорении процесса средние степени открываются только теорией, достигают только теоретического существования как логические моменты, почти не достигая или вовсе не достигая реального существования. (Дикари, умеющие теперь добывать огонь только трением двух кусков дерева, выучившись прямо употреблению фосфорных спичек, вообще будут знать только по рассказам, что прежде фосфорных спичек существовали серные, с кремнем и огнивом.)

5) Если же и достигают реального существования эти средние степени, опускаемые ускоренным ходом развития, то лишь в самом ничтожном размере по своей массе и еще в меньшем по практическому значению своей роли. (Очень может быть, что найдутся между дикарями чудаки, которые вздумают возиться с огнивом и серными спичками и тогда, когда выучатся употреблению фосфорных; но эта причуда будет разве у одного человека из десяти тысяч, да и тот будет возиться с огнивом и серными спичками лишь от безделья и при безделье, а чуть встретится ему нужда работать или потребность быстро добыть огонь, он бросит свою причуду и черкнет по стене фосфорного спичкою.)

Читатель, не оскорбляйтесь этими длинными рассуждениями, имеющими целью

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
доказывать истины столь же сомнительные, как и то, что человек видит предметы глазами, а не ушами, держит карты (когда играет в ералаш) руками, а >не носом, и т. п.; из-за вопроса, доказываемого этими трюизмами, велись и ведутся ожесточенные споры, и, поверьте, мы действительно боимся, что о нас закричат: «Это неосновательно! Это бездоказательно!», когда мы в последних строках статьи выскажем смысл этих анализов философского значения фосфорных спичек и способа растапливать печь. Противники, если только предвидят этот смысл (они высказывают такую сообразительность, что мы не поручимся, предвидят ли они его), без сомнения, уже возмущаются духом и вопиют: «Мы этого не знаем, мы этому не верим! Вы говорите неосновательно, бездоказательно!»

Итак, в индивидуальной жизни средние моменты развития могут быть пропускаемы в реальном процессе известного явления, когда человек, в котором этот процесс стоит еще на низкой степени, сближается с человеком, в котором он достиг уже гораздо высшей степени.

Мы доказали это анализом процесса, принадлежащего к механической жизни. То же самое мы увидели бы в каждом другом явлении всякой другой сферы индивидуальной жизни.

Например, письмо, одна из первых основ умственного развития, идет следующим порядком: 1) изображаются самые предметы (на этом остановились мексиканцы); 2) их изображения сокращаются в иероглифы (на этом застает история египтян); 3) иероглифы сокращаются в идеографы (на этом остановились китайцы); 4) из идеографических знаков возникает алфавит, записывающий одну грубейшую часть звуков, согласные, с пропуском гласных (семитическая алфавитная система); 5) из семитического алфавита возникают наши европейские (греческая система, происшедшая из финикийской), в которых гласные звуки записываются наравне с согласными.

Скажите на милость, кому придет в голову, что когда европейцы примутся образовывать дикарей, вовсе не умеющих писать, то эти дикари сначала выучатся писать иероглифами, потом китайскими знаками, потом еврейскими и, только уже прошедши все эти градации, могут начать писать по европейской системе?

Или в школах этих дикарей надобно будет преподавать географию сначала по гомеровской системе (Океан есть река, и Балтийское море одно и то же с Черным морем, а вся земля имеет вид тарелки), а потом доказывать, что земля совершенно правильный шар, и только потом уже открыть им, что это шарообразное тело – несовершенный шар, а несколько раздуто под экватором и сплюснуто в полюсах?

Мы выбирали такие примеры, которые относились преимущественно к индивидуальной жизни; но по чрезвычайно тесной связи между развитием индивидуума и развитием общества они в значительной степени касались и общественной жизни, например ее материальной обстановки (фосфорная спичка) и умственных успехов (письмо, преподавание наук). Теперь обратимся к таким явлениям, которые принадлежат уже преимущественно к общественной жизни, то есть могут осуществляться не иначе как по инстинктивному расположению или сознательному соглашению общества. Сюда относятся нравы, обычаи, законы и не так называемые общественные учреждения в обширном смысле слова.

Мы сказали, что явления, за анализ которых беремся, принадлежат собственно общественной жизни. Но общественная жизнь есть сумма индивидуальных жизней, и если, в индивидуальной жизни процесс явлений может перебегать с низшего логического момента на высший, пропуская средние, то из этого уже очевидно, что мы должны ожидать встретить ту же возможность и в общественной жизни. Это простой математический вывод. В самом деле, пусть не сокращенный благоприятными обстоятельствами ход развития индивидуальной жизни будет выражаться прогрессию:

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64...

Пусть в этой прогрессии каждым членом обозначается известный момент не ускоренного благоприятными обстоятельствами развития.

Пусть общество состоит из А членов.

Тогда, очевидно, развитие общества выражается следующей прогрессию:...

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
1А. 2А. 4А. 8А. 16А. 32А. 64А....

Но мы видели, что ход индивидуальной жизни может перебегать с первой ступени прямо, на третью, или на четвертую, или седьмую, и положим, что относительно известного понятия или факта он пошел по следующему ускоренному пути:

1. 4. 64....

Тогда, очевидно, и ход общественной жизни относительно этого явления будет:

1А. 4А. 64А....

Кажется, это ясно. Но противники общинного владения или притворяются незнающими, или действительно страдают незнанием самых первоначальных логических приемов; потому разъясим популярнейшим примером эту и без того ясную теорему.

Одно из общественных учреждений есть военная сила; один из элементов ее – вооружение. Не ускоренное обстоятельствами развитие вооружения таково:

1) Обыкновенная дубина; 2) дубина получает каменное или металлическое острие, то есть переходит в копье, которым или тыкают, держа его в руках, или бросают в неприятеля; 3) уменьшенное копье последнего рода начинают бросать с помощью тетивы, – получаются лук и стрела; 4) совершенствуясь, лук получает линейку с вырезкой для вкладывания стрелы, и образуется самострел; совершенствуясь линейка с вырезкой превращается в трубочку с продольным разрезом для тетивы; 5) удар тетивы заменяется ударом пороха, лук отпадает, остается трубка, в которой разрез уничтожается, заменяясь затравкою, а стрела сокращается в пулю, – вот уже и ружье, но первоначально это ружье не имеет замка, а зажигается фитилем; 6) изобретается кремневый замок; 7) он заменяется пистонным замком; 8) в стволе ружья делаются нарезки – мы получаем охотничью винтовку; 9) охотничья винтовка не годится для войск, покуда не изобретены для нее особенные пули, – они изобретаются, и вот войско вооружается штуцером.

Вообразим себе, что в Новой Голландии живут еще племена дикарей, не знающих никакого оружия, кроме дубины. Вот открыты золотые россыпи; европейские авантюристы (со штуцерами) проникают в места, еще не посещавшиеся европейцами, и находят этих дикарей: спрашивается, понадобится ли этим дикарям переходить от дубины к копью, от копья к луку, от лука к самострелу, от самострела к фитильному ружью и т. д., если они прямо будут выменивать у европейцев штуцера?

Этим не кончилось дело.

С каждым родом вооружения соединены, известные построения войска. Копье, которое держится в руках, создает фалангу; кремневому ружью соответствует сомкнутый строй; штуцеру – рассыпной строй.

Погодите, и этим еще не кончилось дело.

Различные построения требуют различных качеств от воина. Например, в сомкнутом строю солдат, прослуживший всего только один год, никуда не годится. В рассыпном строю он ничуть не хуже солдата, прожившего хотя бы полтора года лет в казармах.

Что же из этого следует? То, что у дикарей, о которых мы говорим, в существовании военной силы будет недоставать многих периодов, через которые прошла она в Европе.

Из нестройной дубино-махающей толпы их военная сила прямо обратится в милицию, подобную северо-американской. Они не будут знать ни казарм, ни регулярных войск, ни всего того, что соединено с этими учреждениями. А с этими учреждениями соединен весь тот порядок вещей, который произвел историю континентальной Европы от Карла VII французского и Карла V испанско-немецкого до вчерашнего дня. Из блаженного общественного быта лукиановых скифов и тацитовых германцев эти дикари перейдут прямо к блаженному быту, о котором мы с вами, читатель, можем только мечтать.

История, как бабушка, страшно любит младших внуков. *Tarde venientibus* дает она не *ossa*, а *medullam ossium*[21], разбивая которые Западная Европа [так больно отбила] себе пальцы.

Но мы увлеклись в дифирамб, заговорили с читателем, – мы забыли, что должны беседовать с противниками общинного владения, то есть заниматься азбукою. Возвратимся же к азбучным понятиям.

Нас занимал вопрос: должно ли данное общественное явление проходить в действительной жизни каждого общества все логические моменты, или может при благоприятных обстоятельствах переходить с первой или второй степени развития прямо на пятую или шестую, пропуская средние, как это бывает в явлениях индивидуальной жизни и в процессах физической природы?

Единство законов во всех сферах бытия, зависимость общественной жизни от индивидуальной, математические формулы – все заставляет решать эту задачу утвердительным образом каждого, имеющего хотя какое-нибудь понятие об истории или современной философии, или хотя о Гегеле[22], или даже хотя о Шеллинге, или даже хотя о здравом смысле; совершенная достаточность даже одного последнего качества для разрешения задачи, вероятно, с достаточною ясностью окажется из следующих вопросов:

Низшая форма религии, фетишизм, не знает вражды к иноверцам. Но другие языческие формы религии более или менее склонны к преследованиям за веру. Грубые народы новой Европы также имели инквизицию. Только в последнее время европейская цивилизация достигла того высокого понятия, что преследование иноверцев противно учению Христа. Спрашивается теперь: когда какой-нибудь народ, погрязавший в грубом фетишизме, просвещается христианством, введет ли он у себя инквизицию или может обойтись без нее? Надобно ли желать и можно ли надеяться, что у этого народа прямо водворится терпимость или он начнет воздвигать костры, и эта средняя степень так необходима в его развитии, что напрасно и удерживать его от гонений на иноверцев?

Какой-нибудь народ, живущий в племенном быте, основные черты которого самоуправление (self-governement) и федерация, принимает европейскую цивилизацию; спрашивается, примутся ли у «его» прямо высшие черты этой цивилизации, столь сродные его прежнему быту, или он неизбежно введет у себя бюрократию и другие прелести XVII века?

Этот народ, не имея ни фабрик, ни заводов, не имел и понятия о протекционной системе; спрашивается, необходимо ли ему вводить у себя протекционизм, через который прошла и от которого отказалась европейская цивилизация?

Число таких вопросов можно было бы увеличить до бесконечности; но кажется, что и сделанных нами уже достаточно для получения полного убеждения в необходимости применять к явлениям общественной жизни все те выгоды, какие нашли мы прилагающимися к явлениям индивидуальной жизни и материальной природы. Не доверяя ни сообразительности, ни памяти противников общинного владения, мы повторим в третий раз эти выводы, чтобы хотя сколько-нибудь впечатлелись они в мысли этих ученых людей, и по правилу первоначального преподавания опять-таки к каждому выводу присоединим ссылку на ту черту факта, представителем которой служит вывод. Черты эти мы будем брать из последнего вопроса, для большей определенности применив его хотя к новозеландцам, с которыми нянчатся англичане[23].

1. Когда известное общественное явление в известном народе достигло высокой степени развития, ход его до этой степени в другом, отставшем народе может совершиться гораздо быстрее, нежели как совершался у передового народа. (Англичанам нужно было более нежели 1 500 лет цивилизованной жизни, чтобы достичь до системы свободной торговли. Новозеландцы, конечно, не потратят на это столько времени.

2. Это ускорение совершается через сближение отставшего народа с передовым. (Англичане приезжают в Новую Зеландию.)

3. Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа развитие известного общественного явления благодаря влиянию передового народа прямо с низшей степени перескакивает на высшую, минуя средние степени. (Под влиянием англичан новозеландцы прямо от той свободной торговли, которая существует у дикарей, переходят к принятию политико-экономических понятий о том, что свободная торговля – наилучшее средство к оживлению их промышленной деятельности, минуя

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
протекционную систему, которая некогда казалась англичанам необходимостью для
поддержки промышленной деятельности.)

4. При таком ускоренном ходе развития средние степени, пропускаемые жизнью народа, бывшего отсталым и пользующегося опытностью и наукою передового народа, достигают только теоретического бытия как логические моменты, не осуществляясь фактами действительности. (Новозеландцы только из книг будут знать о существовании протекционной системы, а к делу она у них не будет применена.)

5. Если же эти средние степени достигают и реального осуществления, то разве только самого ничтожного по размеру и еще более ничтожного по отношению к важности для практической жизни. (Люди с эксцентрическими наклонностями существуют и в Новой Зеландии, как повсюду; из них некоторым, вероятно, вздумается быть приверженцами протекционной системы; но таких людей будет один на тысячу или на десять тысяч человек в новозеландском обществе, и остальные будут называть их чудаками, а их мнение не будет иметь никакого веса при решении вопросов о заграничной торговле.)

Сколько нам кажется, эти выводы довольно просты и ясны, так что, может быть, не превысят разумения тех людей, для которых писана наша статья.

Итак, два печатные листа привели нас к двум заключениям, которые для читателя, сколько-нибудь знакомого с понятиями современной науки, достаточно было бы выразить в шести строках:

1. Высшая степень развития по форме совпадает с его началом.

2. Под влиянием высокого развития, которого известное явление общественной жизни достигло у передовых народов, это явление может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с низшей степени прямо на высшую, минуя средние логические моменты.

Какой скудный результат рассуждений, занявших целые два печатные листа! Читатель, который не лишен хотя некоторой образованности и хотя некоторой сообразительности, скажет, что довольно было просто высказать эти, основания, столь же несомненные до тривиальности, как, например, впадение Дуная в Черное море, Волги – в Каспийское, холодный климат Шпицбергена, и жаркий климат острова Суматры и т. д. Доказывать подобные вещи в книге, назначенной для грамотных людей, неприлично.

Совершенно так. Доказывать и объяснять подобные истины неприлично. Но что же вы станете делать, когда отвергаются заключения, выводимые из этих истин, или когда вам сотни раз самодовольством повторяют, будто непобедимое возражение какую-нибудь дикую мысль, которая может держаться в голове только по забвению или незнанию какой-нибудь азбучной истины?

Например, вы говорите: «Общинное владение землею должно быть удержано в России». Вам с победоносною отвагою возражают: «Но общинное владение есть первобытная форма, а частная поземельная собственность явилась после, следовательно, она есть более высокая форма поземельных отношений». Помилосердитесь о себе, господа возражатели, помилосердитесь о своей ученой репутации: ведь именно потому, именно потому, именно потому, что общинное владение есть первобытная форма, и надобно думать, что высшему периоду развития поземельных отношений нельзя обойтись без этой формы.

О том, как сильно налегали противники общинного владения на первобытность его, мы уже говорили в начале статьи. Можно предполагать, что теперь они увидели, как странно поступали, и поймут, что та самая черта, которую они воображали свидетельствующею против общинного владения, чрезвычайно сильно свидетельствует за него. Но арсенал их философских возражений еще не истощен. Они с такою же силою налегают и на следующую мысль: «Какова бы ни была будущность общинного владения, хотя бы и справедливо было, что оно составляет форму поземельных отношений, свойственную периоду высшего развития, нежели тот, формой которого является частная собственность, все-таки не подлежит сомнению, что частная собственность составляет средний момент развития между этими двумя периодами общинного владения; от первого перейти к третьему нельзя, не прошедши [через] второе. Итак, напрасно думают русские приверженцы общинного владения, что оно может быть удержано в России. Россия должна пройти через период частной

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
поземельной собственности, которая представляется неизбежным средним звеном».

Этот силлогизм постоянно следовал за их фразами о первобытности как черте, свидетельствующей против общинного владения. Он также выставлялся непобедимым аргументом против нас. Теперь люди, прибегавшие к нему, могут судить сами о том, до какой степени он сообразен с фактами и здравым смыслом.

Кончив дело с предубеждениями против общинного владения, вытекавшими из непонимания, забвения или незнания общих философских принципов, мы в следующий раз займемся теми предубеждениями, которые вытекают из непонимания, забвения или незнания общих истин, относящихся к материальной деятельности человека, к производству, труду и общим его законам. Теперь мы говорили о сообразительности философствующих мудрецов. В следующий раз будем говорить о той же способности экономизирующих мудрецов.

Если вы, читатель, так счастливы, что не занимались обучением малолетних детей грамоте, вы теперь, пробежав нашу статью, писанную не для вас, человека с обыкновенным запасом сведений, а для мудрецов, изучавших досконально кто Шеллинга, кто Гегеля, кто Адама Смита, – если вы не были учителем приходского училища, то, пробежав эту статью, можете чувствовать, как утомительна, тяжела обязанность этого бедного труженика. Согласитесь, редко приходилось вам испытывать такую страшную скуку, какая производится чтением нашей статьи, весь характер которой выражается такою формулою: бе – а ба, бе – а ба, баба.

Повторим еще. Это что? – б. А это? – а. Что же выходит? – ба. А это? – тоже б. А это? – тоже а. Что же выходит? – тоже ба. Ну, что же выходит, если сложить вместе? – баба.

Повторим еще:

бе а ба, бе – а ба, баба

Повторим еще... и т. д.

Вам было скучно, а ведь вы пробежали статью в полчаса; судите же, каково было нам, писавшим ее, – ведь мы просидели за нею целых три дня.

Но как бедный труженик, приходский учитель, подкрепляет свои силы мыслью о высоком и великом значении своего утомительного дела, так подкреплялись и мы, припоминая, какое важное значение для прояснения всего взгляда на мир имеют трюизмы, изложением которых мы занимались. Они да еще с десятков других подобных трюизмов –

Вот Гегель, вот книжная мудрость.
Вот смысл философии всей.

Первый наш трюизм – не судите о нем легко: вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, – кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению, о, как спокойно призывает о» шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом:

Ich hab', mein Sach' auf Nichts gestellt,
Und mir gehört die ganze Welt, –

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «пусть будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице праздник!»

А второй принцип – о, второй принцип чуть ли не интереснее даже первого. Как забавны для человека, постигшего этот принцип, все толки о [неизбежности того или другого зла, о необходимости нам тысячу лет пить горькую чашу, которую пили другие: да ведь она выпита другими, чего же нам-то пить? Их опыт научил нас, их содействие помогает нам приготовить новое питье, повкуснее и поздоровее.] Все, чего добились другие, – готовое наследие нам. Не мы трудились над изобретением железных дорог, – мы пользуемся ими.

[Не мы боролись с средневековым устройством, но когда падает оно у других, не продержится оно и у нас: ведь мы же в Европе живем, этого довольно, – все хорошее, что сделано каким бы то ни было передовым народом для себя, на три

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
четверти подготовлено уже тем самым и для нас: надобно только узнать, что и как
сделано, надо понять пользу, и тогда все будет легко]

Нас давит времени рука,
□□Нас изнуряет, труд.
Всесилен случай, жизнь хрупка, –
□□Но то, что жизнью взято раз,
Не в силах рок отнять у нас.

Комментарии

Работы, составляющие настоящий том, дают представление о философских и эстетических взглядах Чернышевского. Эти работы – яркая страница в истории русской теоретической мысли.

Как философ, и эстетик Чернышевский был последовательным материалистом. Ленин писал: «Чернышевский – единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, Махистов и прочих путаников» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 384).

Замечательной особенностью материалистических воззрений Чернышевского является их революционный характер. Мыслитель связывал философию и эстетику с задачами революционного преобразования общества, видел социально-политические, классовые источники борьбы между материализмом и идеализмом.

В работах, включенных в данный том, поставлены и решены Чернышевским основные вопросы познания объективного мира, исследования форм духовной деятельности человека, прежде всего такой сложной формы, как искусство. Здесь прекрасно показана безграничность человеческого незнания, но вместе с тем выявлена историческая обусловленность знаний. Чернышевский демонстрирует диалектический взгляд на взаимосвязь между объективной действительностью, ощущениями и сознанием. Он выдвигает понятие практики как критерия истинности познания, отвергает попытки идеалистов приписать человеческому сознанию сверхъестественную, «божественную» силу.

В области исторических идей Чернышевского видны сильные материалистические тенденции, хотя его учение о социализме и было утопическим: иным оно и не могло быть в условиях того времени.

Особое значение имели труды Чернышевского по эстетике. Его диссертация стала революционным манифестом реалистического искусства, определила дальнейшее развитие науки о прекрасном и материалистического учения об искусстве и литературе.

Работы Чернышевского по философии и эстетике не утратили своего значения и в наше время, они активно используются современными учеными и художниками, они формируют философское и эстетическое сознание современного человека.

Эстетические отношения искусства к действительности (диссертация)

Это – одно из самых популярных и значительных философско-эстетических сочинений Чернышевского. Работа создавалась как диссертация, необходимая для получения ученой степени магистра наук.

3 мая 1855 года она была напечатана в типографии Петербургского университета, а 10 мая 1855 года состоялась ее защита. Представители официальной науки отнеслись сдержанно к диссертации, молодежь же, составлявшая основную аудиторию, была в восторге от эстетического трактата. Лишь три с половиной года спустя Чернышевский был утвержден министром просвещения в звании магистра, но это уже не имело никакого значения для автора диссертации, к тому времени полностью сосредоточившегося на литературно-редакторской деятельности в журнале «Современник».

Отзывы в печати на диссертацию были отрицательными, поскольку они принадлежали критикам того лагеря, который в области социально-политической был либерально-дворянским, а в сфере теоретической активно защищал идеалистические принципы. Впрочем, этих отзывов в первое время было немного.

К сожалению, и крупнейшие русские писатели, такие, как Л. Толстой, Ф. Достоевский, И. Тургенев, не приняли основных положений трактата Чернышевского.

Но постепенно эстетические идеи великого мыслителя стали все глубже осознаваться литературной и художественной интеллигенцией. Поэтому после 1865 года, когда вышло второе издание диссертации, стали появляться статьи, оценивающие ее высоко. Особенно сильное воздействие трактата Чернышевского испытывали демократические писатели и художники-реалисты второй половины XIX века, о чем свидетельствуют, в частности, И. Репин и И. Крамской.

Существенно и следующее обстоятельство. Выступая против философских основ диссертации Чернышевского, многие писатели и критики в своих конкретных характеристиках художественных произведений невольно учитывали те критерии оценок, которые заложены в методологии работы Чернышевского. Таков был своеобразный «диктат» материалистической эстетики.

В своей диссертации Чернышевский рассматривает несколько проблем. Важнейшие среди них: сущность основной категории эстетики – прекрасного, источник и цель искусства. Материалистически трактуя указанную категорию («прекрасное есть жизнь»), Чернышевский устанавливает диалектическую связь между объективным существованием прекрасного и «субъективным воззрением» на красоту. «Реабилитируя» действительность, он объявил ее источником прекрасного в искусстве. Что же касается последнего, то Чернышевский особо подчеркнул активную роль художественного познания, сказав о том, что произведения искусства часто произносят «приговор» над явлениями жизни.

Стр. 7. Так развивается понятие прекрасного в господствующей эстетической системе. – Имеется в виду идеалистическая эстетика Гегеля, объявлявшая источником искусства идею, а не действительность. Конкретно же Чернышевский рассматривает работу одного из последователей Гегеля – Фридриха Фишера – «Эстетика, или наука о прекрасном», опубликованную в 1846–1858 годах. Многие определения прекрасного, приводимые и оспариваемые Чернышевским, принадлежат именно Фишеру.

Стр. 13. «Мила живая свежесть цвета...» – из стихотворения-баллады В. Жуковского «Алина и Альсим» (1814).

Стр. 24. О том, что «возвышенность» – следствие превосходства над окружающим, говорится у Канта. – Это положение содержится в главном эстетическом труде немецкого философа «Критика способности суждения» (1790).

Стр. 65. ...как и предлагает Гёте. – Эти мысли Гёте высказывает в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795–1796).

Стр. 81. Образ в поэтическом произведении... – это не более как бледный и общий, неопределенный намек на действительность. Здесь сказывается теоретическая недооценка Чернышевским обобщающего характера художественного образа.

Стр. 100, 101. «В определении искусства как подражания природе...», «При невозможности полного успеха в подражании природе...» – цитаты из «Введения» к «Лекциям по эстетике» Гегеля.

Возвышенное и комическое
Впервые опубликовано в журнале «Под знаменем марксизма», 1928, № 11.

Эта статья создавалась одновременно с диссертацией. Чернышевский намеревался опубликовать в журнале «Отечественные записки» целую серию статей по эстетике и искусству. Статья «Возвышенное и комическое» осталась недописанной (судя по всему, оставалось несколько итоговых фраз) потому, что редактор журнала отказался печатать первую статью из этого цикла.

В «Возвышенном и комическом» Чернышевский освещает важные стороны содержания искусства. Решение им проблемы возвышенного подготавливало определение положительного героя в искусстве той эпохи. Освещая вопрос о трагическом, Чернышевский выступает против идеалистической концепции, согласно которой трагическая гибель борющегося героя является фатальной неизбежностью. Он отвергает также попытки идеалистов сузить область комического, характеризуя его различные виды, которые должны найти свое место в художественном произведении, будучи способами правдивого изображения отрицательных сторон жизни.

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
Стр. 186. ...«трагическое есть ужасное в человеческой жизни». – Как и в
диссертации, этот тезис Чернышевского несколько метафизичен и абстрактен.
Конкретно-социальный подход к проблеме трагического позволяет считать, что
трагическое и ужасное в жизни одного сословия, класса могут способствовать
жизнедеятельности другого сословия.

Антропологический принцип в философии
Впервые опубликовано в «Современнике», 1860 No№ 4, 5.

В этой работе наиболее полно выражена материалистическая теория познания
Чернышевского. Здесь же особенно отчетливо высказана мысль о связи философии с
политикой.

Именно поэтому в журналистике 60-х годов разгорелась активная борьба вокруг этой
работы. Профессор Киевской Духовной академии П. Юркевич в реакционном «Русском
вестнике» (1861, № 4), намереваясь скомпрометировать Чернышевского, обвинял его
в отождествлении материи и ощущения, сознания. К Юркевичу присоединился глава
реакционной прессы М. Катков. Чернышевский ответил Юркевичу статьей
«Пolemические красоты» («Современник», 1861, № 6). Великий материалист получил
поддержку со стороны Д. Писарева (статья «Схоластика XIX века» – журнал «Русское
слово», 1861, кн. 5, 9) и М. Антоновича (статья «Современная физиология и
философия» – «Современник», 1862, № 2).

В выступлениях реакционной прессы были и прямые попытки доноса на Чернышевского
властям, материалистические идеи которого объяснялись формой политической борьбы
против господствующей идеологии.

Непосредственным поводом для написания статьи «Антропологический принцип в
философии» было намерение автора выступить против проповеди эклектизма (этим
была характерна книга народнического социолога П. Лаврова, указанная в
подзаголовке статьи). Чернышевский излагает здесь стройную систему
материалистических взглядов на мир. В. И. Ленин писал, что «для Чернышевского,
как и для всякого материалиста, законы мышления имеют не только субъективное
значение, т. е. законы мышления отражают, формы действительного существования
предметов» (Полн. собр. соч., т. 18, стр. 383).

В своей работе Чернышевский близок немецкому материалисту. Л. Фейербаху,
которого русский демократ считал, одним из самых крупных философов XIX века.
Философский антропологизм (т. е. объяснение человеческих качеств исключительно
их природным происхождением) сближал Фейербаха и Чернышевского, однако последний
Сумел преодолеть созерцательный характер философии Фейербаха, подчинив все
теоретические идеи задачам революционной борьбы.

Стр. 209. ...автора книги «De la justice». – Речь идет о Прудоне.

Стр. 220. ...говорят, что даже эти люди были одни и те же. – Вероятно, речь идет о
Н. В. Станкевиче и М. А. Бакунине.

Стр. 246. ...стали в Союзе людьми порядочными и зажиточными. – Положительно
оценивая некоторые стороны жизни в Северной Америке, Чернышевский, однако, не
склонен был переоценивать социально-политический режим Нового Света.

Стр. 293. ...ученой четы покойного «Москвитянина»... – Имеются в виду издатели
журнала, выражавшего идеологию «официальной народности» и отчасти
славянофильские воззрения – С. П. Шевырев и М. П. Погодин.

Характер человеческого знания
Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1885, No№ 63–64..

В этой статье Чернышевский продолжает развивать идеи «Антропологического
принципа в философии». Он выступает здесь против того преувеличения
субъективного начала в человеческом познании, которое является одним из
источников идеализма, вместе с тем Чернышевский осуждает и высмеивает попытки
идеалистов-агностиков, преуменьшающих способности человека к глубокому познанию
объективного мира.

Важной стороной работы является развитие мыслей об относительности человеческих
знаний и о практике, как критерии истины.

Стр. 310. Будь органы наших чувств более восприимчивы и наш разум более силен, мы знали бы больше, нежели знаем теперь. – Здесь неудачно выражена мысль о значении биологических и физиологических предпосылок развития человеческих знаний. Подобное развитие имеет своим источником общественно-историческую практику людей.

Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь
Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1888, ч. IX, под псевдонимом «Старый трансформист».

В этой статье Чернышевский продолжает критику антинаучной социологической теории английского священника Мальтуса. Мальтус, констатируя отставание роста средств существования от роста народонаселения, считал возможной ликвидацию этого противоречия с помощью регулирования рождаемости, а также полагал, что болезни и войны участвуют в подобном регулировании. Эта антинаучная теория вызвала протест многих прогрессивных мыслителей XIX века. Чернышевский отвергает ее как с точки зрения политической и нравственной, так и на основе принципов научной политэкономии.

Стр. 318. ...сообщил публике составитель ее. – Имеется в виду Ч. Дарвин. Чернышевский вообще высоко оценивал учение великого естествоиспытателя о развитии органического мира, но не принимал дарвиновскую теорию естественного отбора. Критические замечания в адрес Дарвина в этой статье связаны с тем, что, во-первых, Дарвин часто апеллировал к доктринам Мальтуса, а во-вторых, в некоторых философских работах тех лет дарвиновскую теорию естественного отбора рассматривали в свете положений Мальтуса, проецировали ее на социальные явления.

Стр. 319. «Habeas Corpus» – начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 году.

Стр. 354. ...великие натуралисты, говорившие о генеалогическом родстве между видами. – Речь идет прежде всего о французском естествоиспытателе Ж. Ламарке и его последователях Ж. Этьене и Ж. Исидоре.

Критика философских предубеждения против общинного владения
Впервые опубликовано в «Современнике», 1858, № 12.

Работа дает представление о философских воззрениях Чернышевского на историю, об отношении его к подготавливавшейся реформе 1861 года. Она свидетельствует об исторической зоркости Чернышевского, о его классовом подходе к общественным проблемам времени. Имея в виду, в частности, именно эту работу, В. И. Ленин говорил о том, что Чернышевский, несмотря на свой утопический социализм, глубоко раскрыл природу капитализма. Замечательной особенностью статьи является отчетливо выраженная идея общественного развития, мысль о формах изменения действительности. Эти мысли иллюстрируются убедительными примерами из экономических отношений в сельском хозяйстве. Чернышевский оказывался утопистом, полагая, что Россия может прийти к социализму, минуя капитализм, через сельскую общину. Однако его нельзя отождествлять с народническими теоретиками общины, ибо он считал возможным учитывать технико-экономические достижения промышленного капитализма.

Стр. 364. ...статьи мои и г. Вернадского... – Редактор журнала «Экономический указатель» И. В. Вернадский выступил в 1857 году с циклом статей «О поземельной собственности» против статей Чернышевского «Заметки о журналах. февраль. 1857» и «Заметки о журналах. Апрель. 1857», печатавшихся в «Современнике» в 1857 году. Poleмика между ними продолжалась и в других статьях, в ней принимали участие и многие другие журналы и газеты.

Стр. 367. ...общих мест старинной экономической школы. – Чернышевский имеет в виду вульгарные экономические сочинения французских теоретиков, прежде всего Бастиа, которых любили цитировать авторы «Экономического указателя».

Стр. 369. ...глупым образом начатое мною дело об общинном владении. – Неоднократно встречающаяся в работе скептическая оценка Чернышевского собственной теории связана, во-первых, с прямолинейным истолкованием ее сторонниками Чернышевского в данном вопросе, а во-вторых, его беспокоеством относительно того, что существование общинного землевладения в России не обеспечено рядом необходимых

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
экономических условий.

Стр. 407. «Вот смысл философии всей...» – строки из стихотворения Г. Гейне «Доктрина» (1842).

Стр. 408. «Ich hab', mein Sach' auf Nichts gestellt...» – строки из стихотворения Гёте «Vanitas» (1806).

«Нас давит времени рука...» – строки из стихотворения Н. Некрасова «Новый год» (1851).

Примечания

1

Я говорю о том, что прекрасно по своей сущности, а не по тому только, что прекрасно изображено искусством; о прекрасных предметах и явлениях, а не о прекрасном их изображении в произведениях искусства: художественное произведение, пробуждая эстетическое наслаждение своими художественными достоинствами, может возбуждать тоску, даже отвращение сущностью изображаемого.

2

Подобный подобному радуется (лат.).

3

Злое не забыто ни одним эстетиком; но его относят вообще к возвышенному, как «возвышенное злой воли», а не к трагическому в частности. Нам кажется, что впечатление, производимое возвышенным злой воли, в сущности имеет характер трагического. Если необходимо нужно в трагическом страдание, и необходимо, чтобы трагическое возбуждало сострадание, печаль, то страдающим липом в трагическом злого является нам общество и нравственный закон; печаль и сострадание к обществу, оскверняемому, заражаемому личностью с пагубным направлением, также непременно возбуждаются в нас при таком зрелище. Часто мы жалеем о нравственном уничтожении, о нравственной гибели самого человека, в котором гнушаемся пагубным направлением, тем более, что в нем, конечно, было много благородного, высокого, если даже на гнусной дороге порока он успел сохранить отвращение от явного злодейства, если даже в упоении порока он боится пробудить голос своей совести и старается избежать в пороке всего гнусного, чего можно избежать, наслаждаясь пороком. Еще достойнее сожаления будет он, если не добровольно, не сознательно погряз в пороке, а вырос в пороке, приучен к нему тогда, когда еще не понимал всей его гнусности. Да и вообще каждый человек с истинно высокой душой чувствует «ненависть к пороку, сожаление к порочному, ненависть к злодейству, сожаление к злодею». Проклинайте болезнь, жалеите и лечите больных.

4

О свободе» (англ.).

5

Северной Америке многие слова, относящиеся к политической жизни, употребляются не в таком смысле, как в Европе; от этого происходят чрезвычайно частые ошибки в европейских суждениях о северо-американских делах. Аболиционисты, которых по европейским понятиям следует называть демократами, называются теперь в Северной Америке просто республиканцами; их противники, аристократы, присвоили себе, имя демократов. Как произошло такое превращение имен, рассказывать здесь было бы неуместно, и мы замечаем о нем только для того, чтобы читатель видел, что мы, приписывая аристократический характер защитникам невольничества в Соединенных Штатах, не забыли о названии демократов, которое они фальшиво себе присвоили. Такие превращения в смысле политических слов встречаются очень часто и в европейской истории. Например, во Франции патриотами в конце прошлого века назывались республиканцы, а в Германии в начале нынешнего века тем же именем звали себя защитники феодальных учреждений.

6

справедливости» (франц.).

7

нечно, когда мы говорим, что Милль не представитель современной философии, мы разумеем собственно ту часть науки, которую принято у нас называть философией, – теорию решения самых общих вопросов науки, обыкновенно называемых метафизическими, – например, вопросов об отношениях духа к материи, о свободе человеческой воли, о бессмертии души и т. д. Эту часть науки Милль даже вовсе не занимался прямым образом; он преднамеренно отклоняется от высказывания всякого мнения о подобных предметах, как будто считая их недоступными точному исследованию. Он, собственно, не философ в том смысле слова, по которому философами называются у нас Кант и Гегель, но не называются Кювье или Либих (по-английски Кювье и Либих также называются философами).

8

В самой Англии земля может прокормить, по крайней мере, 150 000 000 человек. Панегирики удивительному совершенству английского сельского хозяйства справедливы в том отношении, что дело это там быстро улучшается; но ошибочно было бы думать, что оно и теперь пользуется в удовлетворительном размере пособиями науки: это только что еще начинается, и девять десятых частей земли, возделываемой в Англии, возделывается по рутине, совершенно не соответствующей нынешнему состоянию сельскохозяйственных знаний.

9

Различение (*distinctio* – лат.).

10

Как больно, как больно, как больно! Гете, «Фауст» (нем.).

11

Я говорю не о славянофилах, которых я могу уважать за многое, но симпатии которых не заслуживаю, как они сами объявляют и как я сам чувствую.

12

Животные членистые и животные разумные (лат.).

13

Жеманницах (франц.).

14

Модерантисты могут найти очень недурной очерк одной из сторон политического устройства с этой точки зрения у Гизо, которого они уважают. В «*Histoire de la civilisation en France*» он объясняет постепенные фазисы возрастания и ослабления правительственной власти.

15

Матф., глава V, стих 43–44.

16

Матф., глава V, стих 17.

17

В латинском языке, который довел до крайнего совершенства определение юридических понятий, слово *injuria* (несправедливость, *injuria est, ubi jus deest*) прекрасно выражает развиваемую нами мысль, что какое бы то ни было страдание, по какой бы то ни было причине претерпеваемое человеком, составляет уже несправедливость: *Injuriam passus sum* – это выражение имеет два смысла: 1) я подвергся незаконному лишению, 2) я подвергся какому бы то ни было лишению того, чем пользовался; во, втором смысле говорится, например, *injuriae terapestatum*,

ений в пяти томах. Том 4. Статьи по философии и эстетике. Николай Гаврилович Чернышевский chernyshe
morborum, temporum – убытки, приносимые моей ниве непогодами; лишения, которым
подвергается мое здоровье от болезней; потери и страдания, наносимые мне
неблагоприятными обстоятельствами.

18

Повторяем, что если кто-нибудь не захочет согласиться на признание всеобщего и
неизменного господства этой нормы во всех без исключения явлениях материального
и нравственного, индивидуального и общественного бытия, тот сделает нам большое
одолжение, указав хотя один факт, который не был бы подчинен этому решительно
всеобщему закону.

19

«Кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума» (лат.).

20

Если кому-нибудь мало покажется приведенных нами подтверждений всеобщности этого
закона: «конец развития по форме является возвращением к его началу», для такого
скептика мы готовы по первому его желанию показать ту же норму в развитии всех
половых и семейных отношений, политического устройства, законодательства вообще,
гражданских и уголовных законов, налогов и податей, науки, искусства,
материального труда; для всего этого не нужно будет нам ни особенной учености,
ни долгих соображений, – нужно только заглянуть, например, хотя в Гегеля: у него
все это давным-давно уже доказано и объяснено.

21

«Поздно приходящим дает она не кости, а мозг из костей» (лат.).

22

Гегель положительно говорит, что средние логические моменты чаще всего не
достигают объективного бытия, оставаясь только логическими моментами. Довольно
того, что известный средний момент достиг бытия где-нибудь и когда-нибудь, этим
избавляется процесс развития во всех других временах и местах от необходимости
доводить его до действительного осуществления, прямо говорит Гегель.

23 На север от Франции лежат два большие острова, которые вместе составляют
Соединенное королевство Великобритании и Ирландии. Юго-восточная часть
восточного острова называется, Англию, а жители ее – англичанами. Новую
Зеландией) называется группа из двух больших островов, лежащих не очень далеко
от Новой Голландии, иначе называемой Австралией. Противники общинного владения
выказывали такую сообразительность, что мы считаем не лишним пояснить
употребленные нами собственные имена.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://chernyshevskynikolai.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!